ИВ. ШМЕЛЕВ

ДУША РОДИНЫ



ИЗДАНИЕ РУССКОГО НАУЧНОГО ИНСТИТУТА
при Русской Академической группе в Париже

ПАРИЖ
1967

И. С. Шмелев

Душа Родины

Сборник статей от 1924—1950 г.

ПАРИЖ
1967

Из литературного наследства Ивана Сергеевича Шмелева хранимого Ю. А. Кутыриной в Архиве Музее писателя.

Herausgeber: Russisches Wissenschaftliches Institut in Paris

Druck: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

ВСТУПЛЕНИЕ

Под публицистикой разумеется живой отклик на события дня ... есть ... публицистика малая и великая ... Великая публицистика вдумчива, она смело глядит из времени в вечность ... В текущем она ищет длительное и непреходящее ... посему и в малом находит связь с великим ...

Е. Спекторский

Достоевский.
«ПУБЛИЦИСТ И ПРОРОК» П. Б. Струве.

Как публицист Достоевский склонялся к народничеству ... Как религиозный провидец, как христианский пророк, он ощущал действие в истории божественного религиозно-героического начала ...

Пророчества Достоевского сияют вечным светом религиозного проникновения ...

П. Б. Струве

Эти строки о Достоевском из журнала «Русская Мысль 1923—1924 г., под редакцией П. Б. Струве и из статьи Ев. Спекторского (стр. 246) и П. Б. Струве (стр. 265) мы приводим как вступление для книги идеологических статей И. С. ШМЕЛЕВА «Душа Родины» основываясь на воззрении литературоведов, и профессора мыслителя И. А. Ильина: «О Тьме и Просветлении» усматривающих в творчестве Шмелева, подобно Достоевскому, религиозного ясновидца, нашедшего смысл общечеловеческого мирового страдания.

Ю. А. К.

Статьями И. С. Шмелев отвечал на насущные вопросы жизни: «Мы в пути, в опасностях на пути, но путь не кончен. Мертвые и слепые силы будут давить и сбивать с пути, будут и убивать чудесное в нас и нас. Но чувства живые наши, но вечные мысли наши, но слово наше... они бессмертны, как великое СЛОВО-БОГ. Они ведут нас. Они приведут к извечной — заветной цели Великого Искусства Слова — к воплощению БОГА в жизни, к воплощению жизни в БОГЕ».

ДУША РОДИНЫ

I

Я не собираюсь учить любви к родине: многие знают это лучше меня, доказали на деле и носят доказательства в себе. Я хочу выбить из души искры, острей ощутить утраченное, без чего жить нельзя. Если бы все мы любили так, как те, кто отдал себя за родину! За *что* отдал?! А мы, за *что* влачимся вдали от Той, которая носила полное тайны имя — Россия?! Я хочу попытаться сказать — за *что*... — подумать о том, *как* найти Родину и сделать ее своей и светлой.

В путях исканий мы должны видеть верный маяк, минуя обманчивые огни, что мигают и там, и там...

Что это значит — найти Родину? Прежде всего: душу ее почувствовать. Иначе — и в ней самой не найти ее. Надо ее познать, живую! Не землю только, не символ, не флаг, не строй. Чуют ее пророки — ее поэты; по ней томятся, за нее отдают себя. Отдают себя за ее Лик, за душу; ими вяжет она с собою. Люблю, а за что — не знаю, не определить словом. Тайна — влекущая за собой душа Родины: живое, вечное, — и ее только. Поэты называют ее Женой, Невестой; народ — матерью, и все — Родиной. Что же р о д н о е в ней? Все, что заставляет трепетать сердце, что переплеснулось в душу, как через один взгляд неожиданный вдруг перельется из родных глаз бездонное, неназываемое... без чего — н е л ь з я. Ей шепчут в ночи признания. Ее

в снах видят. Она смотрится в душу родным небом, солнцем и непогодами. Она говорит нам родною речью — душою слов, своими далями и путями... Вяжет с собой могилами... Вливается в сердце образами Великих, раскидывается в летописях и храмах, в куполах, в колоколах... Чуется вся в свершенном, зовет-увлекает далями. В путеводных огнях-маяках видится нам ее Дух-водитель, — Бог ее!

Россия имела свои маяки, и уделено ей было непобедимой волей, я скажу — Божьей Волей, что и всем народам, исполнить пути свои.

Народ не знает, что такое его Россия, какие пути ее. Чувство Родины для него узко, мелко: свое у каждого. Но из этих мельчайших нитей скручена великая пуповина: она вяжет народ в одно. И непонятными нам путями творит народ свою великую эпопею, — многоглазый, слепой Гомер. Постигают Родину просвещенные, и глубже — одаренные творчеством. Эти умеют чуять, эти в душу вбивают Родину и выступают от ее имени полноправно: они ее выразители. Они подлинно ее дети, ее певцы, кормчие и советчики, защита и оправдание, — выражение ее Лика. В них ее чувства, цели. На всех путях ее мы знаем таких Великих, через них крепче вяжемся. Они сказали о ней, ласковой и широкой, отыскивающей Правду. Какую Правду? Давнюю, что залегла в сердце Христовым Словом, принесенным на берега Днепра неистовому и светлому народу. Ту Правду русский народ называет Божьей, и слово поэта: — «всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя...» — крепкое чаянье души России. Вот тот маяк, по которому — пусть сбиваясь — направила свой путь Россия. От пушкинского «Пророка» — «...и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, Пророк, и вижди, и внемли, исполнись волею Мо-

ей! И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей!» — от гоголевских провидений судеб Руси, от некрасовского «Власа», богоборцев, провальников и голубиных душ Достоевского, — до его каторжан из Мертвого Дома, до исканий Правды Толстым, до мягких образов русских у Короленки, до баб немых у костра, вешней холодной ночью, в рассказе Чехова, и дальше, в литературе нашей, все — сильное и глубокое — пронизано лаской, светом, стоит на Христе, — на Боге и от Бога. Вот они, цветы наши, набирающие жизнь-силу от корней Родины: так слагалась душа России. Теперь цвет этот побит морозом.

В великом сонме Святых России, кого своими назвал народ, вы признаете его дух и плоть: Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Нила Сорского, Митрофания Воронежского, Серафима Саровского, всерусскими ставших с урочищ и уездов, и многих-многих, души высокой, народных подлинно. Вы встретите обвеянного народной лаской, нашего Миколу-Милосливого, данного русской литературе творчески Куприным, и Богородицу-Печальницу, и милосердного Ее Сына-Спаса, и даже ветхозаветного Илью-Громовика своего, мужика строгого, хозяина, и по-мужичьи справедливого, — его величавый образ создал чутко и жутко Бунин. Они, Святые, открывают тайник народного Идеала, русского Идеала, народной Правды, — до поражающего явления русских «старцев», хранителей духовности народной, тех таинственных глубиной колодцев, к которым пытливо и углубленно подходили два великана — Толстой и Достоевский, и в них гляделись. И лишь один Горький, отщепенец светлого духа России, остался и слеп и глух к певучим родникам Родины. Это искание Правды, желание строить жизнь с Богом и «по-Божьи», взыскание Града Небесного, Китеж-Гра-

да, тоска, что все еще нет его, что не кажет его и видимая Церковь, толкает народ на сотни путей сектантства. «По-Божьи» — заветное слово русского народа. Вот с этим-то — «по-Божьи» — творчество наше так и войдет — и уже входит! — в сокровищницу мира, и этой печати Божьей не отнять от нас, не сорвать, как бы кто ни дерзал на это! Может быть, за «печать»-то эту и получаем мы, русские, удивление разумных европейцев, кличку «странных», что идут туда — не знаю куда, ищут того — не знаю чего. Да, ищем. И найдем, быть может!

Вот, что такое — светлая сторона души России! Вот, чем она нас вяжет! Града Небесного взыскует, тянется к книге Голубиной. Ищет золотые ключи, что отомкнут неведомые двери в неведомое Царство, — ключи, о которых и до сего дня грезят, которых пока не найдено. Это знали иные нетерпеливцы, и — одни сослепу, другие — из темных чувств — сунули в руки искателя отмычку. Но не открылось. Тогда сунули топор в руки, — и проломил народ свои двери...

Вина за это лежит и на русской интеллигенции. Не на всей: не на выразителях подлинно русского духа, светлой стороны духа этого, не на создателях русской славы, а на отщепенцах духа, послуживших потемкам духа, на вождях неправды, на серой интеллигентской туче...

Об этом, важном и страшном явлении русской жизни, я скажу в свое время, как и о путях неправды, по которым вели властители. Дух Живой уходил из жизни, как уходит теперь повсюду. Дух Живой уходил от Церкви, она ослабела: правила оболочку, а не душу. Порабощенная властью Церковь не оплодотворяла душу. А она, молодая, ждавшая Жениха своего, вся в по-

рывах на высоту и в дали, искала, разметавшись, ждала... И не дождавшись Града, метнулась к аду... И ринулась!..

II

Русская душа — страстная, в созерцательности восточной. Это душа художника и певца, музыканта и лицедея, юродивого и кликуши, богатыря и дерзателя, которому все по силам. Ее познали чуткие из европейцев. Жозеф-де-Местр сказал метко: «Если бы русское хотенье смогли заточить под крепость, — оно бы взорвало крепость». * Он чутко сказал о дерзаниях и о «жажде» русской и — дивное дело! — за столетие предвидел: «Представим себе, что такому народу дана свобода, и я решительно утверждаю, как в ту же минуту повсюду заполыхает пожар и пожрет Россию». **

Пророчество оправдалось.

Наша интеллигенция безотчетно и безоглядно хватала все, что вином ударяло в голову, — до безбрежья социализма. Она не жевавши сглотала все философии и религии, царапалась на стремнины Ницше и сверзлась в марксистскую трясину. От «ума» вкусила, поверила только пяти чувствам — и отвергла Бога: сделала богом человека. Она любила минутно и отлюбила множество идеалов и кумиров. Руководимая отсветами религий, «до слез наслаждения» спорила о правде и справедливости и взяла за маяк — туманность. Этот маяк был для народа смутен. Народ вынашивал своего, Живого Бога Правды, ему доступного, веления коего непреложны. Народ понимал чутко и

---

* Le Comte Joseph de Maistre, — Quatre Chapitres inédits sur la Russie, Paris, 1859, p. 21.

** Ibid., p. 22.

Свет, и Тьму, грех и духовный подвиг. Э т о г о Бога в народе не раскрыли: ему показали иного бога — его самого, человечество, — бога-призрак. Народ сводили с высот духовных, вели от Источника, к которому он тянулся. Над его «суевериями» издевались. Над миллиардами верст святой страды, над путями к Угодникам — смеялись. Теперь эти пути закрыты, и останки Великих Духом с издевкой кинуты. Теперь гонят народ к иным «мощам», где кадят пороховым дымом, где вместо духовных песнопений кричат всечеловеческую песнь ненависти, и утишающий свет лампад заменили рефлектором. Народу показывали в далях туманный призрак. Ему давали тусклые «гуманистические идеалы» — мало ему понятное. Народу-мистику, жадному до глубин духовных, указали пустую отмель. Он Живого Бога хотел — ему указали мертвого. Он ожидал Неба — ему предложили землю, глушили совесть. Ему с исступленностью внушили: человечество, свобода, равенство, братство! Для него это было — сухие листья, что с пылью сметает ветром, — лишенное тайны и повеления. Ему был нужен Бог во плоти, Любовь, и Живое Слово, Учитель кроткий: ему показали злобу, зависть и — «коллектив». Его подвели к провалу. И — он оторван.

И вот, сила русской интеллигенции на чужбине, а народ там где-то . . . И вот, здесь теперь происходит выварка, искание истинного маяка. Здесь лучшие, что не приняли большевизма, этой издевки над всем ценнейшим, учения лжи и смерти. Не мог принять его и народ, ибо чует Зверя. Интеллигенция, в массе, не приняла. Кто же принял? Тот сухостой, которому все едино, на каком ветре ни мотаться. Но ж и в ы е, с корнями, не принимают. Кто же?

Одни — не могут познать Живого Бога, не могут вместить в усыхающую душу, узкую и земную, воль-

ных просторов Христианства — и все же тщатся найти ключи от дверей жизни . . . справедливой. Они стоят на путях пустынных. Я говорю не о социализме: из этой религии только плоти выход один — в тупик. Крайние этой секты, коммунисты, это смердяще показали. Более скромные — разбавка. Я говорю о «демократах», что не могут выбить из своей души искру живой веры, народной веры, — без Бога демократах. Они честны, но . . . динамита, которым взрывают души, они не знают. Теплы — и только.

Равенство! . . Больше столетия топчутся все на том же месте. Где только прах, только неповелительная туманность гаснущих идеалов, — равенства никогда не будет. Тепловатым словам не вырвать из человека занозу власти и корысти. У демократии-невера нет тонкого инструмента, который равняет без обиды, чудесной почвы, на которой все равны перед Беспредельным! Равенство во Христе: равенство дружных, Христовых, достижений!

Не в силах они ввести и братства: братство не от ума рождается, а из живого сердца, которое носит Бога. Ну, во имя чего мог бы я стать братом хотя бы для Мак Дональда? Что человеческое у нас лицо, и только? Вот если бы он признал во мне отражение Божьего Лика, если бы и он уверовал, что мы оба имеем божественную душу, оба мы равные песчинки, затерянные в Беспредельном, оба в Лоне Господнем пребываем . . . если бы он на мое — во Христе брат мой! — ответил душевным братством, мы почувствоали бы это братство и пошли бы в нашем пути юдольном рука в руку. И он не пожал бы тогда — за выгоду! — руки убийцам миллионов братьев!

Дайте же Цемент, крепчайший Цемент, чтобы спаять человеческие осколки! Нет у вас Цемента, а в ваши

прописи я не верю: они рвутся и затираются. Обманны, смутны велиречивые прописи — демократия, человечество, культура, свобода, равенство...

Борясь смертной природой, не могут демократы создать свободы. Свобода там, где обуздываем себя, во имя Освобождения Величайшего, во имя вселенских целей. Что проку, если получим и все свободы по парламентскому декрету, а самой главной, свободы духа, и не получим?! останемся рабами плоти?! А свободы духа не даст никакой парламент. Тогда — грызня. Ибо мы — сами боги! И к каждому надо приставить городового. Так это и есть свобода?! Так эти права-то человека?! Чего такие права стоют!..

Права человека... Есть высокое учреждение, на основе гуманности и демократизма, — Лига Прав Человека! вся из прописных букв! Много талантов, умов и благородных сердцем... И вот, смотрите: какую заслуженную нотацию прочитал этой высокой Лиге профессор Милюков, сам демократ и республиканец! Да, демократ, но... русский демократ и русский республиканец! Сказалось русское. Он решительно подчеркнул измену Лиги даже основам человечности, указав на старания Лиги, чтобы признали большевиков хозяевами русского народа, полноправными членами семьи народов, признали этих убийц, сознательных и исступленных, пославших миллионы людей на бойни! мучивших пытками, разоривших Великую Россию! Что для Лиги живые!? В хлопотах о правах Человека, с прописной буквы, Призрака-Человека, Лига забыла о миллионах теней человеческих: они вышли из «человеческого оборота», — выписаны в расход! Забыла и о работающих бойнях. Признать право на убийство — высокое право Человека! Вот оно Слово Вы-

сокой Лиги! Вот куда точеный гуманизм, утонченный «демократизм» — уводят!

Вслепую тычется человечество, нет у него основы: ушел из него Дух Божий. Или не видите тупика, где жизнь толчется, где демократия без души — суть и бог? А величавые перспективы, где? Их нет, и слышно, как вздрагивает земля.

Я не отвергаю народовластия — народной души и воли. Да будет оно! Оно — на основе Христовой Правды. Это народовластие — куда шире! Этот демократизм — живое. А тот, рассудочный, прописной, — неповелителен и легко тускнеет. Взгляните на великие города — точные отражения нашей жизни, — на эти торжища человечьего стада, рвущегося за мясом жизни! Нет уже духа жива, и люди — шоферы и лакеи, рвачи-шоферы, в вонючей коже, в вонючем масле... Мчат они в реве-гуле, рвут чаевые и «по-часам». Ведут машину — тысячеглазую, тысячеротую, покорную, как рабы. И давят в беге своем живое, оставляя угарный след. Сбросит она порой, ударит о камень, — и разбивается на куски. Пошлость безмерная, исполинское чванство, всемирное второклассничество! От кинемо получают Слово! Все бегло, смешно и плоско, и пахнет в мире бензином и потешающим «Максом», паяцем и шулером всех сортов. А чистые лилии, рожденные из голгофской Крови?! Взмыли моторы и на Голгофу и сбили Крест, подавили святые лилии. Жизнь мелеет...

Есть и еще, иные, у которых хватает духу, во имя уязвленной национальной гордости, во имя будто-нравственных оснований, звать: возвращайтесь на родину! Туда, где заматывают душу и убивают тело. Идем к народу, страдать! Не возрождаться и возрождать, — этого там не дозволяют, — а примириться в скорби! с убий-

цами матери примириться, с убийцами души примириться, признать их народной властью. «Ведь примиряемся мы с грязью, по которой ходим?!» Сравнение-то какое, — скользкое! как грязь!! Или это — смирение инфернальное, сладостное «провальным душам»? не во имя попранного Бога? Гниет душа, — дальше, дальше от ее смрада!

Что бы сказала совесть народная такому инферналисту? Сказала бы «не отымай последнего! там, за рубежом, хоть и без меня — мое зреет, — душа моя! Не тащи на свалку!»

Придет время и народ свое скажет: Правда его не выбита.

III

Я бегло отметил слои — зарубежной интеллигенции, попробовал их — на Правду. И думаю: не от чистой они души России.

Но есть многие, души российской, которые знают сердцем. Они Бога в душе несут, душу России хранят в себе. Они за нее боролись безотчетно, отдавали себя в порыве. Они Правду России чают. Из них первые — горячая молодежь наша. Из них первые — истинные сыны народа, не от сословий и не от классов, а от целой, живой России. И вольные сыны степи и рек вольных, буйная кровь России, с Тихого Дона и Кубани, — казачья сила, покорная лишь своей воле да России. И от трудовой земли — крестьяне, от Креста-Христа принявшие крестное свое имя. И — ото всех русских состояний и сословий, молодые. Они, лучшие, принимали и смерть, и муки. Они на своих знаменах унесли незапятнанное, полное тайны имя — Россия. Они не сдались. Они вернут России ее Имя-Душу! Они

связаны с нею кровавой пуповиной! Здесь они, крепкие. Здесь — и ищут. На тяжелых работах, в шахтах, на заводах, на чужих дорогах, под чужим небом, в глуши и в пышных городах мира, израненные телом, с язвами и камнями в сердце, — и все же они живые! Израненные души чутки, и они ищут прочные устои. Многие разуверились в духовных вождях своих, какие у кого были. В одном не разуверились: в своей Правде, в своем праве и долге — найти Россию! Они чуют-видят, какая кругом неправда. Этим выковывают — свое.

Да, нужно пересмотреть пути, — и не молодежи только! — и выбрать верный, что по душе России, — путь не мелкой, заманной «будто-правды», а Великой Правды, которую нельзя нарушить. Христовой Правды, Правды величайшего дерзанья, Правды и Любви великой. Нужно прислушиваться к тем, кого русский народ мог бы назвать своими, если бы слышал и постигал; к тем, кто верит в Великую Христову Правду, верит, что надо ее свести на землю. Есть такие за рубежом, — учители русской Правды. Они прислушиваются к недрам, они их чуют. Они знают и чутко верят, что нужно Величайшее положить в основу, — Слово Животворящее, Слово Бога. Будить и поднимать души, звать — к подвигу:

«Да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет!»

Грядем, Господи! Мы берем Крест и мы понесем Его! И жизнь освятим Крестом. Души свои отдадим на Крест! Умеющие слушать да прислушаются к душе России! Она им скажет пути свои, пути Божьи, пути прямые. Этих путей не видно слева, — там коллектив и его корыто. Там нет — Неба! А что — направо? Прокладываются ли пути Света? Божьи ли пути метят?

Если и там без Христа, если и там старые дрожжи только и мясо жизни, и «наши земли», и камергерские мундиры, и там нет братства, и там не в силах сказать — брат мой! — не с ними пути наши! Наши пути прямые, пути Божьи, пути широкой души народной, объемлющей Любовью! Пути творящие великую, братскую Россию! Душу свою выковать для этих путей надо!

«Приидите вси вернии! приидите, труждающие и обремененные! чистии сердцем, приидите — и поклонимся Христову Воскресению!!» Может подвигнуть себя, Россия?! Подвигни, дерзай, есть сила! Верю, — есть сила.

Время идет, придет. Россия будет! Мы ее будем делать! Братски, во славу Христову делать! По деревням и городам, по всей земле русской пронесем мы Слово творящее, понесем в рубищах, понесем в огне веры, — и выбьем искры, и раздуем святое пламя! Мы все сольемся в одно, — мы вырвем из себя грехи гордыни и преимуществ, ибо мы все ничтожны перед Беспредельным!

Не о пустыне говорю я, не о пещерной жизни, не об опрощенстве, что может грезиться в сиротстве и нищете нашей. Нет, мы освятим Светом и жизнь «плоти»! Мы часто слышим голоса силы и молодой мощи: Россия станет Америкой! Пусть станет. Новой Америкой одухотворенной плоти! Мы — молодой народ, сильный, у нас величайшие таланты. Но кому дано много, с того во многом и взыщется. Не затучнеем и не задремлем! И всему миру покажем пути иные! Жизнь запылает силами. Но пусть эта жизнь, на американскую колодку, будет пронизана Светом Разума во Христе! Без этой основы, без Христовых далей — пуста Земля, и дичает . . . К чему тогда и мораль, и идеалы? для смазки, что ли, чтобы не скрипело? Плевать тогда на тебя,

идеал случайный! «Хочу автомобиля!» И если силен — вышвырну и сам сяду! Где пределы дерзаний сильному, оголившемуся человеку?! Все можно. Можно человека под ярмо взять, миллионами убивать на бойнях, на подметки пустить во имя... босоногого человечества! Сказка ли это? Это же подлая быль порабощенной Руси, где миллионы душ пущены на навоз для неведомой жатвы будущего! Это везде намекает в мире. А какие же говорились речи! Где поручители, что и у других речистых их речи не потекут кровью? ярмом не скажутся?! Где нет Бога — там будет Зверь.

Опаляющим огнем веры зажжем душу свою и народа душу, — и отвалим от гроба камень, дадим волю живым ключам. Как загорится тогда Россия, Живого Бога познавшая! Что за взрывы духовные увидим! Они взорвут самые недра и освободят подспудное. Вся цитадель взорвется, вся крепость Дьявола! За теми пойдет народ, на все дерзающий, кто сможет душу его понять и оплодотворить ее.

Разбудите же в себе силы созвучные, раздуйте в пламя! Миссия, миссия России! Вот она, миссия, — Бога найти Живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру! Не гогочущую в реве-раже машину — человечество, а нового человека явить миру, воплотившийся Образ Божий, Спаса! Иначе — смерть. Вот она, миссия! Во имя сего — стоит дерзать, дерзать!.. И тогда только окупится вся кровь и все муки; только таким дерзаньем!

16 февраля 1924 г.
Париж.

КРЕСТНЫЙ ПОДВИГ

> С в е т л о й   п а м я т и
> Умученных и павших за Россию.
> Д о б л е с т н о й   Ч е с т и
> За Нее бившихся и верою в Нее живущих.

Я раскрыл журнал «Студенческие Годы», — и мне попались стихи:

О, юность мертвая...

Кто написал т а к — про юность?!

Речной песок, приставший к колесу,
Оторванный проселочной дорогой.
Бренчит телега. Плачет колесо:
Который раз отсчитывает версты?!
О, юность мертвая...

Я читал дальше...

Ночь и ночь, и нет исхода...

Нет исхода...

Перепутьями, ночами —
Одиноки плачем мы,
. . . .
Вьются вихри жгучей боли,
Льются слезы без конца,
Не видать нам в темном поле
Лучезарного Лица!

Какое отчаяние... Кто это? И кто оно, Лучезарное Лицо это?!

И слышу, как за мной ползут —
Пожары, казни и разгромы...

. . . .

А Русь?!.. О, Господи, ответь!..

Оно проступило в ночной тиши, и я узнал, я понял... Я узнал исхудавшие, почерневшие лица, истертые шинели и — глаза, глаза... Я увидал поля — снега, реки в разливах, жгучее солнце степи, горы, леса... и их крученое железо, русское железо! Я вспомнил, как оно закаливалось в сталь. Оно... плачет?! Сталь звенит, сверкает, бьет... — и никогда не плачет! Плачет — медь. Сталь никогда не мнется.

Я увидал еще... я вспомнил все. Да, может и сталь заплакать, но... как?!

Явись Венчанная Жена!
Качни возмездия светила!!

Только так. Так плачут бури.

Я узнал, кто это. Это — они, обманутые жизнью. Ваши, мои, наши, — русские бойцы, разбросанные теперь по свету, — от Африки до Калифорнии, от Боснии до Парижа, до Марселя, до... Где конец?.. Это — наши дети и наши братья. Это — Россия.

Я хочу говорить о них.

* *
*

Третий год Великой Войны кончался. Новые наборы, новые маршевые колонны. Солдаты, офицеры, — видавшие не раз смерть. В бой снова, снова.

Они появлялись на день, на два, — присесть у родного огонька, согреть душу... На свежей, забытой простыне; на свежей соломе, с родного поля. Мы — живы! одолеем! Россия...

Это слово каждый таил в себе. Не поминали всуе. За что же болеть — биться? за что же — «себя отвергнуть»?! Вот за это, — маленькое, как будто: за эти стены, за этот лесок, за эту, моюцерковь, за снега — поля, за дали, за — Россию. За весны и зимы эти, за осени непогожие, за воздух, которого нет нигде! За старый, мой Кремль, — за все мое, за русское увязанное Калитой, и Грозным, и Петром, благословленное из далей Славными, Святыми... За наше небо, за грозы-зори, за счастье говорить и думать на моем, чудесном языке... И — надо всем — Она, прекрасная Немая, — Родина, Россия, греза грез, но... без Кого — нельзя!

Надо знать тоску и боль разлуки, тревоги, — и надежды!

Все ясней надежды. Конец все ближе. Силы на исходе, но... скоро, скоро!

А пришло другое: смута. Опять сначала?! Все насмарку! Все смерти, муки, миллионы благословений, в затертых письмах, надежд, обетов! Напряженье бесконечных дней-годов, боев, опасностей... миллионы ран, болезни, море крови, ночи без сна, ночи голодные, снега, дожди, дожди... смрадная грязь окопов... — все стерто!? Кто посмел на это?!!

Далеко, за фронтом, все решили — без них — взбунтованные толпы, слабость власти, рок...

В награду дали... приказ бесчестья! Подлостью — одних, преступной слабостью других, — приказ бесчестья. Сотни тысяч ответственных бойцов предали: бросили в бесчестье, в травлю, в смуту, — чутких к чести, молодых, сменивших другие сотни тысяч — уже забытых по чужим полям.

Я помню письма... Недоумение и боль. За что?!!

Впереди, в тылу, кругом — враги. Не свои, а ор-

ды буйной черни, вооруженной, которой брошено намеком: ну, можешь!.. Невидимые своры «друзей свободы» — зудят, кричат: «чего на них смотреть? им выгодно! домой, за землю!» А впереди — враг, и — надо стоять и сдерживать. Сдерживать и этих, серых, сбитых с толку, смутных. Уже расправились в Свеаборге, на Юге, в Выборге, под Ригой, — поубивали, пошвыряли в море, — лучших. Душу вынимали по кусочкам, по плану, — всюду.

Они растерянно смотрели. Новая власть... такая!?

Под плевками, в издевках, они стояли, были верны долгу. Они умели умирать: без веры, без надежды. Бились и умоляли биться, защищать Россию.

Много страшного, проклятого... и клевета, и злоба... Из тыла, отовсюду, — лили, лили, — и залили кровью, те, кто не дал за Россию и капли крови, не видел смерти на войне, кто управлял Россией разговором. Они связали русское геройство, под подозренье взяли; собой закрыли всю Россию, души прополоскать хотели... И достигли. Вождей войны стравили, заключили в тюрьмы... и сдались, прикрывшись девушками русскими... Одни — прилично — за государственной работой, заседая, как римляне пред галлами; другие...

А они — стояли! Сотни тысяч русских офицеров, молодежи, — стояли на распутьи, среди отравленных солдат, на фронте, верные России. Ждали русской власти.

Что было у них в душе?! Этого не скажешь. Жгучая обида? Слова мало. И за свое, растоптанное, за свои надежды, — ведь столько ждали! — и за безмерное, за тайну, повелевающую жизнью, — за родину. А где ж Россия?! Не она ж их травит, кидает на них тол-

пы опоенных ложью, плюется в душу? Не она ж срывает с них погоны, «знак долга», издевкой смещает в кашевары, — в штыки водивших!? Это не Она! Она им возложила кресты на грудь — за верность. Не Она срывает. Так — Она не может. Мать не может.

И они остались ей верными.

Я видел эти муки. Не муки: больше! Вот письмо:

«...Я еще держу свой боевой участок, на Стоходе. Наши «англичанки» теперь молчат. У пехоты идет «братанье». На фронте каша... Лошади гибнут, бродят всюду. Не могу смотреть, как гибнут... плачут! Фураж не доставляется, идут митинги. Люди начинают растекаться. Даже наши артиллеристы, в общем славные ребята... И их «зараза» заливает. Пишут отпуска себе и требуют у меня печать и подпись. Я не даю. Грозятся силой взять. Пускай. Не посмеют, знают, как я стреляю. Пока мой карабин заряжен... А там... немцы захватят наших «англичанок». Тяжело...»

«Тяжело»! В этом слове — сколько?!

То были — не «помещичьи сынки», не «барское отродье», не «контрреволюционеры», «не враги народа», — как лжецы писали: то были сыновья России. Были среди них казаки, и сыновья — купцов, рабочих, мещан, крестьян, дворян, — всего народа. Это знают. Они оставили училища, прилавки, инструменты, косы, плуги, книги, свои стихи, своих невест, свои надежды, — юные надежды! — не без страданья и во имя долга! Потом... — пошли искать, добыть Россию. Пошли за честь России, проданной и ставшей им еще дороже — через страданье. Да, и за свою, поруганную, честь пошли, — за все свое, разбитое...

Москва, октябрь... Растерянная власть молила: защищайте! революция в опасности! Им крикнула. Им это слово было теперь совсем чужое: не Россия! Рос-

сию защищали они на фронте! Но они пошли, кто мог. Иные не захотели защищать издевку.

Я помню одного? георгиевец, мальчик. Володя — его звали. Где-то он теперь?! Он был проездом. Он пошел. Я знаю, как он дрался — «за Кремль»!

Они стекались, без оружия, случайные, — в Училище. Были представители «революционной власти» и говорили речи. Давали, как обычно, «директивы», говорили «о моменте», о гибели «завоеваний»... И — ни слова о... России.

— Неловко было, — рассказывал потом Володя. — — Так они перепугались... нас, случайных, спрашивали, удержится ли власть! решали — не послать ли парламентеров! Своей тревогой они вносили беспорядок. Мы таким не верим. Нужна была команда! нужен был — твердый голос!

Так говорил герой.

И этот голос крикнул. То был голос русского матроса, гвардейца, костромича-красавца, — на голову всех выше:

— Кончить канитель — и за винтовки!

Пошел к ружейной пирамидке, — и «директивы» кончились. Он дрался, костромич-гвардеец, он лихо дрался. Семь дней дрались дружины, против пушек... Потом...

Потом — годы борьбы: Юг, Север, Ледяной Поход, Сибирь, Урал, Кубань... И Крым.

Они стекались, пробивались, сочились, — из Красного Полона. Их ловили. Поднимали восстания. Их тысячами расстреливали по подвалам, в лесах, в полях, на улицах. Они искали свою Россию.

Чем исчерпать взятый ими подвиг!

Три года они бились — в пожаре. Не было оружия — они его добыли. С голыми руками пошли

о н и . . . и доходили: до Орла — от Юга, до Казани — от Океана, до Петрограда — с Запада. Им ставили капканы, их предавали, их продавали, выбрасывали с пароходов в эвакуациях, оставляли больных и раненых в полях, в станицах. Предавали в тылах. Многие за ними укрывались. И м и многие спаслись от смерти. И потом, иные, швыряли им: «белогвардейцы»! «молодцы»! — в кавычках — «погромщики»! И х расстреливали в спины. Сотни тысяч и х полегли в боях, сотни тысяч умучены по чрезвычайкам, брошены в овраги, в ямы, в реки, в моря. В плечи и глаза и м забивали гвозди — чины-издевки, резали ремни из кожи, ошпаривали руки, и «снимали барские перчатки», возили грузовиками с боен — недобитых . . .

Завоеванья революции? Вот сущность. Других — не видно.

И есть еще и до сего дня люди, — пыль людская; — смеющие грязнить к р е с т н ы й п о д в и г, самоотверженно взятый теми, кто не знал часа отдыха за шесть лет! Родное ли сердце т а к о е себе позволит?!

О н и боролись за . . . угнетение России? за привилегии?! за козырянье прохожего солдата?! Что за низость!

Они доходили до экстаза. В геройстве только можно биться одному против сотни, заживо сгорать — не сдаваться — в танках. В подвиге только можно срывать с себя последнюю шинель, кров походный, и отдать огню, взрыву, лишь бы не отдать врагу бронепоезд, отрезанный от базы. В порыве только можно версты отступать по туркестанской степи, с пальцем на боевой пружине револьвера, с п о с л е д н е й пулей! — между стенами орд красных, думая каждую секунду — к о н ч и т ь? . . Тысячи т а к и х были. Только жертвой перед Безмерным можно признать т а к о е!

Ночи, ночи и ночи, — годы ночей в огне, в стуже, в дождях, в голоде, во вшах, в струпьях, в тоске безмерной, в ранах, в предсмертном бреду горячек! За привиллегии?! за господство?! «за земельки?»!! Верную яму, вороньём заживо исклеванное тело, изорванное собаками и волками, — кинули *они* на весы России, чтобы... вернуть «земельку»? Какой же приговор русской молодежи, студентам русским, которым недавно поклонялись! *Кто* говорит так? *Кто* смеет?! за... угнетение?!!

За честь!! *Такое* — лишь за сжигающую любовь, лишь за священную Честь — по силам!

Кто напишет *о них* достойное *их Слово*?

История уже написала. Записанного не замазать. Напишет снова — Великий Нестор — России, напишет глухое к страстям *Время*.

И — преклонятся.

Скажут — и давно кричат и швыряют грязью! — а расстрелы? а грабежи-погромы? а зверства? То же кричали и — в Лозанне. Ответила Лозанна — совестью свободного народа. Да, были. А *кто* вызвал? Или можно в борьбе насмерть остаться небесно-чистым? пройдя реки по горло, сухим выйти? на бойнях не замараться кровью? Было, как бывает в жизни. Но «зверством» — не закрыть *Жертвы*! Были и преступления. Но кто найдет в себе силу бросить камнем — *после всего, что было*!

Они не сдались. *Они не могли* сдаться! *Они* ушли из России, в себе понесли Россию, — и носят в себе доселе. И опаленную, *Ее*, и свою честь носят и живы ею. И доживут до дня судного, дождутся. А не дождутся... — другие встанут, за *них*, за святые их тени встанут, и скажут властно. Кости с полей восстанут и потребуют Суда Правды! И получат.

Здесь, за рубежом, их — и за них — многие сотни тысяч, — и казаки, и горожане, и крестьяне... И там, в России, — многие миллионы. Все русское, для кого Родина — не пустое слово! Кто знает, — здесь, быть может, и тот матрос Гвардейского Экипажа, если не связал себя с родиной — могилой. Все они ее смутно чуют. Они ее увидят. Им, — прежде всех, им! — принадлежит выстраданное право сказать о ней, Ей сказать про свои за нее муки, когда ее увидят. Они ж ее предстатели. Они за нее все отдали и получили за все — чужбину и, от иных издевки и подозрения. «Галлиполийцы»! «Наемники»! Или это вождей их только? Или не знают, как чутки к вождям солдаты?! Или сами они — пустое место?!

Время придет, — и они сами скажут. Теперь они — в работе. Выбивают свой кусок хлеба: не может им дать его связанная Россия.

Пишу — и вижу: не скажешь, не охватишь величия-ужаса трагедии российской. Что взяла на себя и свершила русская честь и сила — офицеры, солдаты, казаки, гимназисты, студенты, кадеты, мужики-парии-землепашцы, — будущая Великая Россия, — все те, что теперь копают французские виноградники, бьют щебень на славянских дорогах, рубят леса в горах Боснии, работают по заводам, грузят чужие пароходы, торгуют, катают публику, учатся и часто гибнут, забытые русскими же людьми, это — гордость России, дети ее, избранные ее, ее кровь и крик, боли ее и слезы, — ее Слава. Только одни они оправдали ее перед целым светом, перед Правдой! В грязь и смуть последней истории российской они вложили прекрасные линии, кровью своей вклеили величественные страницы, подняли Крест Великий и показали слепому миру: смотри!

Распята на Кресте том Правда, за которую они боролись.

* *
*

И вот, когда я ночью читал стихи, этот крик истомившейся молодой души, — они сердце мое сдавили. Сколько *их*, ограбленных до... души!

Все неслышно звуков песен,
Нет мерцания огней...
Сколько зим и сколько весен
Под опалой быть *Твоей*?!..

Чуете ли, умеющие видеть только тлен?! Чуете ли смирение?! *Такой* крик души, углубленность духа, самоотреченность *такие*, что только подвижник может! Ведь это он, поэт, — к *Ней*, ведь это он про *Ее* опалу!.. За *Нее*, *столько*, — и... опала! Ведь так рыцари только могут, те, давние..., кого уже перестала рожать земля! Ведь тут, измученный, ограбленный весь, до сердца, он и ласки найти не может в себе большей, ниц перед *Ней*, окровавленной падает: может, оскорбил тебя чем! не опаляй!! воззри, Родная!! *Чувство-то тут какое*!!

А то — «за земельки»! Эх, вы, выветрившиеся души!

И вот:

Ползет над миром тишина,
Безмолвье жуткое застыло...

Воистину — безмолвие. Нет людей. Люди пропали, *люди*! А что же *себя* забыли?! Вы же слагаете Лик Чудесный, *Лик Человеческий*!

И вот — к Ней, опаляющей, — крик призывный:

Явись, Венчанная Жена!
Качни возмездия светила!

Предгрозье? Сердцу ясно. Да!
Не смыть обмана договором!

Ясно, да! Никакого договора быть не может. Так только и мог сказать поэт-солдат — или — за солдат! Он выразил — за всех, приявших Крест России. Не может! Ни с кем из тех, кто вынимал душу из России! Она — Венчанная Жена. Она — Россия! Это не из того Апокалипсиса. Это — из нашего. Это — Она, терновым венцом венчанная.

Слышится мне крик боли... И хочется мне сказать... не слово утешения: я не смею. Не ласки слово: они забыли ласку. И не слова надежды: они давно ее завоевали — «страстями», жертвой. Я хочу поклониться им, великому их страданию. Я хочу братски, отцовски, во имя мертвых и живых, себя отдавших, сказать:

Сыновья, братья, друзья мои! Да, вы бьете камень на чужих дорогах, разнимаете проволоку на полях битв не ваших... — выбиваете хлеб чужбины. Вы потеряли матерей, отцов, жен, сестер, детей... — и они потеряли вас... Вы, многие-многие, молодость свою потеряли — не видали! — не целовали юно русскую девушку-невесту, и лучезарное лицо милой не является вам во снах. Но вы... Ее приобрели, Ее лучезарную! Вы так себя с Ней связали, что она навеки пойдет за вами, во веки будет звать вас! Или все ваше — в ветер? Или не вами рождено то, что там, на русских полях осталось, за что положили душу?! Оно уже колосится, оно шумит.

«Аще не умрет — не оживет»!

То, что вы были, — это пропасть не может!

И самоотвержение, и неоправданные обиды, и мученья, и погибшие в пытках, и слезы, и кровь, и жертвы,

— все это — есть, все — сущность! Это пути к правде неистребимой, к Богу в человеке, в народе нашем! Они не позволят угаснуть в России нашей — великому смыслу жизни! Это же пути к вечности, пути Божьи, какими человечество движется к величайшему завершению. Это же те черты, те чудесные линии, из чего создается Лицо Лучезарное, Душа России! Это — искры и огни Света, и намекает из них туманный еще пока, божественный образ в человеке. Незримо, но совершается.

«Камень, Его же отвергли строители . . .»

Вы суть камни и душа того Здания, которое воздвигается. И вы — увенчаете его! И жизнь опять чаши наполнит, что расплескали, и поставит опрокинутые столы! Вы открытой грудью подойдете к великому страдальцу, к народу-брату, и он узнает вас! он увидит и раны ваши, и муки ваши, — он все поймет и сольется нерасторжимо с вами. Он уже много понял. И то, что он уже понял, — нечуемо вы вложили.

Вы умеете слышать. Вы первые услыхали шепот призывной Родины, шепот предсмертной боли. И вы — пошли. Вы умеете слышать. Вы уже слышите и теперь, издалека, Ее дыханье. Болеющее сердце — чутко. Оно никогда не спит. Оно не может уснуть. Ваше сердце изранено. Ваше сердце связало себя с Россией нитями крови, жертвы. И не оторвется вовек.

«Смертию смерть поправ»!

Помните: с вами те, что умучены, что на полях битв пали, отдали себя в жертву! Они смертью своею попрали Смерть, смерть — России.

И — да воскреснет!

6/19 января 1924 г.
Париж.

СЛОВО О «ТАТЬЯНЕ»

Думали ли когда-нибудь питомцы Московского и прочих русских университетов, что придет пора, когда они в мировом городе, в Париже, будут править как бы поминки по русскому просвещению?!

Вряд ли думали.

И еще меньше могли думать, что будут править эти поминки — тризну в стенах российского посольства!

Русские студенты, русские профессора . . . — и такие аристократические, такие высокопоставленные стены, еще таящие на своих зеркалах отражения государей, князей, министров, послов, — всех тех, кого русское общество обычно противополагало свободному просвещению, против кого бунтовало, кого критиковало, винило, и . . . даже убивало! . . И вот, роковые пути привели многих и многих представителей этого образованного общества из родной страны на чужбину и трагично поставили их с глазу на глаз с осколками от России, во всех землях, — с православными русскими храмами, с русскими домами, с рускими кладбищами, порогами и стенами русскими, с намекающими знаками России и от России, на чем как бы лежат ее ответы, где хранятся еще воспоминания о ее величавом прошлом. Крутит русский водоворот около русской церкви, и здесь, на Гренелль, и всюду, где осталась хотя бы только русская вывеска. Знаменательные пути, внушительные итоги!

Над этим очень и очень подумать следует.

Питомцы русских университетов, — многие-многие, — вне России. Былые храмы наук и среди них — старейший, храм под покровом Великомученицы Татьяны, — где?!.. В этот день, 12 русского января, мы вспоминаем Татьяну *нашу*, всегда юную, прекрасную Татьяну, которую я невольно связываю с пушкинской, — с милой и чистой девушкой русской, с женственностью России, — с самой Россией. И впоминаются мне «вещие», полные грусти и укоризны кроткой, слова:

«Онегин, я тогда моложе,
«Я лучше, кажется, была,
«И я любила вас; и что же?
«Что в сердце вашем я нашла,
«Какой ответ?..»

Вот над этим-то ответом подумать следует. Да, конечно, и думают. Я не остановлюсь здесь на всестороннем освещении этого «ответа». Я лишь коснусь тех общих причин, в недрах духа русской интеллигенции лежавших, — ложных шагов, которые способствовали тем роковым путям, что привели нас под стены русские во французском граде...

Стены московского университета, дом Татьяны — остался в Москве, на Моховой, быть может даже и не Моховой теперь... а св. Татьяна, — сорвана, вырвана, выдрана, и ниша ее пуста. Души ее там уже давно нет, она еще раньше ушла куда-то и где-то живет — до времени. А помните — на круглом фронтоне, на угловом, золотые слова, выложенные русской вязью: — «Свет Христов просвещает всех»?! Их тоже нет. Сбиты золотые слова, замазаны их гнезда, но можно еще читать о «свете» — по их следкам. Погас Свет — и уже нет просвещения!

Да почему ж так вышло?!

Много было причин тому. Историки и общественники в них разбираются посильно и, может быть, разберутся. Я не историк и не общественник. Я лишь участник и наблюдатель жизни. И я приглашаю вас, представителей широких слоев русской интеллигенции, целомудренно заглянуть в себя, повинмательнее вглядеться в прошлое и, быть может, покаяться. Я лишь обще коснусь того, что связано тесно с русским просвещением, с... «Татьяной» прошлого.

Помните вы скучное, длинное-длинное, желтоватое, с мутноватыми окнами, здание... так называемого «экзерциргауза», николаевского Манежа? той, для студентов, постоянной гауптвахты, — и только гауптавхты! — которое так удручало глаза, ловившие только дали? Этот манеж, действительно, закрывал дали. Не манежем он был, конечно, не историческим зданием, — в деталях очень красивым, если внимательно присмотреться, — для ловивших дали: это был важный символ! И этот символ мешал... — «прорывам»! Он закрывал и дали, и, к сожалению, русский Кремль! Смотреть не хотели из-за него, поверх его! «Да где же дали?» — кричали сердца студентов» — «Через манеж — в дали!» «В дали, в чужие дали!» — призывно звали профессора.

И вот... — и попали в дали...

Хорошо уноситься в дали, когда все твое при тебе, когда можешь из далей к себе вернуться!

Этот «манеж» мешал... Он прямо не пускал в дали. Да, он часто вбирал в себя, в себе удержать хотел, хотел охладить, сдержать. И не всегда был неправ. И только ли манежем он был, скучным «экзерциргаузом»? Позвольте... припоминаю. В нем бывали и народные гулянья, правда, с городовыми... — но с городовыми, пожалуй, и не всегда плохо? В нем обучалась и русская

армия, та, что помогала защищать русский чудесный Кремль, яркий российский символ, и даже — дали! В нем бывали богатые выставки российского хозяйства. В нем были и чудесные архитектурные детали, и удивительно вольный свод, — без единой подпорки раскатившегося пролета, чудо строительной техники, — поражавший и европейский глаз. Правда, — казенная, но все же была и церковь, очень уютная простотой. Правда он останавливал разбегавшиеся по далям взгляды . . .

Я далек от того, чтобы воспевать гимн «манежу»: я только хочу сказать, что он иногда был н у ж е н.

Русская мысль и русская наука всегда устремлялись в дали. И часто не замечали и не ценили ближайшего. А ближайшее было — сама Россия, увязанная жилами всего русского народа, чудесной его историей. Мы слишком всегда хотели . . . Европы! в Европу — поверх России. В Европу далей. Мы слишком были нетерпеливы. Мы проглядели многое. Мы знали Европу больше, чем Россию, чем сама знает себя Европа. Мы пробежали м и м о К р е м л я, мы наскоро проглядели национальное, не ухватив с корнями, легкодушно отдали прошлому и . . . докатились до интернационала. И потеряли свою «Татьяну».

Вспомните вы университеты . . . Кто захватывал молодежь? Тот, кто уводил ее к д а л я м, и чуждым, и неизвестным; кто иногда обрывал молодые корни, углублявшиеся в родную почву. Кто легко завоевывал юные души? Те, кто был предельный и запредельный. Вспомните молодые годы. Я не назову имена, — пусть носители их почивают или пребывают с миром. Но многие из них могут сказать, что они учили любить Россию, не народ-Россию, не т р у д о в у ю , классовую Россию, а Родину-Россию, ее прошлое, настоящее и будущее,

огромное и таинственное Нечто, мистическое, Россию, как выразительницу нашего, общерусского, — Душу нашу? Я таких непомню. Разве Ключевский только... Да, он умел выпукло показать наше, душу России нашей, и его талант, его крепкое чувство русского освежали молодые сердца, быть может уже предчувствовавшие, что скоро она утратится, Россия наша. К нему бежали, его аудиторию переполняли... Но это были миги. Его принимали постольку — поскольку... Многие ли принимали в душу его неисчерпаемую до глубины речь-слово — «Преподобный Сергий Радонежский»? Многие ли вслушивались с трепетом в его пророческое предостережение? многие ли соглашались, когда сказал он о том страшном, что впереди, когда перестанут черпать из величайшей сокровищницы духа народного, когда погаснут лампады над великой гробницей Угодника?

Многие ли профессора звали прислушиваться к дыханию России? прощать уклоны и нестроение, любовно-чутко подходить к ней в болях ее, в ее болезненных родах чудного будущего, своего, своего содержания, своей окраски. Многие ли учили ценить и любить родное? Много ли внимания уделялось творческой национальной мысли? Не смеялись ли над опасениями «потрясений основ»? Объявлялись ли курсы по изучению Достоевского, политика-публициста-философа? а — К. Леонтьева? а — Данилевского? а — философии национального какое уделялось место? Как подносились и трактовались молодежи Аксаков, Лесков, Гоголь, самый Пушкин?! Многое важное хранилось глубоко, под спудом. Свободное ли было отношение к инакомыслящим? Мы все это хорошо знаем. Мы знаем, что всякое особливое, что не укладывалось в приятно-приемлемые пути «левизны», рассматривалось враждебно.

Политический курс был определен прочно и навсегда, а под него подгонялась и наука. Все продушины, из которых мог бы повеять свободный воздух, воздух России самобытной, — объявлялись подвальными. Молодежи выкалывали глаз правый, а на левый надевали очки, большей частью розовые. Стряпали по облюбованному лекалу.

И всю потрясающую сложность, все величайшее богатство ветвившейся и дробившейся русской души и русской мысли старались свести в русло, заранее признанное самым верным. Вырабатывали протестантов, а не мыслителей. Вырабатывали сектантов, вырабатывали, скажу, антихристиан, антирусских даже, интернационалистов-космополитов. Вся масса молодежи, не выработавшая миросозерцания, лишь жаждавшая его, попадала на протоптанную дорожку, которая уводила к огням Европы, минуя чудесные российские светильники и лампады. И свет Христов, широкий и чистый свет, не вливался в души учеников российского университета. И пошли с клеймами и тавром, раз навсегда поставленным, — революционер, позитивист, республиканец, атеист. Лишь избранным удалось потом великим трудом и великими зеблуждениями выбраться на свободную дорогу. Таких немного.

Мешал манеж! Этот казенный манеж, этот символ насилия, который раздули до размеров стихийных! Не показали, может быть не учли потребность, может быть из стыда ложного боялись показать молодежи широкие дороги — к российским недрам, не сумели разжечь к ним, к этим недрам, любовь и — веру, — «Что такое Россия! чему она научит! Деревянная, избяная, лесовая, — Россия палачей, урядников, губернаторов! С такой Россией нельзя, и нечего из нее черпать. Вот Европа! ее последние достижения, — вот оно, Че-

ловечество!» — И дали ставку на Человечество — и родину потеряли.

Хотели народу счастья. Не России счастья, а ее трудовому народу! Сузили Россию, глядели, прищурив глаз и проглядели ценнейшее, христианскую ее душу, ее высокую духовную культуру — в недрах ее! И поплатились страшно. Предали ее *недра*, впустили тлю. Предали всю Ее, не трудовой народ только, а *всю Ее!*

Манеж, российский экзерциргауз, — частность. Мог он закрыть Россию? Не закрывал никогда, кто мог и хотел зорко и глубже видеть. *Править* надо было Россию, а не травить!

Манеж... Надо было только умело-чутко идти к нему, обойти его, — и открывался чудесный Кремль и чудесные за ним дали. Не догадались? Не сумели? Хотели *через* него пройти, снести этот исторический «экзерциргауз», глаза мозоливший, этот дом трудного искуса, упражнения и узды, — и прошли *насквозь* — и за ним увидали... стены, глухие, сырые, грязно-красные стены, плесень. И уперлись, головы о них разбили, и многие полегли под ними.

И вот — мы здесь... А *там... там* еще стоят стены нашей св. Татьяны, и гнезда золотых букв, мало кем замечавшиеся тогда, все же потом замеченные, кому это было нужно, и сорванные, растоптанные во прах! Но... остались следы.

Мы помним эти слова о Христовом Свете, и мы найдем мужество сохранить их и донести до места. А не хватит жизни — свято передадим их новому поколению, крепче нас, закалившемуся в невзгодах, глаза которого не блуждают в далях, глаза которого устремлены в одно — в далекую Россию! Пусть из наших нетвердых и ошибавшихся часто рук примет оно эти сор-

ванные слова — слова завета — о широком Христовом Свете, всех просвещающем, писанные российской вязью, и водрузит на место, и позолотит, чтобы всем видно было! Пусть добудет и прекрасную Великомученицу Татьяну и поставит ее на высокое, Ее, место, всем видное! И пусть просвещение станет через новое поколение не узко и сухо-человечьим, а человеческим, вытекая из недр духа живого, пусть несет на себе благодать Души Русской!

Я верю, знаю, что зреет, что наливается в душах молодежи нашей. И это дает мне смелость сказать: она донесет, она поставит! Ибо она теперь вместе с нами, вместе с многими из нас жаждает, жаждает России неудержимо, ибо она хочет быть русской молодежью, для нее уже огненное слово начертано, горит в сердце, — национальное, наше!

Мы празднуем-поминаем свою Татьяну? Нет, мы не празднуем... Наши праздники впереди, вдалёке. Они придут... И хлынет тогда, бурно хлынет тогда в души зовущие, в души унылые, в души испепеленные... небывалым светом и звонами такими, что радостных слез не хватит встречать Рожденье! Не хватит криков! Мы услышим колокола... свои. Они набирают силу. Мы найдем много меди, певучей и новой меди. Она подремывает в глуби. Она зазвенит — загудит под Солнцем! Мы увидим звезды, наши звезды, с неба спустившиеся на наши лесные чащи, на наши ели, — в снегах, седые, уснувшие, — и наши леса проснутся! Мы увидим, услышим Праздник! Мы должны увидеть. Наши снега загорятся... сами снега загорятся и запоют! Льды растопятся и заплещут, — и вольный разлив весенний, Великое Половодье Русское, смоет всю грязь в моря.

Весна... Она проснется, новая весна наша, Татьяна наша, Снегурка наша, потянется голубым паром в небо, озолотится в солнце... разбудит сладостную тоску по счастью. Шумят подземные ключи, роют, роют... Мы обретем ее, ускользающую Снегурку нашу, мечту нашу! Мы ее вспомним-встретим и обовьем желаньем... И снова, снова — откроются перед нами дали, туманные, пусть обманные, н а ш и дали!

12/25 янв. 1924 г.
Париж.

КРУШЕНИЕ КУМИРОВ

«Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его: ибо что он значит?».

(Исаия 2, 22).

I

«Мы до этого не доживем, а наши дети все это увидят», — писал Достоевский, за полвека провидя плоды российского нигилизма.

Что увидели дети? Мы это хорошо знаем.

«Начнут гордую Вавилонскую башню, а кончат антропофагией».

«Агитаторы пролетариев будут просто на грабежи звать своих последователей».

«Русские европейцы готовы на любую жестокость, если им докажут, что это нужно для цивилизации».

«Социалисты наши одержимы страшною ненавистью к России: если бы она благоденствовала, они были бы несчастны».

«Хотя революция начнется в России, но не здесь ей долго пановать: ее подлинное гнездо будет в Европе».

«В России бунт можно начинать только с атеизма».

«Отвергнув Христа, люди хотят ввести справедливость, а кончат тем, что зальют мир кровью».

«Русские дойдут до ужасных безобразий» . . . — и еще многое . . .

Кто теперь будет отрицать за гением Достоевского пророческую силу? Воистину, ясновидец. Эти пророчества — в его книгах, и желающий вспомнит их. И ясно предстанут идолы-кумиры европейской цивилизации, на которых самозабвенно-страстно молилось русское общество. До ожесточения молилось, до гонения на несогласных. И домолилось до озверения, до «миллионов русских голов» и людоедства, до разгрома России!

Кончилось ли «моление»? Там еще продолжается, а здесь все еще взирают на поверженных идолов. Облики-тени их, как дорогие реликвиии, унесли иные из «фельдфебелей цивилизации» (Достоевский) за рубеж и еще тщатся учить идолопоклонничеству. Еще бичуют ищущих Бога Живого, стараются идолов подновить, подкрасить, отмыть от крови и начать моленье, забыв соучастие в возведении Вавилонской башни, не желая покаяться.

Или еще не пришли сроки? Не изведали еще заклятья:

«Разрушат храмы, зальют мир кровью, а потом испугаются!»?

Еще не испугались.

Но больше и больше глаз, не затуманенных фимиамами курений, начинают разглядывать «человеческую подделку». Ясные глаза ищут Живого Бога. Слабеют чары, позолота с кумиров содрана, мантии на жрецах в дырьях и странных пятнах, — и некогда величавое явилось чистым глазам в крови и чаде, и обличает жрецов — «безпочвенных межеумков», — по слову Достоевского.

Да, за рубежом вырастает новая русская душа, чутко прислушивающаяся к Душе России, где даже «каторжане сознают свою виновность», в то время, как

«Биконсфильды и европейцы оправдывают жестокость» (Достоевский).

Здесь зреет, — несомненно. Стоит присмотреться — и увидишь: переварка мировоззрений происходит. Мы знаем смелых и искренних — мыслителей, ученых, писателей и общественников русских, — для них Россия не место опытов, не ристалище для состязаний. Большими глазами глядят они на разгром ее и хотят постигнуть: откуда разгром этот?

Пророки были, — и не прошли.

Сказал Исаия: «Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: «у тебя есть одежда, будь нашим вождем и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «не могу исцелить ран общества...» (3, 6, 7).

Наши пророки видят и осязают «раны»: запах тления — над Европой, над целым миром. Так говорят пророки наши. Тревожные голоса слышатся по Европе, и немец Шпенглер приглядывается к Востоку: не оттуда ли забрезжит?

Что это за кумиры, которым еще служат?

Об этом проникновенно говорит в своей книге Франк (С. Л. Франк, — Крушение кумиров. Америк. изд-во, Берлин, 1924 г.). Эта книга — великое зеркало, в котором увидишь многое: прошлое и Россию, душу русской интеллигенции, ошибки, ложь и неправду жизни, и — широкий выход из тупика смерти. Это голос души живой, выбравшейся из капищ, из удушающих курений и испарений идоложертвенных. Это и радостный крик души, нашедшей Живого Бога.

Молодые, ищущие путей, прислушайтесь! К вам обращена исповедь: на вас надежды, в вас чаяния России. Читайте и вдумывайтесь. Вам, ведь, пришлось кровью своей проверить проложенные до вас дороги. К сча-

стью, многие из вас не успели плениться идолопоклонством; вашу душу не тянули клещами «общественного императива», — вам будет легче торить пути. Правда, многих из вас поверженные кумиры больно ударили — без вины виноватых. Поставленные не вами, они раздавили многое дорогое вам, — увы, незаменимое. Но пусть не личная боль руководит вами, не раздражение: путь, который вы, может быть, изберете, — не путь злобы. Пусть ведет вас неутолимая жажда найти ценнейшее, что не отнято до конца, — найти Россию и направить Ее пути. Помните слова пророка нашего:

«Я более всего на молодость надеюсь, ибо она исполнена исканием Правды» (Достоевский).

И другого пророка помните:

«Забирайте же с собою в путь . . . — забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!» (Гоголь).

II

Для молодежи русской — и не для нее только — книга Франка — целое откровение. Она ярко показывает тиски-подвалы, в которых жили целые поколения:

«Сколько жертв вообще было принесено на алтарь «революционного» или «прогрессивного» общественного мнения! Сколько талантов погибало или, по крайней мере подвергалось жесточайшим преследованиям, беспощадному моральному бойкоту за нарушение «категорического императива» «прогрессивного» общественного мнения! Едва ли можно найти хоть одного подлинно-даровитого, самобытного, вдохновленного русского писателя или мыслителя, который не подвергался бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумления, — Аполлон Григорьев

и Достоевский, Лесков и К. Леонтьев, — вот первые, самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества ... Другим — нет числа» (стр. 66).

А Гоголь? а Фет? а Тютчев, А. К. Толстой, сам Толстой, Чехов? Сколько их сбили с пути и скольким зажали рот! Писаревы и Скабичевские тянули на суд «фельдфебельского» застенка, сапогами били в преславную музу Пушкина, грозили, отлучали, предрекали. Заплевывались перлы, замалчивались шедевры и ставилось клеймо: ретроград!

Теперь рассеян гипноз, и пути вольной мысли будут безмерно легче. Упали чары, чем завораживали слепцы-учители, сами несчастные: многие из них погибли.

Эта книга смело разоблачает идолов, срывает позолоту, — и видишь чурбан, которому поклонялись, которым убивали живую душу.

Эта книга — не книга ненависти: она воздает должное, она — суд. И — она приближает к Живому Богу.

Она говорит о рабстве духа русской интеллигенции, о том, как падающие кумиры опрокинули все светильники и разлили пожар в стране.

«Кумир (революции), которому поклонялись многие поколения, которого считали живым богом-спасителем, которому приносились бесчисленные человеческие жертвы, — этот кумир, которому сейчас тупые фанатики или бессовестные лицемеры вынуждают еще поклоняться, во имя которого расстреливают людей, калечат русскую жизнь, издеваются над истинной религией, — именно в силу этого потерял свою власть над душами, изобличен, как мертвый истукан. Живые души в

ужасе и омерзении отступились от него». (Крушение кумиров, — стр. 21).

И второй кумир свергнут — «кумир политики».

«Кумир «политического идеала» разоблачен и повержен, и никакие трусливые рассуждения об опасности и рискованности этого состояния не могут изменить этот беспорно совершившийся факт» (стр. 34).

И третий кумир — «кумир культуры» — пошатнулся и вот-вот рушится. Этот кумир — громоздкий. Он миллионами нитей связан с «верными», эти нити — как паутина, и в паутине этой — миллиарды человечков-мошек. Они бьются в сухоте и холоде «культуры». Этот кумир рушится, подтачивается, ибо дух жизни его покинул. Он уже отмирает, и тление его отравляет воздух: душно, невмоготу становится взыскующему духу. Безмерной ценой оплачено поклонение! Подводятся итоги. Вспомнить и вспомнить надо работу Энгельгардта — «Прогресс, как эволюция жестокости», — и увидим итоги эти.

Франк нашел святой гнев в душе, и эти его страницы дышат страстностью проповедника. Дальше так жить нельзя. Человечество пожирается Молохом. Пора прозреть!

Франк говорит и о «демократическом идеале», и его сжигает. О погасшем жаре души, о беспросветной тоске, уже охватывающей человечество, о былых восторгах перед «кумиром». Уходит очарование былой культуры, всюду — лицемерие, душевная пустота и самообман, ложь и нравственное одичание, гниение и плен духа, — великая человеческая помойка. Вера в «прогресс» утрачена.

«Мы видим духовное варварство народов утонченной умственной культуры, черствую жестокость при господстве гуманитарных принципов, душевную грязь

и порочность при внешней чистоте и благопристойности, внутреннее бессилие внешнего могущества . . . Обаяние кумира культуры померкло в нашей душе, так же, как обаяние кумира революции и кумира политики . . . Мы висим в воздухе среди какой-то пустоты или среди тумана, в котором мы не можем разобраться, отличить зыбкое колыхание стихий, грозящих утопить нас . . . (стр. 50—51).

Повержены внешние кумиры, и с ними расползаются кумиры внутренние, — кумиры идеи и «нравственного идеализма»: происходит переворот духовный. Ему посвящает Франк 4-ю главу книги, проявляя здесь блеск и чистоту мысли. Он показывает ужас пленения человеческого духа изолгавшеюся моралью, — человеческое тартюфство. Эту главу нужно читать и перечитывать, чтобы исчерпать духовную глубину учителя, его чуткое целомудрие. Да, именно — ц е л о м у д р и е, хоть и говорит он и о «половом чувстве». Но к а к говорит! Это же призыв на высоты, это же исповедь духа, спасающегося от тли! Он не замазывает язвы, он ищет целительное Лекарство: новые пути живого духа. Ибо знает Франк человеческую трагедию, великую правду Достоевского: «мы сами не знаем, где кончается в нашей душе священный культ Мадонны и где начинается Содом». Он трогательно-глубок, когда говорит:

«Как это ни дико звучит для суровых моралистов, которых длительное лицемерие уже приучило к совершенной духовной слепоте, — в бешеном, в самозабвенном разгуле страстей, к которому нас манит заунывно-залихватская цыганская песня, нам мерещится часто разрешение последней, глубочайшей нашей тоски, какое-то предельное самоосуществление и удовлетворение, по которому томится не одно уж тело, а сам дух наш».

Вот оно, чуемое «острие», с которого или полет ввысь или свержение в бездну, та точка неуловимая, которую заваливают видимой культурой, которую хотят позабыть, но которая выбрасывает и выбрасывает «острие» порыва. Рвет это острие — и прорвет! И разве не знаем мы мучительные и ужасные формы прорывов этих?! Радения хлыстовствующих, муки поэтов, разгулы тела, в котором тесно душе несонной, умерщвление плоти аскетами, экстазы веры, небо и ад, безумства крови и пожар духа, — героические потуги найти себя. Это беспокойное метание человечества, это качание на вихревых качелях, — чуяние иной формы!

И эту-то безумную, извека бунтующую человеческую душу хотят пригладить и успокоить «идеализмом» и предписанием подделочной морали! Порвет она эти бумажные колпаки, ибо чует за ними просторы неба. Вот она, основная ложь: рачительная работа веревочками запутать-завязать душу, обмануть ее бумажным небом. Потому-то и кровянит она в порывах своих и взлетах это земное небо. Ей небесное нужно Небо, и благостные путы, чтобы не истекать силой-кровью. Нужен ей иной руководитель — Дух Живой: Он поведет от шаткого острия на высоты.

Это нащупывал Ницше. Искал Ибсен. Чувствовал остро Достоевский. Знали «старцы». Теперь открывается это — всем, кто может вместить. Великое Обновление начинает тревожно стучаться в двери. Ибо бессильны стали «путы железные». И надо отворить двери.

«Такова роковая судьба идеализма. Его святые и подвижники неизбежно становятся фарисеями, его герои становятся извергами, насильниками и палачами...»

Но где же истинные пути, где «пути благостные»?

И Франк указывает пути — «встречу Живого Бога».

«Духовной жаждою томим,
«В пустыне мрачной я влачился...
(Пушкин)

И вот — проникновенные страницы. Они проникают в душу, — и я почувствовал: приближают к Богу. Воистину Живое слово творит чудо! Я не могу пересказывать. Надо внимать — и душа учует.

Франк вскрывает недра и тайники души — и свет озаряет жизнь. Здесь не мистическое, не тайна, а плоть живая, но утонченная плоть, как свет. Здесь — не надземное. Открывается сущность жизни, живая жизнь воли-дела, творчество бесконечное.

«Мы знаем, — в чем именно заключается истинное благо человеческой жизни, а поэтому отныне нас не соблазнят ни какие-либо утопии социального рая, равенства распределения и всеобщей материальной сытости... Мы знаем как необходимость подчинения худших лучшим, и всех — общему закону жизни, так и необходимость уважения ко всякой человеческой личности и братского к ней отношения».

Читайте и перечитывайте, кто может. Это не сухое слово, это — вода ключа горняго.

III

Не напрасны страдания: они выковывают душу, образуют порывы к творчеству новой жизни. Довольно путей ветхих. Слава Богу, есть у нас творческие силы, — пора, пора новые путевые столбы ставить, прокладывать новые дороги. Старые привели к могилам. И уже ищут, и намечают, и ставят. Может быть уже и

идут иные, — и шире, шире дороги будут. Впереди идут путеводцы — с глазами любви и веры. Откройте книги и читайте... Ищите и выбирайте. Страстно ищет русская встревоженная совесть, — истинной жизни ищет. Читайте Бердяева, его «Философию неравенства», читайте и книги «евразийцев», и Струве, испытавшего пути иные и продолжающего искать. Читайте и перечитывайте «Крушение кумиров», — и эта книга подымет в вашей душе вихрь новых и освежающих мыслей, быть может родит в вас новую душу и сделает вас свободными от «пут железных». И — не забывайте читать вечное Благовестие — Евангелие.

Вы, русские женщины, прчтите Франка. Русские женщины... Страшное выпало вам на долю, как никому. Судьба ваша необычайна. Это теперь всем видно.

Русская женщина, — и сестра, и жена, и мать, — носит в душе великую силу — великое страдание. В подвиге творчества новой жизни — многое она может. Ее душа — душа глубины, и высоты, и Света. Светлые и величавые образы русских женщин дала наша литература, как ни одна литература в мире. Русские женщины шли за мужьями и братьями на каторгу, поддерживали духовно и исправляли, искупали, и очищали. За них, как за верный якорь, хватались гибнущие. Русские женщины «за идею» безотчетно отдавали себя на смерть и муки, гибли самоотверженно, ослепленные «идеалом». Теперь, быть может, достойно выпадает им с верой вести к живому Идеалу, к Богу в жизни, все бесцелье жизни наполнить Великой Целью — вернуть человеку образ Божий! Русская женщина т е п е р ь это право приобрела, как ни одна в мире. И не только право, но и с и л у.

Русская женщина теперь — величайшая страдалица в целом мире. На нее пала в с я л о ж ь и скорбь

запутавшегося мира. Какая женщина столько перестрадала и столько потеряла?! Какая женщина — мать, доведенная до безумия «культурой», поедала своих детей, осмеивалась палачами, убившими ее сына, ее мужа, ее брата, — насиловалась ими на равнодушных глазах упоенного своей цивилизацией человечества? Какая? Русская женщина. Какая женщина видела осквернение самого для нее святого, ее Неба? Русская женщина. Какая видела своих близких, потерявших лицо свое и соблазненных, на нее же восставших в ослеплении? к кресту пригвожденных, распятых, насилуемых при последнем вздохе, при задушаемых зовах — мама! Русская женщина. Величайшая из страдальцев в мире. После Великой Войны, с истерзанным сердцем, она продолжала терять, терять, терять... Она только теряла! И не сдалась. И не может сдаться. Ей назначен в удел величайший из подвигов. Готова она к нему тяжкой судьбой своей. И познает это. Этот Подвиг провидел и наш Пророк:

«Ей прежде всего, принадлежит обновление русской жизни!» (Достоевский, 21, 301).

Ей, быть может, выпадет — первой — быть вестницей Воскресения России.

Помните ту зарю, зарю Воскресения, у Гроба? Мария, первая, встретила Его.

«Жено, что ты плачешь? кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она обратившись говорит Ему: Раввуни, — что значит: «Учитель!» (Иоан, 20, 15—16).

Вы это помните: ей — первой! И теперь, когда все чуткие сознают, что так жить больше нельзя, — когда уже указывают пути, на которые выталкивает

страшный опыт перенесенного, наши пути, уже полвека указанные Пророком нашим, — русская женщина, наша мать, жена, сестра, дочь, может быть первой будет готова принять подвиг обновления человека. Это будет святая Слава России — Великой Женщины.

Март 1924 г.

БОЛЬШОЙ БЕЗ КОЗЫРЕЙ

Удивительная была игра...

Играли в Праге, — не в московской, а в настоящей. Игроки... Но столько теперь игроков на свете, столько любителей сыграть по крупной, не имея гроша, что и запомнить трудно. Впрочем, одно имя довольно знаменито, и оно-то и заставляет присмотреться к игре любителей.

Так вот, играли. Играли по крупной с большим азартом, а кончилось пустяками, ибо играли-то «на мелок». Известно, что чем у игрока меньше денег, тем азартнее он играет. Терять-то нечего! Играли как бы на проходном дворе, — собственный-то домик проиграли! — и картишки были самые что ни на есть потрепанные...

Ах, где теперь удалые-бывалые игроки, что ставили настоящими золотыми и так лихо позванивали дешевым выигрышем?! Где они все — Чхеидзе, Церетелли, Рамишвили, Жордании, Винниченки, Петлюры, Черновы, Керенские, Мартовы, Скобелевы, Даны?! Где эти стада славных, одни из коих так самозабвенно-щедро выпрастывали и собственный, и чужой карман и со слезами упрашивали партнеров:

— Родные, забирайте! Душеньку бы отвести только!..

А другие хлестали двойками королей и приговаривали в азарте:

— Хоть и не козырная двойка, а туза бьет!

Выхлестались и сплыли. И пришли игроки иные,

крикнули — руки вверх! — и забрали игроков и ставку.

И все же — игра не кончилась. Народились неведомые Качухашвили, Сакианы Аилло, Ахмеды Цаликовы и проч., и проч., — и принялись козырять.

Воистину, жизнь мельчает.

И не стоило бы, пожалуй, и внимания-то обращать на какую-то там игру «на мелок» и, так сказать, на пути, в вагоне, если бы только Цаликовы и Сакианы. Но игру предложил человек серьезный . . . и — серьезно.

Это-то и заставляет присмотреться.

Я не игрок. Я даже . . . — как бы сказать? . . — даже был сам разыгран и проигран, как и многие миллионы соотечественников вместе с родовым-кровным нашим, и потому, полагаю, имею право — хотя бы некоторое — поговорить об игре, хотя иные специалисты и пытаются вывешивать при игорном доме вывесочку — «посторонним воспрещается». Но когда видишь, что игра хоть и понарошку, и не игра даже, а как бы репетиция, а након ставят опять-таки родовое-кровное, и опять ты в ставку можешь попасть, когда заиграют на наличные, — хочется крикнуть:

— Да позвольте же, господа! . .

Но обратимся к игре.

Объявил игру профессор Милюков. Он — человек серьезный, ученый, сдал карты отчетливо и, признав партнеров достойными, объявил:

— Большой без козырей!

Козырей, правда, у него не было.

Винт, как известно, игра глубокомысленная и тонкая, — отнюдь не азартная, — и требует великой осторожности. Винт — игра самая, так сказать, благородно-демократическая . . . Как вспомнишь . . . — Господи! — весь-то третий элемент и все-то либералы играли в винт, и все статистики земские, и даже акушерки, и

фельдшера, не говоря уж о профессорах! Ибо в винте было... как бы сказать... что-то такое подмывающее... когда самая последняя двойка... Ну, игроки превосходно знают. Там коронка от двойки, например, куда приятнее, коронки на королях! На то он и винт, чтобы... винтом-то эдаким... ффы!!..

Повел Милюков игру с достоинством. И будь у него партнеры цивилизованные, быть может и договорились бы до шлема... ну, показали бы, например, хоть какого-нибудь завалящего червонного валета или там хотя бы «фальшивые хлопоты» хлапа виневого, как говорится; ну, ловко намекнули бы на «передачу», умело бы застраховали от неожиданностей... Но... партнеры заявили откровенно, что винтить не умеют, а уж коли на то пошло, так и сами непрочь хотя бы на пиках объявить, и хоть на руках у них чистый хлюст, но за себя постоять могут. А Ахмед Цаликов решительно заявил, что может играть самостоятельно, и пусть у него только двойка, а ее он и на чужой шлем не променяет!

И все-таки шлем игрался, и объявитель остался без... тринадцати!

Случай — никогда не случавшийся. Разве только в рассказе Леонида Андреева.

Впрочем... винта никакого и не было, а все партнеры сразу закозыряли (хоть и без козырей!) и так игру спутали, что со стороны казалось: не то они в свои козыри, не то — в дурачки играют.

Как ни пытался объявитель шлема доказывать, что без козырей нельзя в свои козыри играть, и что винт — игра благородная и демократическая, контр партнеры подваливали пятками и еще кулаком пристукивали:

— Своих учи!

Наговорили неприятностей (не по адресу объявителя), вспоминали, как их прабабушки хорошо в пьяницы играли, и объявляли, что теперь и сами они хотят играть, как равные, и сами объявят шлемы не хуже безкозырного, и будут играть в собственном своем доме — вот тогда и пожалуйте! — и хотя бы с самими англичанами. А Ахмед Цаликов даже на скалу свою приглашал играть, под семизвездный флаг, развевающийся над саклей.

Но оставим эту веселую и печальную игру. О ней и говорить бы не стоило, если бы через нее не проглядывало кое-что очень знаменательное.

Первое, — это нужно отметить, — в пражском выступлении Милюков как бы вскрыл будущие возможности.

Трезвый политик, он говорил с достоинством и показал, что родное-кровное и для него вовсе не звук пустой — о, да будет! — и что он не только историк и политик, который не может отказаться от прав, родине его историей данных, но и человек русской крови, и будет твердо держаться за величавую целину России, политую русской кровью. И хоть и давал он слишком узкий и суховатый объем живому понятию н а ц и о н а л ь н о г о, (к уяснению этого понятия, н а ш е г о, мы вернемся), он все же оказался и национальным политиком и, русским человеком. Это, конечно, знаменательно.

Одно бы я сделал замечание.

Не преждевременно ли сговариваться и обещать? От чьего имени? Не слишком ли много на себя взято, когда обещаешь без хозяина? Не презрение ли это — к хозяину-народу? Без козырей в руках играть нельзя козырной, а объявлять безкозырный, когда и онеров не имеется... Да и партнеры... Нельзя же играть с гос-

подами, которые не умеют даже держать карты — не говоря уже о козырях — и если и подваливали они пятками, то и то только по смутным воспоминаниям, что когда-то у их бабушек были карты (гадальные?), и поигрывали бабушки иногда в пьяницы и проигрывались в пух и прах. Это смешно — и только.

Но самое-то важное — другое.

В этой смешной игре не было главного игрока. он где-то там, но он имеет беспорное право знать, не за его ли счет опять ведется игра. Хоть и на мелок, правда, — но не за его ли счет?

Играть в винт, хоть и демократическая, говорят, игра — не все умеют, а многие и не любят: уж слишком сложна игра. У главного игрока, за счет которого пробовали играть, есть свои игры, и он — будет время — придет со своими картами. Он, например, хорошо умеет — и когда-то очень любил — поигрывать «в короли». Он знает правила сей игры, которую раньше игрывал, быть может, не совсем удачно.

В этой игре, как известно, играют роль не коронки и не онеры, а король, принц, солдат и мужик. И «король» никогда не довольствуется только своим почетом («король царствует, но не управляет!»): в русской игре «король» должен принимать близко к сердцу униженных и обиженных — мужика и солдата — и, борясь против принца, на место короля метящего, покровительствует «малым сим» и часто выводит мужика или даже того хуже в достоинство солдата, а солдата — в принцы. Бывает в этой игре, что король может и проиграться, и мужик, если того достоин, может выйти и в короли. И будет осыпан благоволением достойного. В этой игре мужик и солдат вместе с королем частенько сшибают принца. Эта игра почему-то

всегда была приятна русской душе, — игра братства и милости. Не *русский ли* демократизм это?

Соберутся, бывало, за широким столом на кухне. Выйдет кучер Михайла в короли, хлопнет мужика-дворника по спине:

— Не горюй, Сеня... я, гляди, тебя в принцы произведу!

И производил. Можете прочитать в истории.

Эта игра веселая и начистоту. Игра — в открытую. Это игра удачи, терпения и сметки. Сильный король думает не о принце-враге, а подыскивает себе друга-советника в мужике и солдате. Вот эту-то игру, быть может, и вспомнит главный, отсутствующий. Он-то и будет договариваться полноправно. Он предложит *свою* игру. Быть может и «на свои козыри» предложит, кто козыри на руках имеет. Но предложит тем только, кто может поставить ставку. Очень возможно, что игра будет и «по носам». Но это будет игра уж начистоту, на силу и уменье — и на счастье! Придет время — и в винт обучится, и уж коли объявит большой без козырей, так с партнером надежным и настоящим, который не будет на бабушек ссылаться, а — или поддержит или скажет пас.

И будет эта игра — в открытую.

10 мая 1924 г.

ГЛАЗА ОТКРЫВАЮТСЯ

Приехал из деревни Макарка в город, — брат его там служил в трактире. Дает ему брат икры: «маж, вот!..» Понюхал Макарка — и давай мазать сапоги. А тот бутенброды ест. Макарка рот разинул, а брат смеется: — «Во, штука-то замечательная! тебе сапоги марает, а у меня на сердце играет!»

Читаешь о рабочем правительстве в Англии, — и вспоминается наша «смазка». Да, от победы английской рабочей партии не произошло разгрома.

«Пусть-ка Черчилль попробует обвинить... хотя бы самых крайних английских социалистов в том, что их власть — власть тьмы, где с народным учителем обращаются, как с вьючным скотом, а «высококвалифицированному» профессору предпочитают даже не балерину, а дрессированного пуделя. Пусть!» («Дни», 25 апреля).

Но почему же нельзя Черчиллю попробовать — обвинить? А потому, что англичане толк в и к р е понимают: едят, а не размазывают. Они не крикнут: народы Великой Британии, отделяйтесь! И национального гимна петь не перестанут, и флага своего не растопчут, льва и единорога — не сорвут. Ибо они — англичане, и никогда не будут рабами, хотя бы во имя человечества! Знают они, что и они — человечество. Социалисты, а все-таки — англичане!

«Знаем, — продолжает статья, — социализм здесь (в российской «тьме») не при чем... Но... от прошло-

го в памяти у каждого осталось ядовитое воспоминание о соблазнительной близости Лениных и Зиновьевых к подлинному освободительному движению рабочих масс. Этот соблазн прошлого требует в настоящем от всех социалистов ... совершенной ясности и точности их противобольшевистских позиций».

Статья знаменательная. Спрашивают еще взволновано: где Россия? В статье Е. Кусковой — «Где Россия?» — слышится сожаление и ... укор. Он затушеван, но он звучит. Но еще ясней слышится боль — в статье — «600» («Дни», 24 апр.). Тут горечь неприукрытая. Горечь ... «потому, что еще раз убеждаемся, (из речи Макдональда), как духовно и душевно далеко отошли от России даже лучшие, наиболее человечные и свободные от национального эгоизма, представители Запада». Социалист Макдональд признал Политбюро законной властью России «...только потому, что это признание, по его мнению, будет содействовать национально-экономическим интересам Англии...» ...Мы не отрицаем национально-государственных мотивов, вполне, быть может, оправдывающих политику Макдональда с английской точки зрения. И мы не можем требовать, чтобы англичанин, хотя бы и социалист, защищал интересы русского народа лучше, чем он сам это умеет сделать. Но ... глубокое безразличие английского народа к Голгофе русской; безразличие, з а с т а в л я ю щ е е Макдональда п у б л и ч н о сомкнуть уста перед всем ужасом русского террора, наполняет наши сердца великою печалью». («Дни», 24 апреля).

Знаменательные слова. Воистину, глаза начинают открываться. Верно: н е м о ж е м требовать ... ибо любить с в о й народ, болеть о с в о е м народе, пока борьба не ушла из мира, — естественное чувство. Это только наши социалисты-идеалисты горели прекрас-

ными чувствами к *человечеству* и шли безотказно на самоопределение племен России, как бы, экономически и политически, ни било это по русскому народу, как бы ни заколачивало его в гроб.

Да не обвинят меня в разжигании разногласий: я отрезвление подчеркнуть хочу и горячо приветствую эти побеги-прутики, которые могут пойти на «веник». Мне понятна горечь статьи «600» (крестьян расстрелянных на Амуре). Но *какую же* операцию должна была произвести жизнь над сердцем и глазами, чтобы затрепетало от боли сердце, и глаза увидели самое дорогое — растерзанным!

«Но больнее макдональдова молчания нам слова Вандервельде» . . . — который обещает признать советскую власть правительством России и одновременно — независимость Грузии! Грузию признает, а вот Россию — не желает. Крестьяне и рабочие не признают, восстают, их расстреливают, а Вандервельде — признает. Социалист, а как до России — *свою* признает свободу!

Да что же все это значит? Статья открывает глаза и нам.

«Впрочем, если голос амурского или тамбовского крестьянина не доходит до слуха европейского рабочего так явственно, как тому надлежало бы быть, то в этом вина тех, кто взял на себя обязанность и тяжкий долг *официально* защищать интересы российских рабочих и крестьян перед рабочим и социалистическим общественным мнением Европы. Их голоса не слышно там, *где* нужно, и так, *как* нужно».

Не доходит до слуха?! До вандервельдова-то уха не доходит?! Не может быть. В одно ухо входит, а в другое выходит, — да! И «мнение»-то у Вандервельде в руках. Так — почему же? Просто: так Вандервельде

— выгодно. Как и всем. В целях ли «опыта», в видах ли национально-экономических.

Я вчитываюсь в чувства — и вижу, как зарождается в космополитических русских рядах — национальное. Поздно, правда, но лучше поздно, чем никогда. И мы выучиваемся понимать «икру». А если и тут не научимся, научит нас сам народ, которому и на «смазку» не предлагают. Когда западные социалисты так легкодушно бьют в обе щеки крестьян и рабочих русских, — оставим интеллигенцию и буржуазию, — не признавая русского и признавая грузинское; когда на глазах живьем закапывают народ («600»), русские социалисты начинают говорить с достоинством, с чувством ответственности перед единственным, без чего быть нельзя, перед кровным, национальным!

Но почему же — грузинское признают, а русское ни во что не ставят на Западе?! Причин много: тут и корысть, и привычка считать Россию — общечеловеческим матерьяльцем. Тут и — психофизиология. «Протоненные», объезженные пути бывают не на русских дорогах только, когда сани сами сворачивают в ухаб: бывают и на европейских путях — привычные чувства и автоматические мысли. Наше космополитическое служение, наши безнациональные повадки, наши удивительные дела-слова, подвалы слов, насоривших порядком и в Европе, — сумели проложить в мозгах Запада «проторенные пути». Там отлагалось: им (нам) ненужна Россия; они кричали — «без аннексий и контрибуций!» «самоопределение народностей!» «приходите и володейте!»; пришли немцы — не бились, все всем пораздавали, со всеми лобызались; они — бессеребрянники, бесправники, бесгосударственники, на конгрессах, удавленные, они хрипели — «форпосты завоеваний пролетариата . . .» И по-

том — о н и имеют таких о ф и ц и а л ь н ы х представителей, что «их голоса не слышно там, г д е нужно и так к а к нужно»!

На Западе хорошо известны спустярукавство, рознь при однофронтовьи, конец Колчака, «корниловское дело», когда сама судьба протягивала России руку человека казацкой крови, русского демократа, хотя бы даже — диктатора! Начетчикам идеологий куда важней «ортодоксия», чем сам народ.

Кажется, можно было бы убедиться, что «форма» недорога народу. Не пошел народ защищать республику. Ему, младенцу, важно было схватить, пусть — чужое. Он подрастал, но его сбили с роста, подшибли ноги, отшибли память и отемнили душу. И хоть теперь открываются глаза, и сердце томится болью, — все еще взглядывают на небо. Все еще держатся за «формы». Отсюда — нетерпимость, язвительные статьи, слова... Не затрудняются ставить на одну доску с... «кремлем» — писателей, говорящих сердцем и опытом духовным. Пишут о «крепкой спайке взаимного притяжения», о «порядке, который обеспечивал бы центростремительные, а не центробежные навыки населения»... Да, нужна «спайка». Но нужно сознать себя, прежде всего, не социалистами, республиканцами или монархистами, а — р у с с к и м и!

Когда я говорил о «Душе Родины» и о «Путях мертвых и живых», я исходил не из политики и честолюбия: я шел от чуемой мною души народной. Народ я з н а ю. Дух слова-мысли его я знаю. Думы его я з н а ю. Революции я не делал, но я не порвал с народом. Как и большинство, я много перестрадал. Я ездил в далекую Сибирь за политическими каторжанами, и видел многое, — и понял, что именно т а к и м и представлял я себе народ. Мне приходилось и говорить перед

толпами, и с первых же дней я знал, что будет страшное: знал я народ, знал и деятелей, какими они будут. Отношение народа к большевизму мною давно показано: Е. Кускова, быть может, вспомнит и мою сказочку — «Панкрат и Мутный», — в ее газете, декабрь 17 года. Ей же я говорил в редакции: «Идет ужас... но на мужика нарежутся!» Она, как будто, и соглашалась... Нарезались, но не вплотную. Нарезались бы вплотную, если бы не «спутанность идеологий» у очень многих. Вплотную — впереди будет, и — неизбежно. Глаза открываются — у всех.

И вот, вглядываясь в народ отсюда, я говорю: не «формы нужны народу! В народе, как бы он ни был дик, здоровое есть зерно, есть в нем — национальное, чувство спайки — и на своем, — есть и есть! Он хочет — и будет жить. Не «форма» ему нужна, а жизнь. «Форма» по жизни будет. И о «цепях рабства» надо перестать. Кто всерьез верит, будто в годы перед войной все еще позванивали «цепи рабства»?! Позванивали они, по памяти, — и для разжигу — в речах и «гимнах». Эти «цепи» внушались, да. Повторял их народ — с усмешкой, как «пот и кровь». Это была уже бутафория. Одни повторяли ее, как «знамя», другие — пускали, как «подливку». Мы знаем по точным цифрам, что народ богател, учился, торговал, прибирал к рукам землю, производил с возрастающей быстротой, и рос. И все-таки — «цепи рабства»! Народ жил, и — по-своему — счастливо. Это Европа прекрасно знала. И точила зубы. Теперь — грызет. Цепи рабства! Это же — «проторенная дорожка», пустое словоизвержение, доселе еще звучащее. Как и другое: слава Богу, с монархией навсегда покончено! Как покончено, — не задумываются над этим. И было ли нужно народу — покончить так?! Птичье гнездо разо-

рить, лучшей части народа, — жалко, а кончить бойней!.. И — навсегда! Слишком самоуверенно. Да, навсегда, если прикончили Россию. Но ей еще суждено быть, и будут формы, которые народ укажет. Но пусть народ, а не подсказчики за народ.

Да, необходима спайка. И если вы хотите народной воли, если душа болит, если ясно видно, как расправляются с Россией Макдональды, Вандервельды — прочие, если познали официальных представителей... — если вы с подлинной тоской вопрошаете: «где Россия?» — тогда путь открыт. Надо спаяться, надо понять друг друга, без укоров, без поминаний. Правда, пора и пора — забыть! Пора, наконец, поверить в родные чувства. Ведь у нас же ничего нет, если нет родины! Ведь за живой, за свой народ отвечаем!.. Много чистых и там, и там, разучившихся уважать и понимать друг друга. Надо новым стать совсем, найти истинное преображение. Там разберемся, если здесь найдемся. Мы должны найти общий язык и мысли, если понесем истинную, внепартийную, внеличную любовь к народу, к его духовным и бытовым навыкам, к его праву быть так, как он хочет. Воистину любящие народ должны, наконец, найти и общую дорогу.

1 июня 1924 г.
Париж.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Все еще он звучит, этот животворящий возглас — Христос Воскресе! В смутное наше время — как бы напоминает нам: не забывайте о Свете в хаосе дней!

Дни наши — черные. Народы на распутьи. Чувствуется тревога всюду — куда идем? Ждут перемен и потрясений. Падает сила права, бестыдство уже не прячется под маской. Узнали мы много-много; повидали, можно сказать, историю: цену международной нравственности знаем, «братство народов» знаем... — чего только мы не знаем! Глушат нас шумы. Слышим ли еще в ушах этот внешумный возглас — Христос Воскресе? Жив ли в нас тонкий духовный слух, различим ли внешумный возглас? Отзовемся ли на него — Воистину!?

Ваше дело — трудящихся христиан — ответ: Воистину Воскресе! Иначе не может быть, ибо мы — русские: вера в Христово Слово, в животворящий Свет, в вечную Правду Божию — в нас издревле, от светлой культуры нашей. Божье — самое основное в ней. Правда Божия — вот чудесный маяк, по которому, пусть сбиваясь, направляла свой путь Россия, хранила свое богатство, вечно живую Правду, Христово Слово, принесенное на брега Днепра неистовому и светлому народу. Этой Христовой Правдой питалась культура наша. Пусть мы теперь в чужом, но родное нетленно в нас.

От духовных стихов, народных, от пушкинского «Пророка» — ...«и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, Пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею

Моей! И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей!» — от гоголевских провидений судеб России, от некрасовского «Власа», богоборцев, провальников и голубиных душ Достоевского — до его каторжан из «Мертвого Дома», до судорожных исканий Правды Толстым, до мягких образов русских у Короленки, до баб немых у костра, вешней студеной ночью, у Чехова, и всюду, в чистой литературе нашей, все — действительно сильное и глубокое — пронизано лаской, светом, стоит на Христе — на Правде Божией. Это — цветы, набиравшие силу от корней родины. Так слагалось все лучшее, что жило в душе России. Или эти цветы померзли, перестали благоухать? В душу свою глядите — узнáете.

В великом сонме Святых, кого своими нарек народ, вы признáете дух единый, родной и нам; и в Сергие Радонежском, и в Тихоне Задонском, и в Серафиме Саровском, для кого немолчно звучал животворящий возглас — Христос Воскресе! А теперь — разве они чужие? Наши они — всегда, навечно. А если наши, не затеряется в шумах возглас — Христос Воскресе! Святые наши — хранители Идеала нашего, Правды Божией. Это искание Правды, неутолимое русское стремление строить жизнь с Богом и по-Божьи, взыскание Града-Божия, Китеж-Града, сокрывшегося от Зла, — разве пропало в нас? Не вы ли его искатели, этого Града-Божия, потерявшие «град родимый», ныне трудящиеся во имя Града? Самое бытие ваше здесь, на пути христианском, не продолжение ли пути заветного? И не вам ли звучит так ярко этот бесшумный возглас — Христос Воскресе?! Не с ним ли идете в мир? Не с ним ли работаете в шахтах, на фабриках, на полях, на виноградниках, на дорогах, свидетельствуя о Вечном Свете? Им освещайте жизнь, Им заглушайте шумы, Им

пробуждайте *человека*, созданного по образу Господню. Это высокий подвиг, выпавший нам на долю, принятый нами Крест и благословение, иго и бремя. И не забудем сего: «иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть».

Скажут: легко сказать... а вот, нести это иго и это бремя в таких условиях! Да, не легко. Это — голгофа наша, маленькая голгофа, но — голгофа. И все мы ее несем, за редчайшими исключениями «непомнящих». Так сложилась судьба России. Не можем мы отказаться от бремени и ига, на нас возложенных. Кем? Всем прошлым — праведными путями и грехами, исканьями и порывами прошлых лет. И — Злом, которое зрело в нас, и которое... отрезвляет души. Мы теперь его видим все. Видим — и познаем. И теперь еще ярче Свет, никогда в нас не погасавший, ныне нас оживляющий неумирающим возгласом — «Христос Воскресе!»

Все мы слышим его, Его: «Да отвержется себе и возьмет Крест свой и по Мне грядет!» Не к смерти, — к жизни. К обновлению Правдой Божией. Это ли не высокий подвиг? Это ли — умирание! Воистину — это воскресение во Христе. Тяжкий камень лежит на жизни — на мировой жизни, не только на русской жизни. Работникам во Христе дается от Бога сила — отвалить этот камень от гроба — и жизнь воскреснет. Жизнь по Правде, по-Божьи, та жизнь, о какой искони мечтала душа народная, о какой и мы все тоскуем. И если мы все проникнемся нашим извечным долгом, которому вольно или невольно изменили отцы и мы, если мы будем будить друг в друге неутолимую жажду Христовой Правды, вести ее в жизнь неутолимо, — придет неведомый срок, когда победительно воспоют изведенные из земного ада:

«Пасха нетления — мира спасение!»

ДИКОЕ ПОЛЕ

(Колонизаторам России)

Совсем недавно мир с тревогой смотрел на возрастание русской силы. Рост просвещения, городов, промышленности. Высококультурные хозяйства, — хотя бы знаменитая полтавская «Карловка». Десятки образцовых экономий, откуда истекали на округу — отборные семена, приемы обработки, племенной скот, заработки. Склады орудий, железа, удобрений; агрономы, опытные поля, ссыпные пункты, мелиоративный кредит, школы, сельскохозяйственные общества, журналы... — все ширилось. По иным земствам завершался план всеобщего обучения. Колонии получали культуру. Глубже вскрывались недра. Исследование окраин дарило сокровищами бездонными...

Что произошло — мы знаем. За семь лет Россия обращена в дикое поле, в колонию для проходящих, на все вкусы, — от хищников до «благотворителей». Русский народ, тысячами глоток призывавшийся к братству без аннексий и контрибуций, еще не сознавший в себе национально-здоровое, втаскивается в ярмо с клеймами всех народов. Русские недра ныне доступны всем, у кого деньги и дерзость — шарить.

Концессии... Признающие рабовладельцев России мечтают о барышах. Это — белые нитки во всех переговорах. Ими хотят опутать русский народ, и этому делу помогают даже идеалисты. Благородные речи отзвучали. В соперничестве и спешке говорят прямо: вы-

годно! Нефть, хлеб, лес, сырье... — надо спешить, пока вход свободен: случится может, что скоро замки повесят! И все спешат. Колонизаторы приглядываются и входят...

Одним из первых, зоркий к пустынным далям, привычный к риску, пытавшийся водрузить свой флаг на полюсе, — Нансен. Пытливым глазом он усмотрел чудесно открывшееся — Дикое Поле, доселе неведомое географам. В голодный год он совершил экскурсию, присмотрелся и заарендовал, пока что, два изрядных, когда-то культурных имения: «Аркадию», под Саратовом, и другое — у Екатеринослава.

Он получил землю русских людей, быть может убитых его же контрагентами. Исследователь стран пустынных, когда-то восхищавший нас описаниями «вечной ночи», открыл выморочное русское добро, политое русской кровью. Путешественник и на сей раз мог бы прикрыться благородством: он является пионером, несет культуру дикому краю, научит дикарей земледелию, наконец — даст заработать населению, погибающему от голода. Эти концессии он получил не за громкое только имя, он не раз выражал громкое восхищение творцам «великого опыта», — и не ошибся целью. Без «опыта» вряд ли бы он открыл Дикое Поле и мог получить концессии. Без «опыта» население не нуждалось бы ни в его обучении, ни в его заботах: агрономы, школы, имения — учили и показывали наглядно; поля призывали золотом. Русские агрономы, техники и рабочие всегда находили приложение своим силам.

Теперь послушаем шведского инженера Седергрена, управляющего концессиями, что получил Нансен: это так поучительно. («Руль», № 1131, 23 августа с. г.).

Он получил право работать своими машинами и орудиями — шведскими. Он получил привиллегию

ввозить их в Россию для концессий — беспошлинно. Его агрономы и монтеры, в числе пятидесяти, — шведы. Он слишком национален! Не из любви к голодному русскому народу взял он концессии. Русские агрономы и техники, умирающие с голоду на своей земле, ему не нужны. Впрочем, они могут пойти к нему — рабочими. От щедрых раздатчиков чужого предупредительно даны были Нансену семена в нужном количестве и исключительное право — полная свобода в эксплуатации всех угодий, в найме рабочих и проч. Он пользуется благоприятнейшими для плантатора условиями, когда русский рабочий доведен до отчаяния, когда свыше миллиона безработных, и рабочие руки можно иметь за плату во много раз меньшую, чем в Швеции, чем в былые года в тех же имениях. Великий путешественник и член европейских Лиг является в новой роли: плантатора, с русскими рабами.

Явление знаменательное для оценки хищнических устремлений на Россию. Уж если Нансен так поступает, почтенный и благородный Нансен, кому вручена была высокая миссия, — опекать эмиграцию, — чего же спрашивать с тех, у кого и на лбу выжжено: иду выгребать остатки:

— «России никакой нет, а есть — Дикое Поле!»

Знаменательно и для нас, бедных чувством национального.

Нансен — националист; не забывает своего, шведского, и горд, что он, швед, учит Дикое Поле и... помогает.

Но... он не совсем доволен. И беспошлинно, и свобода, и семена получил, и на насиженное место сел, хоть, конечно, и порастрепанное, но окультуренное, не в степь Мургабскую... — и убыточно! Правда, это его управляющий говорит — убыточно. Но какой же арен-

датор станет торжествовать? А вдруг, после срока-то, и набавят, передадут другому?! Да и неудобно слишком торжествовать удачной эксплуатацией добра, оставшегося после ограбленного, выгнанного и, быть может, даже убитого русского человека. Неприлично все же...

Убыточно?.. Но почему же, даже при таких разлюли-малинных условиях, — убыточно?!..

Ответ имеется. И ответ знаменательный.

«Принудительно-низкие цены на зерно».

Было бы куда приятней по высоким ценам расторговаться, взять с чужого имения побольше. Кстати... какое бы словечко нашел в своем шведском словаре почтенный Нансен, если бы, скажем, выгнали его из его шведской мызы, наплевали бы на письменный стол в его кабинете, где писал он про свои подвиги, где северная сова на книжном шкафу посажена, а белый медведь в ногах валяется, — и вдруг такой же почтенный, хотя бы Амундсен, или друг человечества Макдональд взяли бы да и прикатили со своими машинами беспошлинными стали бы на его шведах и шведках ездить и еще жаловаться: ма-ло!?

«Слишком много у русских рабочих — гулевых дней!»

Нансен из Швеции своей видит: ленивые русские рабы, все гуляют! И грустно сердцу плантатора.

«Полнейшая дезорганизованность русских рабочих, склонных то и дело митинговать!»

Нансен хороший организатор, и вполне понятно, что «дезорганизованность» его режет. Да досадно. Пришел человек на чужую землю, привел своих инженеров и управителей, получил рабочую русскую скотинку... — а она в вопросах там разбирается: почему — Нансен, да почему шведы-немцы, да почему семена ему

выдают и машины без пошлины, а мы и за сахарок, и за спички, и за петухов даже налог платим? а как же сказывали — что вся земля — народу, а тут какому-то путешественнику какие именья дадены!? своих господ повыгнали — перебили, а пришел хлюст какой-то и недоволен, что Десятую Пятницу гуляем!?..

Надо думать, что происходит «итальянская» забастовка. Шевелиться начинают мозги, и кричит рождающееся в ущемленности чувство национальное:

— «Проданы-то за что!? Труд наш пойдет какому-то Нансену и шведам, которых русский царь Петр разбил, неподалеку, под Полтавой, которых недавно не было и слышно, а теперь покрикивают: «ходи веселей!»

И вспоминается сладкий сон, — как здесь было, когда в школах учили, в больницах лечили, зарабатывали в уборку по три да по пяти в день на золото, когда ситец стоил пятиалтынный, фунт колбасы гривенник, бутылка водки три гривенника да еще ка-кой!..

«Крестьяне, разоренные большевизмом, без лошадей и орудий, с завистью и ненавистью глядят на привезенные Нансеном беспошлинные машины, а представители сельской власти и прочие, пользуясь этим чувством разжигают ненависть к иностранцам... якобы грабящим русский народ».

Нежданно и неприятно это для Нансена. Он ждал, очевидно, совсем другого: признательности, покорности и... дохода? В пустынях Севера он привык иметь дело с покорными самоедами, с преданными собаками, которых питал рыбкой. Хоть и Дикое Поле, а до собачьей покорности еще не дошел народ. Что-то сильно поранено и болит в народе... И уж наверное открывается истина: иностранцы грабят, при пособничестве своих грабителей!

Из «экспедиции Нансена» вытекают важные следствия — и для нас и для «колонизаторов». Одно — несомненно положительное: в народе начинает пробуждаться национальное чувство, хоть и в грубо-элементарной форме, — но таков предметный, жестоко-грубый урок: грабеж н а ш е г о, русского достояния и эксплуатация русской силы, преданной на бесправие. Другое — жуткое: разжигание племенной вражды. Пружина будет натягиваться. Колонизация намечается, ширится — ненависть разливается, густеет. Сеется страшное, что придется пожать другим, вовсе, возможно, и неповинным. Но пусть не винят народ, если настанет страшное — суд народный. Идет по Дикому Полю молвь: вымаривают, продают чужим. Глаза открываются все шире, и с чувством оскорбленности за с в о е, р о д н о е, по крови близкое, нарастает ненависть и пожар. Места вымерших деревень и сел, всюду, где вымел голод; места, где чужаки выжимали поткровь, — целы, и память о них жива: и горе тем чужакам, кого захватит в этих местах пожаром — все выжжет. Дикое Поле начинает просыпаться.

Август 1924 г.
Ланды.

РУССКОЕ ДЕЛО

I

Россия будет строиться и собираться. Великой стране долго оставаться втуне невозможно: обвалом лежит она на большой дороге — и мешает, и всем нужна; и еще больше нужна — себе.

Страна из году в год не в силах пропитать население: можно ли говорить о значении ее в мировом круге! «Шестая часть света», «без нее мировой кризис изжит не будет» и прочее — лишь опошленные словечки. Население вымирает и всячески в ы б ы в а е т — да, Россия — «дикое поле», и многим зудится чужими конями на нем пахать — верно: рвачи еще выпарывают, что можно; но близок срок, когда выхватывать станет нечего, все пожравшая саранча скинется, и на опустошенное поле, к одичавшим насильникам его придут разметанные теперь по свету, претерпевшие, повидавшие и многому научившиеся братья. Им-то, не забитым в отказ, не потерявшим воли и цели жизни, выпадает на долю ответственная задача: поднять русское поле, и открыть затуманенные глаза живущим.

К этому надо готовиться, верою в это — жить.

Пока есть время, надо разобраться в планах всяческого строительства. Это должное дело многих специалистов: государственников, хозяйственников, военных, педагогов, философов, ученых. Готовы ли?! Ни государства, ни хозяйства, — никакой культуры: случай-

ность существования, развал, XIV век, послетатарщина. Нужно остановить вымирание, наметить просеки всяческого строительства, — и помнить, что делать это придется самыми несложными инструментами.

Можно ли думать о каком-либо социальном переустройстве?! Классы стерты и перетерты, население — пыль людская. Нечего социально переставлять: все перебудоражено, все — в куче: голые люди отыскивают себе питание! Что делать в поле — социалистам! труд, излишки, орудия производства, прибавочная стоимость, земельная рента ... — ничего нет. Земля — перекати-поле носится, могилы, ямы ... Какие партии нужны XIV веку! Их — полнокровная жизнь рождает. В России они проявили себя случайно, дико и поглотили даже самих себя. Социальные перестройки имеют смысл, когда строение социальное необходимо нуждается в плодотворном и чутком усовершенствовании частей, и ... когда умеют за это взяться. А теперь — и строения никакого нет, а так, кочевье. И совершенно ясно, что социалистическим партиям на задичавшем поле не предстоит работы: придется им распылиться, отдаться будничному строительству; или, если они вмешаются в бесплановую жизнь пробуждающегося поля, — быть стертыми в мятежах. Надо это честно сознать и — отойти до времени. Их песня, начатая несрочно и неладно, дико дотянута коммунистами.

Русское поле придется долго чистить и прибирать. Только группы строители могут получить место-дело на русском поле. Партии политические, основа и цель которых, — приобщение народа к государственно-политическому участию, понадобятся позднее, когда оглядевшийся народ, заручившись планомерным трудом и хлебом, проявит охоту-волю к более сложной жизни, чего, в условиях разгромленности до кор-

ня, случится никак не может. Знакомые с проявлениями изнуренного организма, это полностью подтвердят: в первом ряду — растительно-восстанавливающие процессы. Представителям политических партий грешно обманываться: надо быть особенно чуткими в период опустошенности народной жизни, когда побитый в корень народ меньше всего способен к государственному строительству, и не навязывать народу своих хотений.

России придется крохоборствовать, жаться, оберегать каждый грош и каждый гвоздь скаредно забивать в необходимое место стройки. Придется довольствоваться простейшим орудием управления. По первым месяцам революции мы знаем, во что обходится политическая горячка, проекты всяческих обновлений, комиссий и комиссий, агенты и ревизоры, съезды, съезды и съезды, с конгрессами в перспективе. Нищей стране не по карману пышно-говорливое представительство, бешеная энергия впустую «целителей» народных, с перспективами штатов и окладов. Великое кумовство, рухнувшее на кошель российский с первого дня Великой, послужит строгим уроком стране нищих. Нужны будут немногословные, умеющие жить коркой, вынесшие уроки жизни, с чистым сердцем и крепкими руками делателей, живущие одной думой: поднять, а не добивать Россию. Такие должны найтись: и там, и еще больше — здесь. Там люди творческой силы выбиты, обеспложены, разбиты, подавлены до неверия. Здесь — за родину отдававшие себя, сохранившие волю и идеалы, познавшие опытом ценную суть и обманчивую форму культуры, должны готовить себя на высокую и трудную работу.

России будут необходимы созидатели практики, ру-

ководители самоотверженные. Не дорогое государственное управление европейского образца, с громоздким и медлительным аппаратом всенародного правительства, с капризными отставками кабинетов, — продукт налаженно-нетревожной жизни, — а широкая сеть местных самоуправлений из местных людей-строителей, объединенных центральным, сурово-первичным планом.

Этот *первичный* план должен быть заблаговременно разработан знатоками.

II

Какая же группа-сила имеет законнейшее право на бытие?

Только та, которая окажется способной положить в основу своей работы первично-необходимое, чутко учитывая возможности и жизненные потребности народа. И потому — лишь кровно любящая народ, знающая его бытие и душу, — национально-хозяйственная. Только такой силе-группе может быть дорого не проведение во что бы то ни стало теоретически-справедливых принципов политической науки, верность основам *своего* миропонимания, а воздвижение страны из мертвых, хотя бы и с нарушением законов идеальной *правды*, — как по нужде спасают. Та созидающая группа-сила, куда пойдут, без различия привиллегий, все национально-мыслящие и кровно любящие, крепко взятые святой волей — ставить *свою* Россию. Партия национального склада и практического закала.

Оголодавший, нищий народ, живущий на семи ветрах, не в силах заинтересованно-вдумчиво осущест-

влять дело народоправства: ему впору чиниться, добывать кусок хлеба, осмотреться. И как ни трудно будет это иным, верующим в целебную силу народоправства, — им придется на опыте убедиться, как народ, отброшенный к XIV веку, займется первичной кладкой на пепелище, передав «государственное» немногим, в е р н ы м, — возможно, что и с н а к а з о м. Затейливая резьба будет потом навешена, когда подведут под крышу.

Строить будут «под кнутьями». Неприятное это слово. Не под ременными кнутьями рабьего застенка, не под ядовито-острыми кнутьями соблазна, какими недавно гнали народ под веселую музыку к могиле, а под кнутьями жестокой необходимости. И счастлив будет народ, если не станут ему мешать: раны зарастут скоро.

Национально-хозяйственная — не политическая разных красок! — группа-сила должна вобрать в себя все национально-здоровое, творческое, что уцелело еще в стране, и заблаговременно учесть все, что можно знать теперь о положении народа. Должна быть создана основа, должно быть положено б р о д и л о, которое оживит массы волей любить родное, строить его и хранить. А форма государственного н а к р ы т и я... Но — накрывать-то н е ч е г о!.. Накрытие будет соответствовать наличной сути: во все времена, у всех народов, когда страну накрывает гибель, верховная власть дается крепкой руке, а рождает ее и питает силой жизненное чутье народа. Так и будет. Но, что загадывать?!..

Дело русских людей, верующих в неизбежность великой стройки, — найтись теперь же, наметить первичный план, чтобы не метаться, когда застигнет время. Должно быть сбито я д р о, национально чувству-

ющее и мыслящее едино, — вне разлагающих и дразнящих политических устремлений. В нем должно быть равное место представителям всех племен, которые готовы с Россией строить, судьбы свои связать. В него должны войти, подав крепко друг другу руки, представители былых партий, честно сознав, что время теперь иное, дела иные, что первое дело — родина и народ, что надо собрать остатки и ставить на ноги. Надо отказаться от иллюзий и красивых планов и идти в черную работу.

Вопрос стоит жутко-просто: страна вымирает, страна отброшена к XIV веку. Надо ее подымать, кормить, одевать и — показать дорогу, по которой она шла когда-то, по которой идут народы.

Сентябрь 1924 г.

БОЛЕЗНЬ ЛИ?!

(О «неудавшемся» поколении)

С большим интересом и волнением прочел я статью — исповедь Александра Туринцева, напечатанную «Днями» (5 сентября, № 556), «в качестве материала, характеризующего одно из современных настроений». Статья остро ставит вопрос об «отцах и детях» и, очевидно, попала в цель: и напечатавшая ее газета, и передовая статья парижской сейчас же отозвались и поставили диагнозы: 1 — «опустошенные души» и 2 — «реализм издерганных нервов». Согласное заключение — болезнь. Один из диагнозов («Дни») установил и причину «болезни»: «мечом войны и... *огнем революции* (курсив мой) создается, воистину, неудавшееся поколение — поколение опустошенных душ!»

Знаменательное признание одного из «завоеваний» революции!

Другой ограничивается — любимое словечко! — «нервами»:

...«это вообще результат потрепанных нервов, не успевших придти в порядок. Чем скорее произойдет выздоровление, тем лучше».

А если не произойдет?! Если и болезни-то никакой нет, а просто — ради приятности выдумана она имеющими склонность к уврачеванию?! Мне представляется, что исповеданное А. Туринцевым, представителем нового поколения, есть результат войны и «огня революции», как следствия «насильственно подогнанной

под «идеи жизни», — собственные слова «больного и опустошенного», и он совсем не нуждается в диагнозах, а напротив: к кому-то вчиняет иск. Тон статьи его очень решительный и по-военному, сжатый, и содержание — отказ от былых руководителей; а представители этих руководителей, вместо ответа по существу, перевели разговор на медицину!

Я не возьму на себя смелости отмахиваться от фактов и неприятного для иного глаза проявления «болезни»: я люблю подлинники жизни и потому позволю себе в этом человеческом документе посильно разобраться, любовно понять истцов, и задуматься над явлением огромной важности, ибо в нем видится зарождение нового. Речь идет о коренных переоценках идолов и идеалов, о том новом мероприятии, на основах которого, возможно, будет отныне строиться не только наша, русская, жизнь, но, если переоценки будут распространяться шире, то и, вообще — жизнь человечества. А признаки сего уже и наблюдаются.

Но должен оговориться. Я буду пользоваться не формальной только стороной иска, тем, что в статье-исповеди выражено обще и намеком, а попытаюсь вскрыть и самую душу иска, доскажу недосказанное и приведу некоторые иллюстрации и комментарии, по содержанию статьи-исповеди видя, что вовсе не лекарей добивается истец, а слушателей и судей.

И оговорюсь еще: тема огромная, и не в статье газетной надо бы ее разбирать, но, пока что, делаю лишь попытку направить обсуждение на путь общественности с пути врачебно-санитарного.

Прежние поколения, ответчики, — «отцы», более культурные, чем истцы — «дети», создавали идеалы, поклонялись им и стремились провести их в жизнь. Против идеалов истец, в сущности, и не возражает: они

безвредны и даже интересны; но он бросает упрек в прекраснодушии, в самонадеянной и беспочвенной уверенности, что жизнь должна и способна эти идеалы принять, обвиняет в насильственном подгоне жизни под «идеи», за что и пришлось жестоко расплачиваться «детям», брошенным в «огонь революции», поставленным помимо их воли перед фактом опустошенности их жизни и — для многих миллионов — и перед «стенкой». Муки, выпавшие на долю молодому поколению, — вина «сентиментальных душ» и «маниловских сердец». «Отцы», смотревшие через розовые очки, не учли неподготовленности русской жизни к принятию идеалов, до сего дня в этих очках ходят и хотят оставаться руководителями, вместо подлинной жизни, видимой молодым глазом, подсовывая блестящую «витрину». Довольно очков и витрин. Новое поколение познало то, чего не снилось «мудрецам»! И теперь этим мудрецам не верит. Хочет искать — *само*. Да, новое поколение не культурники, а почвенники, и ничего обидного в такой кличке не видит, в розовое не облекается и не облекает. Они, *новые*, — трезвые реалисты, считаются с суровыми неумолимыми законами жизни и «какою мерою нам будут мерить, такой и мы отмерим щедро». «Не заботясь запятнать белоснежных риз, мы с насилием будем бороться не протестами, убеждениями, негодующими или добрыми словами, а кулаком или штыками... охраняя родину свою, не будем разглагольствовать о недопустимости смертной казни... ибо убедились, что за «гуманность» иногда самим приходится расплачиваться «стенкой».

Здесь нет отрицания идеалов; тут лишь трезвый учет внедрения идеалов. Не хотим быть головами и спинами, за счет которых «отцы» попробовали провести идеалы в жизнь, гладко рассчитав в кабинетах. Мы

будем руководствоваться «реальным соотношением сил», как привыкли на фронте. Братство людей? Познали. Самоопределение национальностей? Познали. Во имя трудового народа? Очень познали. Родина во прахе, народы самоопределились и наплевали на «самоопределителя» и ненавидят еще больше. Трудовой народ «любовью» доведен до невообразимого «счастья». «Счастье» досталось негодяям. Бу-дет! Осуществление «идеалов» оказалось пустопорожним и сплошным истязанием для «детей». Достаточно.

Какая же тут болезнь?! Истец мог бы прибавить горшее:

— «Сыпались ловко нацепленные слова, диалектика, медь звенящая ... *а дела* ... — кровь, грязь и муки. Мы верили многим из вас, людям большой культуры, с высокими, чтимыми всеми, идеалами. Вы нас вели и нас же предали. Почтенные — Кони, Тимирязев, Горький, проф. Котляревский, академ. Котляревский, академ. Ольденбург, профессора, многие-многие ... — на *кого* они променяли нас, новое поколение культуры русской?! Да, много и из них мучеников, но для нас, столько на себе вынесших, измена хотя бы группы служителей культуры и идеалов — удар по идеалам. Мы болезненно чутки, и это — удар в душу. Да, в вас мы перестаем верить. Не раз мы были свидетелями, как виднейшие люди меняли свою веру, свои политические идеалы, тактику и ориентацию.

Вы шатки и, как авгуры, принимаете вид, что истина вам известна. Вы — просто руководить хотите, вы — слишком горды и самолюбивы, непогрешимы. Мы знаем, что мы не на высоте культуры, но мы получили закалку *опытом* — и только своему опыту верить будем. И если разлетятся ваши идеалы — нам не больно: истерзаны мы за ваши идеалы! У нас все отнято.

Ни личной жизни, ни родины. *Нервы?! Кто* «опустошил» нас?! Мы слышали, как ваши партии, провозглашавшие высокие лозунги, во имя человечества, кончали людоедством, избиением миллионов, нас, молодых, подлой травлей, ограблением души народа. Теперь подчеркиваете готовность нашу силой бороться против насилия?! А *кто* создавал гнуснейший террор?! положил начало?! Молодое ли поколение?! А кто, не отдавая мизинца своего на жертву, в тиши кабинетов, потирал руки, что «ловко ухлопали» и теперь близится «заря», вот, вот поставим идеалы на пьедесталы?! А теперь пугаетесь нашей одичалости, что мы готовы «отмерить щедро той мерой, какой и нам будут мерить»?! Повидали. Славные террористы, благословлявшие молодежь убивать «врагов народа», самоуслажденно писавшие книжки с высокими словами, пошли продавать душу свою и «идеалы» убийцам «любимого» народа! Витрина, витрина! Вы отравили всякую в нас веру, мы будем добывать ее *сами*, искать *сами!* Мечтами о «сверхчеловеке» поили нас, эстетством, мистикой, — рафинированные души?! А взяли вы, рафинированные, оружие, чтобы защитить ваши попираемые идеалы?! Своею грудью, своею жертвой, чтобы примером показать любимому народу, что ценнейшее защищаете, защитили вы *ваше* Учредительное Собрание?! Мы отдавали себя за *наше*. Называя нас «опустошенными душами», не совали вы нам палки, когда мы отдавали жизнь, чтобы отстоять родину, сокровищницу и наших и ваших идеалов?! Ведь на чужое поле, чтобы осуществлять идеалы, ни нас, ни вас не пустят! И не вы ли положили начало той реки крови, что и до сего дня льется?! А теперь — «опустошенные души»!? *Кто* опустошил нас?! Теперь начинаете признавать «героическое и жертвенное» и в белом движении, задним числом, когда надо

проложить дорожку в наши «опустошенные» и нервнопотрепанные души?! Нет, нам, *больным,* с вами не по пути: слишком уж вы здоровы! У нас иные глаза теперь, *новые.* Да, «мещанское счастье» мы не осудим, ибо мы не знали никакого счастья. Вы прожили блестящую жизнь и имели свое «счастье», хотя бы размышляя на досуге по кабинетам и пышно говоря речьречи в парламенте, а мы, кроме строя, огня, крови и гонений, — ничего не получили от жизни. Да, теперь мы будем делать каждый свои биографии, веря, что жизнь найдет и создаст общую биографию-историю в результате соотношения сил реальных, не станем возноситься к далеким вершинам будущего. Вы, строители Сольнесы, послали нас подпирать вашу башню, и мы сброшены ураганом, силу которого не учли ваши культурно-чуткие барометры. У нас теперь *наш* барометр, когда болят наши раны, *наш* барометр — предсмертные стоны родных и братьев, — они и до сего дня в ушах и душах наших стоят непроходимо, а вы и до сего дня глухи!»

— «В огне и буре познали мы *наших* руководителей! Их сердце билось однозвучно с нашим, они показывали пример жертвой. Не вы ли их у нас отняли?! Не вы ли или вам близкие?! У нас был Духонин, не покинувший своего поста до смерти. У нас был Каледин, — застрелился, не пережив горя и ожидаемого позора. У нас был сын народа, славный Корнилов, на посту павший, — не вы ли затравили его, схватили в тюрьму, называли изменником?! У нас был отважный Колчак, преданный на мучения . . . кем?! Всем мы памятники поставим, когда настанет время, ибо *есть* у нас *наши* идеалы. У нас были миллионы друзей и братьев, — одногодки наши, — преданных подгонкою жизни под ваши идеи-идеалы! И теперь все же мы — не одиноки. С

нами — вечная память павших. С нами, у нас — «отцы», понявшие наши муки и наши боли, *право* наше понявшие. Они — наши друзья и товарищи наши старшие, ибо они показали мужество честно сказать о былых ошибках. Они нашли новые пути, нам близкие. Они передадут нам свой великий культурный опыт, — все те, у кого много сердца. Вы говорите — «опустошенные души»?! Огнем революции *вашей* опустошенные? Признали?! Или — нечаянная обмолвка? .. Когда же. наконец, кончите вы с *обмолвками?!* Впрочем, вы так много говорили... Нам «потрепали нервы»? Да, конечно. *Вы* это прекрасно знаете. Но как бы заговорили вы, если бы нам поменяться судьбами! У нас нервы ничем нетронуты, и потому-то нам с вами не по дороге. *Наши* нервы привыкли далеко, глубоко слышать, а вы — нечутки. Чутких людей мы знаем и пойдем с ними и не пойдем с вами повторять опыт опустошающего огня. Мы не отвергаем ваших идеалов — многие из них и наши! — но отныне, посильно, мы не позволим *вам* проводить их в жизнь... нашими головами! Да, у нас есть и идеалы. И первый наш идеал Родина, Россия. Ее мы хотим, ибо без нее — *нельзя.* Нельзя иначе! Вам нужно объяснений и программы, почему «иначе нельзя»? Вам непонятно это? Нам понятно, потому что мы — *чувствуем* и — немногословны. Откуда вы знаете, что нет у нас идеального образа нашей родины? и как вы можете называть наше «иначе нельзя» — «кошачьей привычкой к месту»? Вы и тут не перестаете швыряться оскорблениями! Вам ли учить нас любви к родине, которую вы, вы, вы отнимали у нас вырывая пропасть между нами и народом, натравливая на нас темные души, выдавая себе лишь патент спасителей; которую вы развеяли и оставили, не легши за нее грудью?! Не кошачья привычка — родина, а моги-

ла наших отцов и братьев, могила нашего славного прошлого, колыбель-могила всех русских и всечеловеческих идеалов, найденных и хранимых теми, кого мы чтим, кого и вы чтите. Родина — колыбель-могила похороненных надежд наших и ваших».

— «Наш язык груб, слово наше не заострено диалектикой. Мы дети войны и мятежа, с надорванной грудью. Кровью своей отыскиваем мы *наше*. Чтобы не предавать своего, что теперь в нас рождается и бьется, мы будем учитывать реальное соотношение сил и будем не словами бороться только — мы увидали, как вы боролись и что из этого вышло! — а будем мерить мерой соответственной, и отмерим щедро. Мы не будем уговаривать, ибы мы слышали, как уговаривали, и что из этого для нас вышло. Уговаривавшие и по сей день говорят обильно, а мы косноязычны да наших голосов, рассеянных по всему свету и под землей, и неслышно. Да, здесь мы «несем возмездие». Вам это непонятно? Вы ставите знак вопроса? Да, возмездие — за ваше прекраснодушие, за излишний досуг изучения жизни по кабинетам, за нашу *невиновность!* За «отцов» долги уплачивают «дети». Мы с лихвой уплатили долг, с ростовщическими процентами. Теперь сами должны повести хозяйство. Ваши слова — патриотизм, демократизм, — мы сделаем нашими, вольем в них новое содержание. И главное — родину *нашу* мы понимаем и принимаем *кровью!* И, закалив мужество мы принимаем жизнь смело такою, как ни тяжка она, как ни грязна и ни жестока. Ужасами не испугать нас. Это вы, не готовые к ужасам, потеряли голову и погубили нас. Мы найдем новых вождей, которые, укрепляя в нас наши идеалы, будут с нами бороться бесстрашно рядом. И вам уже не удастся смутить нас диалектически-тонко поставленными вопросами. Мы не признаем *слов*. Зна-

ем одно: без родины ни вы, ни мы идеалов осуществлять не можем, а смотреть со сторонки, как осуществляют другие, — занятие праздное.

Поэтому-то мы и национальны. Ибо хотим строить. Иначе мы — без дела. Мы — волевые и мы — хотим! Вы привыкли на любом месте довольствоваться рассуждениями, говорить и говорить, спорить и спорить, как говорили и спорили годы-годы. Мы хотим у себя жить и *делать*. Да, потому мы национальны. И будем — время придет — строить. И если ошибемся — заплатим сами, и без высоких слов. Да, мы — *новые*. Мы крещены в иную веру, — не водой, а огнем и кровью. Мы уже побеждаем, ибо делами нашей жизни мы заставили и вас, наконец, признать нашу «жертвенность и готовность к подвигу». Признаете и другое. Не признаете — нам не важно. Но строить, без нашего контроля, не позволим. А культурой вашей, знанием вашим всегда готовы воспользоваться — для *нашего*. Если поймете нас — будем вместе. Долг уплачен. Прежнее мы забудем. Выше и вас и нас — одно: родина, ей много нужно».

Вот что сказал или хотел бы сказать, представляется мне, Александр Туринцев. Пусть он — я его не знаю — извинит меня, если я принял смелость его дополнить. Но сделал я это, как слушатель и судья по иску. И сам я никогда не прочь отвечать по иску, если и на мне есть доля какой вины.

Здесь, в этой исповеди-статье Туринцева, — *новое* исповедание веры, новое мироотношение, — иначе и быть не может. В огне войны и революции должно было многое сгореть, отжечься и отлиться. Или «отцы», вера которых в движение обновления — краеугольный камень их сущности, так самодовольно-самолюбивы,

что лишь за собой признают право на эволюцию, как и на... революцию?! Тут подлинная революция склада русской души, новая поросль от корней родины. Не пациенты санатория для нервно-больных, куда хотят приписать сами страдающие навязчивыми идеями, а огнем опаленные и закаленные пионеры воистину *новой жизни.*

11 сентября 1924 г.
Ланды (Капбретон).

УБИЙСТВО

I

Вспоминаю я март 1917 года...

Зачинающаяся, но уже хмельная, весна, сибирские просторы и дали, и «поезд свободы», от паровоза и до хвоста — в красных флагах, в полотнищах кумача с золотом и коленкора с дегтем, с крикливыми изречениями из прокламаций, где бряцали побрякушечные слова, совсем опошленные потóм тысячами трибунных глоток, — все эти: «кошмары тираний», «вековые цепи рабства», «крестные пути скованной революционной мысли»); все эти «долой!», «да здравствует» и «вперед» (на случай сдобренные выхваченными стихами из поэтов). То был (необычный) Поезд, доселе еще нигде невиданный, — (поезд) освобожденных политических каторжан. (Воистину — пьяный поезд).

Тогда, в хмельном от революции марте, все было пьяно, тревожно-бесшабашно, беспланно, безудержно.

(Многотысячные) толпы солдат, вдруг «застрявшие» по дороге к фронту, (мгновенно учуявшие свободу). Волны народа на узловых (станциях), пытливо приглядывающиеся, с опаской приглядывающие — «возможности», но не принимающие пока всерьез. Мальчишки сел придорожных, (версты дующие за поездами,) источными голосами орущие: (а-ти-лату-ры-ы) азет! раздирающие подав руки (предусмотрительно) запасенной «литературы», революционного хлеба-камня,

что пошвыривали из окон радостно-щедрые руки будущих творцов жизни. Линейные сторожа, вдруг позабывшие про шлагбаумы и попивающие чаек за окошечками своих будок, выслав с флажком девчонку. Серые кучки матерых (бородатых) каторжников, (на радостях) пущенных гулять по России, исподлобья высматривающих (пути свои) с потеплевших откосов, с пустынных полустанков, (с городских окраин) цепляющихся за (каждый) поезд, чтобы поспеть «на праздник», рассказывающих таинственные истории мук, принятых «за свободу народа», (— уже натачивающих ножи.) Начальники станций, веселящие революционный глазок яркой красной фуражкой, конфузливо ею машущие под раскатистое ура. Свалившиеся под откос костяки слетевших с рельс поездов, колесами к небу, вскрики разболтавшихся паровозов, призывающие самые недра тайги спешить на пир, — все было пьяно сорвавшеюся с винтов жизнью, заманчивой жизнью без колеи.

А в этом замутившемся хмелю (— от неожиданных и заманных возможностей —) (безудержном) народном море, по первым валам его, мчался «корабль революции», славный поезд (героев революции), (шестисот) политических каторжан, (пусть героев второстепенных, пусть даже революционной «шпанки», но все же героев неподдельных. Так, по крайней мере, они именовали себя (просторам и серым толпам на станциях).

Генералы от революции уже прокатили (особь) в экспрессах, с солидными «путевыми», (с почетными кортежами,) под трубные звуки оркестров и шелест революционных знамен, с букетами роз пунцовых, шустро добытых из теплиц сибирских капиталистов, (неопределенно заулыбавшихся в неясный лик Революции) уже сотрясали аудитории (добрыми зовами и ог-

невыми речами закружившейся истерички, возомнившей себя королем испанским, уже формировали — будили «революционное самосознание масс» на пути (через Самару в Москву и) в Питер, где сотни рук взволнованно-цепких старались выхватить друг у друга опустившиеся (и путающиеся) поводья понесшейся «Русской тройки», где уже принялись забивать в обнаженный хребет российский всякого рода колья с красными флагами всяких фирм, с громогласными изреченьями, где «да здравствует» и «долой» сплетались в великолепные обещания — дать все, от бесплатной бани и дров до . . . «рая», до осуществления обета из интернациональной сказки — «кто был ничем — тот будет всем», — выводя речами и действиями таинственно заманчивые разводы по которым вдруг захмелевший народ приучился читать одно: все можно!

Но и эти «шестьсот» героев, несколько запоздавших к революционному кружалу, все же могли блеснуть революционным прошлым: тайными типографиями, конспирациями, прокламациями и бомбами, расстрелами (русских мужиков-городовых — из-за угла, ни в чем неповинных мужиков, которых они подводили под экзекуцию, бунтуя по деревням и фабрикам, каторжными годами,) чахотками, нажитыми подпольной жизнью, разбитыми жизнями и той вполне оправданной злобой на судьбу неудачников, которую они питали за себя лично к «проклятому старому режиму», наивно воображая, что при новом режиме они будут много талантнее.

Плохо ли, хорошо ли, но с в о ю и с о б о ю жизнь творивший народ, тысячелетней своей путиной создавший Гнездо Российское, жилами своими связавший великое государство на страх врагам и на зависть соседям алчным, силившийся в богатстве имуществен-

ном, росший и подымавшийся из низин духа, еще не сознавая своей великости и грядущего Воскресения *своими*, стихийными путями, смотрел выжидательно и с тупым удивлением (и с недоверием) на этих людей в пиджачках, в мягких шляпах, в каскетках и в инородческих треухах, на этих бледных и худощеких людей, кричащих из окон и с площадок вагонных на языке, едва напоминавшем родное слово, неслыханные слова: «без аннексий и контрибуций», «идеологические надстройки», «авангард пролетариата», «Импульсы революционного самосознания», «углубление революционных достижений», «великие имена Маркса и Энгельса», — и кучи-тучи сыпучего мусора, годами ссыпанного с брошюрок в некрепкие головы и теперь свободно посыпавшиеся на сибирско-российские просторы. В сыпучем треске (слов-звуков) серые толпы улавливали одно, подмывающее: теперь *все можно*!

По инструкциям-телеграммам «из центра» — «сближать население с борцами за революцию», «будить революционные чувства масс», (— спешно передаваемым за несколько станций вперед комиссарами и всякими агентами, забывшими, что кроме Революции есть Россия, требующая в острое время особенного внимания,) — в стороны от (сибирского) пути пущены были воззвания и приказы: будить, подымать, сзывать, жертвовать, жертвовать, жертвовать, доказать внимание и оказать уважение, — и «освобожденный» сибирский народ, всегда бывший свободным (и крепко сбивавший свое хозяйство,) приносил иногда «чувства сознательного гражданского отношения» (так заявляли ораторы): красный флаг, наскоро состряпанный в паровозном депо из кумачевой рубахи, пару труб медных, занятых «на такой случай» из пожарного оркестра, пяток окороков, пожертвованных хитрым торговцем, раздумчиво

почесавшим в затылке и сказавшим (резонившему его) комиссару от революции: —« Да, Господи . . . да мы . . . по случаю как борцы . . . кровавого самодержавия . . . с великим удовольствием . . .» (пуд сливочного масла «союза (сибирских) маслоделов»), ящик-другой) виноградного вина, вытребованного специально) телеграммой — «в виду особенности состояния».

Над этими дарами произносились речи о трогательном единодушии, о крепкой связи масс с передовыми борцами революции, о радостных слезах освобожденного народа . . . «когда-то все принужденного отдавать прожорливой гидре самодержавного деспотизма», о сорванной голове «гидры тирании», которую необходимо «прижечь», у которой надо вырвать ядовитые зубы и щупальцы-кровососы; о важности углублять и углублять передовые траншеи революционного фронта (военные термины особенно яро звучали из уст бледнолицых и слабогрудых «борцов», в первую голову интересовавшихся, дадут ли им годовую отсрочку призыва в подлинные траншеи немецкого фронта), дабы очнувшаяся «гидра» не вонзила отравленного ножа в спину революционного народа.

Я хорошо помню, как один сибирский мужик, с разинутым ртом слушавший (маленького) кипучего оратора, размахивавшего с вагонной площадки измятой шляпой, (все время) поправлявший (пышный) красный бант на груди, этого (неистового), неустанного шафера от революции, вдруг крикнул, поняв «свое» что-то:

— А уж о н и т а м . . . (учнут добираться)! Свое нагонють!

А другой, толкнув локтем, повоздержал:)

— О-ставь . . . (шпиены у н и х . . .) Им деньги платють . . . ка-к расстраивается . . . бе-да!

Этих «расстраивающихся» с часу на час становилось больше.

Питая необъяснимую страсть к «учету сил революции», любители классификаций, пунктов и литер в своих программах, жадные до революций, конференций, делегаций, интерпелляций, фракций и депутаций, сторонники национализаций, конфискаций, деклараций, экспроприаций, с потенциальным запалом в сторону террора и страшных до помрачения кровавых экзекуций, до оголения внешние, ходячие и сухие схемки неуловимых и отвлеченных выводов, они с первых же дней так легко нежданно давшейся революции потеряли из вида живое лицо, тело и душу родины и России. Дети ее по метрикам, знавшие ее мало или совсем не знавшие, они принимали ее как отвлеченное нечто в революционном суждении своем. Часто совершенно чуждые ей по крови и духу, не знавшие и не любившие ее тысячелетней истории, ее не открывавшихся им недренных целей и назначений в мире, они выделывали-кроили ее историю, как хотели, нанизывая на своего идола-болвана, изготовленные по мудрой указке Маркса, все подходящие лоскутки, которые они смогли подобрать из богатейшего ее скарба. Отбросив неподходящее им из великой сокровищницы, собранной историками и делателями России, — вплоть до исторической философии Данилевского, нащупываний и пророчеств огромного Достоевского и гениально-блещущего ясностью выводов Ключевского, — эти нищие мыслью и глубокими чувствами «лакеи мысли благородной», привыкшие «осознавать» налету, довольствовались большею частью тощенькими и лживо-подтасованными разглагольствованиями Шишко, самоуверенно-хлестко сумевшего приспособить крикливые факты к приятно-революционному пониманию, для которого тысяча

юбок Елизаветы, нос императора Павла или попойки Петра являлись необходимейшим поводом для исторического «комаринского» на трепещущем жизнью прекрасном теле России.

Им было и чуждо, и непонятно (и недосужно быть может) то великое и величавое по судьбе российское напряжение, Духом Жизни указанное в удел России, то напряжение не по силам, которое она приняла на себя, из которого вышла с честью, оберегая века культуру, от которой ей упадали крохи, от которой ей доставались, с случайным даром, ядовитые экскременты. Через икривленные стекла, через цветные стекляшки выкинутых из европейской кухни использованных пузырьков, смотрели они на мудрое, часто стихийное, делание Святой Руси, на мучительное, со всеми народными силами, проявление государственной мысли, со времен Александра Невского, Калиты, Донского, Святителей и Митрополитов Руси, духовных и политических вождей народа, до терзаний Смутного Времени, великих кроек Петра блестящих десятилетий гениев русского творчества, обретавших жемчужины в формировавшемся российском хаосе, — до последних и крестных мук, последнего испытания великого народа войной и государственным нестроением, из чего должна была, иметь силы выйти Россия, если бы!.. Нет, они не умели и не хотели смотреть на ее историю здоровыми, самою жизнью живой дарованными глазами. К ней, молчаливой и трепетной, они подошли, по оголтелой указке своих «историков», с отвагой подпольников-прокламаторов, взяли из ее жизни все, способное раздражить-озлобить, неумело или сознательно проглядеть и ласку, и муки, и жертвы-слезы, взяли заплевали все ценное и прокричали хулу, только бы раскачать, только бы растревожить темное народное

море, поиграть на его волнах с юркостью школьников-мореходцев, которые не понимают бури, не сознают, что придет она неминуемо и потопит богатые народные корабли, на которых неведомая им (и не любимая ими) рождающаяся Россия уже выплывала на великочеловеческий Океан, с ликом прекрасным, и вдохновенным, и мощным. Потопит их и поглотит.

С первых шагов (своего революционного делания, с первых шагов) по земле (так) доверчиво им открывшейся, еще в пустых просторах сибирских, они принялись искать новых путей борьбы, совершенно забыв, что уже не с кем теперь бороться, что надо давать и давать, давать и стране и жизни, чтобы заставить ее творить. Они не знали (или не сумели узнать), что жизнь — самая мудрая из хозяек, что есть у нее закон — дай, и я дам! Они, слепцы из подполья, знали другой, свой закон — давай и давай! — и только. Они ведь вынесли на своих знаменах пустопорожнее слово, трескуче-звонкое слово безответственных болтунов во сне рожденного Интернационала:

«Весь мир насильно мы разроем
«До основанья . . . а затем . . .

Ну, а затем . . . могила, (в которую упадут и сами, если не оставят для себя предусмотрительно заготовленного «ковчега».) Но они об этом не думают. Они бросают ожидающим «чуда» массам такую чудесную заманку, ради которой можно, пожалуй, и им поверить:

«Кто был ничем — тот будет всем!

(Великий секрет алхимиков, который им, конечно, известен: из ничего сделать — все!)

II

Я взял поезд «освобожденных» не случайно.

Такие поезда не поезда везли и несли на Русь тучи охотников править и устраивать жизнь по своему, вернейшему, способу, который им написали и с точностью выверили прекрасно знавшие Россию: Маркс и Энгельс, Либкнехт и Адлер, (Плеханов) и Чхеидзе, Чернов и Церетелли, Рамишвили и Ленин, Троцкий и Радек, Роза Люксембург и Клара Цеткин, Вандервельде и Бела Кун и десятки и сотни больших и малых учителей и пророков, многие из которых в ближайшее время нашли-таки, наконец, истинное свое призвание — палачей-убийц. Они не взяли в руководители гениев русской мысли и русских чувств: национального Пушкина, муками пытавшегося охватить смысл России Гоголя, (великого ученого и патриота,) из недр Руси исшедшего Менделеева, чуткого и мудрого Пирогова, Данилевского, Аксакова, Соловьева, Достоевского, Ключевского, — десятков славных людей русского имени и русского духа, — вплоть до Толстого и Чехова, — для которых (Россия и) народ русский были не (отвлеченностью,) не элементиком в формуле, а волевой (и болевой) сутью их жизни. Все, что ценнейшего выдавил из себя народ в области чувств и мысли; все, что сливала в чудодейственный фокус живая жизнь, духовная и телесная ткань тысячелетней России, — национальная культура, народный дух-гений, — все это было и чуждо и неизвестно самозванным политикам, единую школу познавшим — политическое подполье, владевшим единственным полномочием — дерзостью неудачника.

Но перед этими «силами-чарами, как бы перед явившейся вдруг головой Медузы, все действительно ценное на Руси вдруг почему-то залепетало невнятно и занемело, может быть честно себе призналось, что не отросли от них корни, не связались с корнями народной глубинной жизни, и не пришло еще время народной массе править пути свои в единении тесном с водителями России. Но эти чувства-ответственности перед собой и судьбой народа — чужды и незнакомы были другим, самоуверенно-дерзко назвавшим себя вожаками народа, навязавшим нагло ему себя, заговорившим от его имени, имея фальшивый ключ, (ключ)-отмычку к темным дверям многогранной души народа, — (ложь, клевету) злобу, и (безудержное) потакание инстинктам. На этом ключе-отмычке подполье вырезало заманчивые слова: «все можно» и «нашарап!» (Они хорошо учли магическую силу этого — «нашарап!» И не ошиблись.)

Что-то еще лепетали потерявшие голову Маниловы-либералы, приветствовали «гениальный порыв», великий праздник народа, «сбросившего вековые оковы рабства», воспевали чистоту и святость народа, так бескровно и т. д. А поезда несли и несли совсюду — из глубин Сибири, из-за Океана, из-за вражеского фронта, из всех стран и народов — вдруг взметнувшийся «авангард мировой революции», людей зеленого возраста, никогда не видавших России, или оторвавшихся от нее, в кафе и биргалках международных готовивших верные планы, по которым Россия должна отныне, под их водительством, править пути свои.

На этих поездах и кораблях, вдруг задвигавшихся совсюду «по директивам из центра», десятки тысяч «революционного авангарда» везли революционный пыл и азарт, туго взведенную пружину «революцион-

ной воли», желчь и злобу за прошлое, за исковерканные жизни, за свои неудачливость и бездарность, за мызганье по чужим дорогам. (Иные) — надежды на устройство при кулебяке российской, самой жирной из кулебяк, ароматы которой донесло и до стран заокеанских.) Везли личные страсти, может быть для самих везущих и бессознательные, чудесно укрытые «любовью к народу и человечеству». Везли и вражеские директивы, и вражеские деньги. Везли шпионов и провокаторов, ловкачей и предпринимателей, чуящих, что приспело время вцепиться в хребет российский, порядком обнаженный войной. Везли уязвленное самолюбие, самоуверенную бездарность и просто глупость, пышно увитую попугайски заученными словечками пылких чужих речей, занятых напрокат из архива Великой Французской революции. Везли на «праздник России» самоопределение народностей, любвеобильный мир без аннексий и контрибуций; наполнили собой столицы и города, вызвав к «революционному образу жизни» и в пять минут влив в себя революционизированные, между парой жгучих речей и шелушением семячек, ленивые и уставшие народные массы, которым не предъявишь ответственности. Наполнили поселения, посады и деревушки, всюду напустив снабженных мандатами на будущее удовлетворение агентов, недурно оплаченных и теперь, снабдив их «общею линией поведения», сманивая, разлагая, обещая, призывая потачками грабежа, якобы разрешенного неведомым, но очевидно всесильным Марксом, очевидно царем каким-то для всех народов (такое толкование было!), и оправданного отравляющим волю словом: «грабь награбленное!» Пополнили ряды свои убийцами и ворами, выпущенными «для-ради праздника» слабоволием сладкосердных либералов, отказавшихся, (по своей государственной муд-

рости?) установить власть на местах, предоставив сие созревшему вдруг народу, доказавшему свое право и т. д. Набрали для сбиваемой с толку армии комиссаров фронта. Нагнали шпионов и агитаторов, продажной и гнусной сволочи, которая, частью на немецкие сребренники, на русских харчах, автомобилях и поездах, пошла и пошла шмыгать по фронту, въедаться, вползать, вгрызаться в защищавшую родину серую толщу войск, — и там, в обстановке смерти, когда дело идет о самой великой жертве, на которую только человек способен, эта гнусь-мразь, прикрывшаяся высокими лозунгами «человекобратства», разжигала, мутила и ослепляла массы, натравливала-науськивала, клеветала, травила; разлагала и растлевала; продавала и предавала лучших, срывала с них знаки их сыновнего и отчего долга, плевала им в незапятнанную душу, поселяла сомнение и отчаяние, подкапывалась и взрывала, чтобы приготовить майдан-базар, на котором впоследствии можно было очень и очень недурно поработать.

Я не закрываю глаза на чистые побуждения, на светлые надежды и устремления иных делателей революции российской. Я вовсе не хочу мазать все единой краской. Но что могли эти отдельные и разумные, когда и лучшие-то из них не в силах были понять то простое, простым, но цельным людям понятное (а такие были, и было их немало!), что в момент величайшего напряжения, с каким страна отстаивала право свое на национальное бытие, нельзя оставаться свидетелями и потатчиками, помощниками разлагателей народной мощи, нельзя убивать силу обороны, нельзя выхватывать из ее машин «сердце», нельзя шуллерски-гнусно обещать все и всем, свое выдавать за мнение народа, которого у него и не было; нельзя расшаркиваться перед советом сбродно-случайных депутатов, сами себя таковы-

ми объявивших, в котором, рядом с глупцами, ставшими вдруг политиками, возомнившими, что они Солоны и Ликурги, заседали и вели подтачивающую работу или маньяки, или заведомые Иуды, или наймиты вражеского стана, или ловко носившие маску вождей пролетариата российского, возглавители совета, вскоре оказавшиеся «гражданами своего отечества», за кровный счет русского рабочего человека ловко обстряпывавшими с в о е дело и теперь еще домогающимися у Европы признания правоты своей.

Но я опять отвлекся от «поезда», несшего России желанную свободу.

III

Борцы за освобождение народа, еще не выбравшие костюмов, в которых им приятнее всего будет устраивать жизнь и счастье народных масс, только еще в пути, стали искать позиций. Они стали производить дознания-анкеты, како кто верует. Воистину, это были еще политические младенцы. Три (!) анкеты успели они провести на пути от Иркутска и до Москвы, и всякий раз менялись их партийные группировки, (а посему и их «линия поведения»), и всякий раз нарождались партийные из беспартийных, социалисты-революционеры из народников-социалистов, интернационалисты из социал-демократов, максималисты из просто социалистов-интернационалистов, левые из менее левых, левые крайние, до . . . анархистов. Правда, это были рядовые работники, многие из них — просто тихие и добрые люди, обремененные семьями, страшно уставшие, которым только бы доткнуться до угла тихого и благостного, но они неудачно попали в кипево, в бучило всяких

брожений, и, так как положение обязывает, они не могли не завертеться. И завертелись. Правда, многие из них не могли бы сказать о России двух связных слов, не вычитанных из прокламаций и листовок, и отчетливо знали разве только «Пауки и Мухи» Либкнехта, смутно-«коммунистический манифест» Маркса и Энгельса и твердо две-три революционных песни, в которых ни одним звуком не говорится о любви к родине и об ответственности перед ней, в которых нет: „Allons, enfants, de la Patrie", а есть только одно: ненависть, ненависть и ненависть; есть беспредметное, с ножом, с топором, с дубиной и кувалдой, «вперед!» (на врага внутреннего), есть подтасованная схема жизни, в которой две краски — белая (красная), для «рабочего» и черная, для «деспота» и иже с ним пребывают; в которой только два положения — сосущий пот-кровь и «сосомый», в котором одно и одно: желчь-злоба.

Я не знаю, какая тупая и узкая, от злобы слепая голова могла сочинить эту пошлую российскую «марсельезу», эту песню недалекой, животной злости, — не злобы, — эту гнусную песню с балаганными полотнищами «деспота, пирующего в роскошном дворце, тревогу вином заливая!» — где вся жизнь величаво-страшная и громадная в творчестве и сложнейшей борьбе и завоеваниях сведена для понимания масс (и их разжига!) к «твоим потом жиреют обжоры», к «бей-души их, злодеев проклятых», к — «смерть паразитам трудящихся масс!» Но она очень удачно попала в точку, создав это пустопорожнее (и самому народу смешное, но иногда «удобное») и мелкотравчатое — «попили нашего потукровушки», с каковым отпуском всех грехов и пошли православные «работать», как со знаменем и щитом, на поток, разграбление и насилование всего решительно, чего душа добивалась. Но она удивительно отвечала

всему нищенскому багажу делателей революции, не исключая и их вождей, что они вскоре так блестяще и доказали, усвоив себе занятие: мешать непременно всему, что могло бы втащить жизнь хотя бы на плохенькие рельсы, и всемерно способствовать валиться в прорву еще не свалившимся частям ее, чтобы прочистить дорогу главным гробовщикам и насильникам, которые, изнасиловав и ограбив, пришпилив к жертве красный ярлык «отдана на позорище», под чем надо понимать — костер для будущего всемирного пожара, — теперь пытаются поиграть в государство, недвусмысленно заявляя, что они «немножко ошиблись», что первый опыт не совсем удался; что надо, видите ли, опять создавать капитализм и культуру, обыкновенную буржуазную культуру, которую они имели неосторожность выкорчевать и сжечь; что надо уметь и торговать и торговать; что нужно идти путями кооперации, которые они также взорвали и перепахали, что... одним словом, надо все начинать сначала. Как будто никогда не было России, которую они убили, ее особливой, ее бесценной культуры, которая пошла уже рыть себе торные пути на Запад, восхищая его, весь мир, и которую они испепелили на ее родине, отняв ее у более чем стомиллионного народа, который только начинал познавать ее.

Но я опять отвлекся.

Шел поезд «освобожденных», и уже на первых значительных остановках началась словесная музыка, «сибирская увертюра», вскоре разразившаяся потрясающей оперой-монстр, во всероссийском масштабе.

Безответственные, не постигающие еще, какая страшная каша начинает вариться в великом котле российском, не перевалив и Урала, но уже заряженные десятки лет тому назад созданными революционными

лозунгами, лежавшими по подвалам, как обракованный, сбыта не находящий товар, эти насвистанные попугаи, которым раз навсегда «вожди» забили в затылок клинья, раз навсегда надвинули на глаза шоры, посылали и посылали трескучие и гнилые слова: долой войну навязанную буржуазией империализма! братайся с немцами! грабь ограбивших! не верь интеллигенции, прихвостню буржуазии! углубляй и питай ненависть! вставай-подымайся, не повинуйся никакой власти, кроме власти пролетариата! истребляй офицеров, продукт господства буржуазии, этих купеческих и помещичьих сынков! отбирай землю, фабрики, заводы, банки! и т. д. Всю эту ложь-правду, весь этот лелеемый багаж подполья и продукт злобы, зависти и тоски, и умственной ограниченности, накопленной годами жизни на воле, в которой не удалось найти причала и удачи по бездарности ли или слабоволию, или вследствие увлечения непродуманными перспективами, захватившими дух у людей с воробьиным мозгом, — весь багаж этот, сдобренный желчью и муками подневольной жизни в глуши сибирской, они, слепые рабы «вождей», мавры от революции, не прочитавшие вдумчиво ни одной страницы истории своей родины, многие даже вовсе не имевшие этой родины никогда, не имевшие ни малейшего понятия о сложных законах, которыми управляется жизнь человечества, видевшие перед собой только первую поросль русского леса, — посыпали и посыпали они штампованными речами, сдобренными жаром и блеском глаз, взмахами рук, биением кулаками в грудь, слезами, обещаниями, хрипами, обмороками.

Помню, как один из них, бывший ткач из Иваново-Вознесенска, с деревянным лицом кретина, но с крепкими скулами и шишковатыми кулаками, впоследствии сделавшийся видным деятелем подвальных казней,

вытвердивший на поселении десяток пустопорожних, оскомину набивших фраз, которые для него были лишь звуками сотрясающими, в роде, например: «адеологические постройки», «результат классовой дифференциции», «эксплоторская индеология», — начал свой путь строителя «оази́са» будущей мировой революции с того, что купил в Иркутске десять фунтов зернистой икры, (де-шево, по два рубли!), потребовал себе, не в пример прочим, отдельное купе 2 класса (многие требовали отдельное купе!) и с женой и сынишкой ел столовыми ложками эту икру, закусывая сладкой плюшкой и запивая мадерой. Бросал икру перед большой станцией, вытирал локтем губы, и, еще прожевывая сладкую плюшку, становился на площадке вагона, имея шустрого герольда с ревущей глоткой:

— Товарищи и граждане! Сейчас к вам будет держать речь бывший политический каторжанин, три года томившийся за ваше светлое будущее в казематах Верхнеудинской каторжной тюрьмы, представитель от рабочих Иваново-Вознесенского района! Ура товарищу!..

— Ура-а-а! — товарищ — любитель икры и печальник народный, прочистив горло, начинал неизменно одно и то же:

— ...интеллигенция на тонких ногах и широкозадая буржуазия будут приходить к вам в овечьих шкурах и петь соловьиные песни! будут дуть в ухи, что наша революция совершилась и кончен разговор! Мы, представители мирового пролетариата, отлично знаем, что это есть иксплоатация и адеалогия класса! Они боятся, что пролетариат вырвет у них сладкие куски, пышные столы с питиями и явствами! Но мы должны вырвать змеиное жало! И я зову вас создать великий оази́с... мировой революции! Не верьте и не ждите!

Кидайте ружья, протягивайте через окопы братскую руку жертвам мирового империализма, берите землю у помещиков-кровопийц, а всем, приходящим к вам в шляпах и брюках, ломайте ноги!

Это было в сибирских просторах, но это уже начиналось всюду — вливание гнилой крови в организм народа, лишь начинавшего приобщаться к гражданской свободе и к пониманию своего национального образа.

Эти призывные слова, не встречавшие отпора у представителей других политических течений — долбивших и долбивших каждый свое, вплоть до полусумасшедшего «анархиста-чревовещателя», совавшего из окна вагона черное знамя с коленкоровыми черепами и костями, по которому было нашито упрощенное до идиотизма — «Хлеб и Воля!» — были бы забавны и только, были бы знамением пустоголовости и пустодушия болтунов, если бы они, слова эти, не отвечали, как вода губке, серым многотысячным толпам, которые планомерно двигались (только что) к фронту делать очень важное, в исторической перспективе, может быть, не совсем ясное для народа, но естественно выдвинутое жизнью дело, корни которого таились глубоко-глубоко в прошлых ошибках ли, или в прошлых событиях, но которые (корни) нельзя было оборвать без потрясений неисчислимых.

Бьющие по такому доступному массам и такому желанному — по своекорыстию и по страху за жизнь, — эти речи оставляли народные толпы в брожении, в воспалении сразу и бурно начинавшей действовать прививки.

А поезд все шел и шел, а товарищи подкреплялись дарами народа, — икрой, окороками и маслом, грудами солонины и флагами, трубами и ура-ми, качаньем солдатских рук, сразу вдруг зачесавшихся, вдруг зарядив-

шихся кулаками — для приятной работы — грабить кем-то награбленное, где-то (везде?!) без охраны лежащее, — лицами и ртами, благодарно орущими:

— Ослободители! .. борцы вы наши!! .. Урра-а-а! ..

Сотни поездов, там и там в российских просторах, с разливающимися шире и шире, чарующими, заповедными — теперь все можно, гу-ляй! — неслись и неслись к сердцу России, в Москву и в Питер, где уже начинали бурно работать лаборатории ядовито гнилых прививок, оборудованные интернациональными доцентами и экстраординарными профессорами от революции, по инструкциям заслуженных профессоров, собирающихся двинуться из-за немецких окопов, в запломбированных вагонах, — профессоров-магов, у которых уже было все разработано и был наготове план: «зажечь и перевернуть мир».

IV

Поезд освобожденных шел . . .

И вот случилось . . . случилось в пути страшное, явился как бы знак предостерегающий, знамение показанное Судьбой, тревожный сигнал в пути: «блюдите, како опасно ходите!»

Бесснежны, голы были сибирские просторы. Кажется, 28 марта, а может быть и первого апреля была Пасха. Весенняя тишина стояла в тайге, шумели ручьи. Вечерами пустынные огоньки костериков давали приют подтягивавшимся к городам освободившимся с революцией каторжанам уголовным. Бритоголовые, серые, поглядывали они на призывающие к свободе плакаты поезда-ревуна, выведывали что нужно на остановках.

Иные из них подсаживались и в поезд, рассказывая про горевую свою судьбу и «зловредность проклятого самодержавного режима», ни за что, ни про что высосавшего из них «трудовую пот-кровь». Их принимали братски. Они «отходили» на людях, с красными бантами на груди, с их лиц сползала сероватая нелюдимость-тайна, и удивительные истории подвигов и страданий иногда развертывались перед сочувствовавшими им слушателями. Почти каждый из «пострадавших» мог с недомолвками намекнуть, что и он принимал участие в «великом деле освобождения». Здесь были и пострадавшие за «народную правду», проломившие череп или выпроставшие «черево» у старшины-живоглота. Были потерявшие заработок по проискам разных «лакеев самодержавия», по капризу господ вынужденные пойти в услужение «к генералу Кукушкину», и почти все убийцы были убийцами «из души», «из правды», и почти у каждого жертвами были буржуи-толстопузые, исправники, становые, урядники, сыщики и городовые.

Они соскакивали иногда перед большой станцией, руководствуясь только одним им ведомыми географическими признаками, урочищами, товарищескими связями, и планами. На место одних подсаживались другие, в смешанном одеянии, в шляпах и папахах, в кофтах и даже бурках. Много их было по откосам, еще больше, конечно, в тайге. И все они были теперь свободны.

Наступил вечер Великой Субботы, солнечной Субботы, вдруг потемневшей, захмурившейся ночи. Вдруг повалило снегом, и белая, зимняя Сибирь уже белела за окнами. В салон-вагоне и по вагонам-столовкам освобожденные, немного затихшие почему-то, разговлялись. Пасхи из творога и куличи в розанах из бумаги, в красных цветах рождающейся весны-Пасхи, красные

яйца горками, без радостного «Христос Воскресе», и бегущая в загустившейся за окнами ночи белая, зимняя Сибирь, — все вызывало неопределенную тоску по чем-то, уже утраченном. Это чувство передалось и матерым революционерам. Помню, один из них, принимая из рук печальной сестры-санитарки крашеное яичко, спросил ее:

— Почему вы такая грустная?

Она пожала плечами, дернулась.

— Почему? .. У нас уже больше не будет Светлого Дня...

— У нас теперь все дни будут светлые! — лихо ответил матерой революционер.

— Как вы наивны и близоруки! — выкрикнула сестра. — Или лжете сами себе. Что вы делаете с народом?! Вы его убиваете!

Он только пожал плечами. А она со слезами, с болью начала говорить, говорить кричать истерично.

Была уже глубокая ночь. Густая метель крутилась за окнами. Сугробы уже наметало в лиственницах, на рельсах, у верстовых сторожек. Черная собаченка прыгала по рыхлому снегу, увязая по уши. Я стоял в коридоре вагона. Кто-то, рядом со мной, чавкал. Кто такой? Это был вышедший подышать из купе представитель рабочих Иваново-Вознесенска. Он стоял у окна, угрюмо смотрел на снег, тяжко сопел и обгладывал куриную ножку. Пахло крепкой мадерой.

— Да-а-с... — сказал он в мою сторону. — Вот и Пасха-с! С праздничком вас...

Тут не было никого больше. Главное: не было слушателей. И я многое высказал ему — с глазу на глаз. Он все молчал. Потом, вытянувшись так, что хрустнули все суставы, сказал, зевая:

— Так-то оно все так... и право, полегше надо!..

Но он все же не стал «полегше».

А когда он ушел в купе, появился возле меня «матерой» и долго, молча смотрел, как бежала зима за окнами.

— Конечно, вас не убедила сестра?

Он ответил задумчиво:

— Да, правда . . . что-то не совсем ладное . . .

Утро встретило нас зимой, пышной зимой под сибирским небом, белесым, туманным. Метель затихла, снег таял, валился с лапистых лиственниц. Выглядывало на миг солнце. Поезд подходил к станции.

— Какая? . .

— «Зима»!

— «Зима»?! Нет, серьезно? . .

Действительно это была станция «Зима». Обычная сибирского типа, станция, кажется деревянная, длинная, с поленицами дров швырковых, с мужиками в треухах и лохматых папахах, в валенках, в тулупах. Вдруг быстрые-быстрые шаги, и в дверь вагона кричит побледневшее лицо черноватенького герольда, возвещавшего обычно публичные выступления:

— Вы слышали, что случилось сегодня ночью?! Каторжане целую семью вырезали у станции . . .

Да, случилось. В эту метельную ночь, первую революционно-пасхальную ночь Сибири, на станции «Зима», мало кому известной, освобожденные революцией каторжане зверски зарезали семью из семи человек, семью машиниста товарного поезда: молодую жену, мальчика и двух девочек, свояченицу-подростка, шурина-прапорщика и заночевавшего неизвестного никому солдата. Русскую трудовую семью русского трудового человека.

Зарезали освобожденные каторжане, двое болтавшихся с вечера «матерых», двое волков из тайги, на

человечьих ногах, с человечьими лицами, пропавших в метельной ночи.

И пошло из вагона в вагон:

— Слышали? Какой ужас!..

— Вы слышали?! Вырезали семью...

Слышали все и никому в голову не пришло, что на великой станции человечества, их же руками совершается величайшее из убийств, еще неведомое истории, — убийство целой страны, убийство многомиллионного народа — растление его духа.

Прошел «поезд свободы», не заметив красного флага, тревожного знака, поставленного в пути Судьбой: «Блюдите, како опасно ходите!»

Пошел и пошел...

V

Пошел к сердцу России.

Там уже ходко работали лаборатории: запасы гнилой прививки были огромны. Газеты стряпали жгучую «Правду», вливая ложь, передергивая, извращая факты, разжигая злобу, капля по капле вливая гной в буйную кровь народа.

Но были силы сопротивления: там, на фронте. Сотни тысяч сынов России, — русское офицерство, молодежь русская, проходившая школу, — бывшие студенты, окончившие гимназии и городские училища, выходцы изо всех народных слоев и, главным образом, из крестьянства. Эти сотни тысяч были опасны углубителям революции: они получили образование хотя бы настолько, чтобы чуять неизмеримую сложность жизни и всю опасность безумных кроек ее по новому; на-

столько, чтобы не верить в бесстыдные обещания шулеров. Не верить и удержать массы.

Эти сотни тысяч отдавали себя за родину, примером внушали массам исполнить долг, собой защитить ценнейшее — право народа, право России на жизнь по силам ее и свойствам, право идти с другими к прекрасному будущему. Понимали они, что взрывом не развязать сложный узел ошибок, приведших к страшной войне; что для России не выход — уничтожение наций, превращение всех в покорное стадо, в стадо людей без прошлого и без будущего, под единственным знаком — человек № n+1, — превращение во что бы то ни стало, какими бы ни пришлось жертвами, хотя бы уничтожением всей культуры и всех несогласных, путем жесточайшей из тираний.

Эти сотни тысяч были опасны. Их нужно было смести.

Носители новой, «интернациональной», веры облегчали себе борьбу отказом от той морали, которой жило все человечество, которая полагала предел в выборе средств борьбы: все заповеди они заменили одной — все можно.

И вот, полилась отрава. Раскинуты были перед глазами масс, неспособных на сознательный подвиг, все животные блага мира, все те соблазны, которыми соблазняет дьявол: право на все решительно, до безнаказанного убийства.

Носителям «новой веры», работавшим на вражеские деньги, помогали и многие, не принимавшие новой веры. То были или близорукие, переоценивавшие свои силы, или не учитывавшие последствия, или захлебнувшиеся в величайших возможностях, или настолько стыдливо-робкие, что боялись упорством скомпрометировать свое прошлое перед «прозревшим народом»,

подделывались к нему, потакая, не имея мужества сознаться перед собой в трусливости, продолжая бояться все еще пугающего клейма: старорежимник и черносотенник. Иные из них, умеренные по политическим взглядам, не оказали сопротивления, иные — даже способствовали приказам, убивающим силу фронта, и не помешали гнусному делу натравливания солдат на офицеров.

Трагедия лучшего слоя страны, бедной культурными силами, слоя, почти целиком захваченного войной на командные должности, — надежда России в будущей напряженной работе просвещения и строительства, — его обречснность гибели — была видима многим, не захваченным вихрем власти. Но эти зрячие могли лишь взывать и писать в газетах. Их голоса пропадали в вихре.

А гной продолжал вливаться, при попустительстве и содействии так называемых «демократов», поплясывавших у социалистического болота и все не решавшихся в нем заплавать. Пока они пробовали делать маленькие дела по комиссариатам, выглядывали «покушения на свободу», следили, чтобы революция «развивалась» и подымали тревожный крик, как пуганные вороны перед кустом, когда являлся их испуганному воображению призрак «белого генерала». Впоследствии они каялись и писали воспоминания позволяющие сделать только один вывод: что за ничтожество тогда направляло жизнь! У них, с маленькими головками, у этих бывших статистиков и народных учителей, долго мечтавших о роли двигателей и направителей народных, спирало дыхание от власти, от игры в государство на совещаниях, от горделивого чувства, что они «направляют корабль российский», что смотрит на них Европа, что их имена и портреты печатаются в газетах!

Спирало дыхание, разбегались глаза, мутились умы, горели от волнения души, трепетали сердца от делания. Они говорили дерзости генералам; они, стоя в автомобилях, принимали величественные, иногда перед зеркалами заученные, позы, — они принимали цветы и лавры, как балерины, наигрывали командные голоса, вычитывали из книг когда-то и кем-то сказанные речи, приказывали, отменяли, обещали, убеждали, назначали, дарили лаской. Они геройски-отважно закладывали «первые ячейки», выступали перед солдатскими массами в качестве укротителей, не забывая об удобствах автомобилей, отдельных вагонов и экстренных поездов, — с мандатами чрезвычайными. Былые кропатели журнальных и газетных статеек, выдававшие сами себе звание публицистов, провинциальные адвокаты, вдруг ощутившие в груди наполеоновские призвания, валявшиеся по царским постелям из мещанского честолюбия, — все это пробовало проявлять свою деятельность и на фронте, где большевизм уже разливал гангрену. Тряпками слов своих пытались они заткнуть прорвавшуюся плотину. Часто на их глазах или сейчас же за их отъездом натравливаемые агитаторами солдаты, словно по спискам, убивали и всячески «убирали» лучших из генералов, адмиралов и специалистов, смещали лучших в военном смысле командиров, засыпая жалобами комиссаров, присвоив и утвердив за собой право оценки доблести офицерской, мечтая лишь об одном: уйти в тыл, грабить и делить награбленное.

Для кого-то еще виднелось оплеванное лицо России, но для большинства из активных политиков того исторического позора, который еще и до сего дня торжественно именуется Великой Революцией, Россия не существовала, как родина, как итог, живой и прекрасный, тысячелетнего творчества крови и духа поколений; не

естественное чувство любви и народной гордости двигали ими (над сентиментальностями Карамзина только бы посмеялись, а об органическом и планомерном развитии государственности российской, Ключевского, и не думали): им Россия была нужна, как удачное место для проведения в жизнь *своих* идеалов-планов, наскоро и часто рабски призанятых из брошюрного обихода (что за историки и государственного опыта люди они были — это они доказали ярко!) и, возможно и вероятно, как место для пряно-острых переживаний в почете, и власти и сытости, если бы удалось им оставить власть за собой, что потом так наглядно показали большевики-коммунисты.

Я отлично предвижу, как «серьезные» историки революции с усмешкой мне укажут (а может быть и не снизойдут до этого), что многое я сгустил, что многое у меня ненаучно, необосновано, дано в освещении и преломлении «обывательском». Я хочу предварить их упреки и замечания: я даю не «историю революции». Я даю лишь *картину* того разложения, того растления государства российского, того проклятого гноя, который упорно, систематически вливали в народ; *картину* всего того, что убило Россию нашу. Убило, и теперь только *чудо* может случиться, чудо Великого Воскресения.

Оно случится.

Факт изнасилования и убийства великой страны — налицо. Факт десятков миллионов слепо и зверски отнятых человеческих жизней, — лучших молодых, жизней — и миллиардных богатств имущества и культуры, собранных тысячелетним трудом России, не может быть возмещен ничем. Он останется голым и гнусным актом глупости и безволия того слоя российской интеллигенции, который несет ярлык, отныне роковой и жгу-

чий ярлык — интеллигентский демократизм. Он, этот факт растления и убийства России, станет отныне памятником, поставленным героям от социализма, памятником из человеческих трупов, позора и нищеты, что навеки поставлен глашатаям «новой веры». Его не закроют ни ссылки на народную темноту, ни оправдания в ошибках и преступлениях, ни упреки и взаимные обвинения боровшихся групп. Этот чудовищный памятник все накроет собой, этот постыднейший крах демократических и социалистических устремлений живой подоплекой народа будет усвоен и никогда не забудет его народ, уцелевший еще от гибели. Вывод зреет и, верю, уже явно созрел в народе. Созрел, ибо наиболее чуткие, пророки народа, стихийно созданные неведомыми силами русской жизни, духовно мощные люди русские, — писатели, мыслители, ученые и общественники, — и там, в бывшей России, и здесь, в Европе рассеянные, — уже предвосхищают и образуют народное сознание происшедшего и смело и сильно показывают пути, по которым будет совершаться ход воскресшей России.

Не странно ли? Лучшие художники слова, лучшие выразители национальной сути, мыслители, ученые и общественники, люди с русскими именами и русским сердцем, явно и резко отмежевали себя не только от социалистических упражнений всякого сорта, но и от «республиканско-демократических» устремлений, чуя и в них опасность для возрождения.

Достаточно вспомнить и перечислить их имена, известные и в России и в Европе, чтобы увидеть, что главные силы духовно российской мощи, ее 99% удельного веса, не отдали своего святая-святых, ума своего и сердца, творцам могилы российской и другим, не покинувшим планов проделать и новый опыт. Что удержало

их? Ведь для них открывались пути и почета и славы, и обеспечений, и трубные звуки, и лавры, и почетные титулы! Удержала духовно-кровная связь с народом, чуткость к болям России, духовное знание путей ее. Глубоко глядят они, видят дали российские, чуют умом и духом. Они не пошли на опыт. Они не остались с теми. Ибо они, прежде всего, люди самостоятельной мысли, люди глубокого, не разменного чувства, понимающие ответственность. Они — на высотах мысли и духа, они наделены чудесной способностью обобщать и провидеть; люди большого духовного напряжения, они способны мерить глубокой мерой и видеть и предвидеть именно то, что зацветает в душе народа, который вылепил их из лучшего материала жизни неведомыми путями, с которым они кровно-духовно связаны, как пророки и вдохновенные, чуют и прозревают. Это невидимые щиты, которыми бессознательно оберегает народ свое. Это великие охранители, которым незримо доверяет народ ценнейшее — сберечь и пронести в дали. Они сберегут, пронесут в дали и укажут пути ему.

И уже указывают пути.

Когда-то их голоса тонули в вое революционных шакалов, вопле гиен, волков и стервятников, слетевшихся и сбежавшихся на пир совсюду. Теперь их вещие голоса начинают слышать. Скоро начнут внимать. «Имеяй уши слышати да слышит!» Через них говорит онемевший русский народ.

Но тогда, в вопле революционном их голоса тонули. Тогда шли на шакалий вой, — простая и легкая дорога, — там падаль. Россию выволакивали на свалку! Наконец-то! Проклятую, ненавистную Россию, которая устраивала погромы, угнетала народности, грозила медвежьей лапой «лихим наездникам», нациям чужеродным,

точившим зубы и когти на ее богатства. Наконец-то, Россию валят! Валят, волокут в майдан! Туда и дорога ей! В зверином вое не слышали и забыли Россию великих дел, Россию — стража и возбудителя мировой культуры, Россию — народный ум, из лесных дебрей, снегов, песков и степей собравший великое государство, под защитой которого процвели, сохранились и окрепли народы, теперь частью сметенные, частью разрываемые на части. Россию валят! Сколько великих политиков потирало руки! Сколько авантюристов предвкушало! Но занято время было войной, и казалось иным, что п о к а это несвоевременно. Прошло — и потиравшие руки молчаливо одобрили «убийство». Это было очень для них удобное «дело», удачный исход в соперничестве, развязка для легкого достижения национальных целей, в ущерб самым жизненным целям великороссийского народа, чего массы народа не сознавали, что было вовсе недорого для огромной части «политиков», по многим причинам лишенным чувства кровной связи с Россией.

Историки и философы национальных движений и революций потом разберут вопрос о национальных задачах России и значении их для мира и дадут объяснение, в силу каких причин в недрах российской интеллигенции вырос проклятый чертополох — людей без родины. Бывают дети, чуждающиеся родителей, как и птицы, загаживающие гнездо свое. Бывают и духовные босяки, человеческий сухостой, лишенный корней национального культа и национальной чести, как есть люди, не понимающие звуков и красок.

И вот, сибирский поезд политических каторжан, подпольщиков и восторженных сумасшедших, шулеров слова и мысли, своекорыстных, обиженных жизнью и затаивших злобу и просто радующихся легкой

возможности перемен, поезд выросший в апокалиптическое чудовище, обрушился на помутившуюся Россию.

VI

Разрушив верхнюю смычку сложного здания государства, свора социалистов всех мастей, безвольно направляемая изъянами их программ, невежеством и неопытностью и скрытыми указаниями крайней клики, пошла раскидывать и разметывать все, до самого основания, то наступая дерзко, то пугливо отскакивая, чего-то еще стыдясь, что-то еще проглядывая, чего-то опасаясь, что грозным предупреждением вставало даже перед опьяненными легкостью свершений и возможностей — очень не емкими мозгами. Раскидала, порою пробуя что-то строить, не веря друг другу в правительстве, подозревая измену принципам, родине, заданиям партии. То отваживаясь на крутые меры, до смертной казни включительно, столь противной любвеобильному сердцу социалиста, то вдруг ощериваясь на последний призывной вздох, на последний молящий взгляд погибающей родины: Корнилова затравили и обезвредили.

Эта постыдная травля Корнилова, выдвинутого Россией стихийно из ее недр, казака-рыцаря, которому Россия будущая воздвигнет великий памятник горя и гордости народной; эта трусливая суетливость всех перед дерзкой кучкой, которой из трусости развязали руки; этот постыдный отказ от власти, так легко и доверчиво давшейся и так малодушно брошенной, — все это закончилось, наконец позором: власть взяли, подняли власть упавшую — власть над отравленной и горячеч-

ной Россией, которую уже ничто не мешало насиловать, кто как хочет.

Но в спазмах предсмертных, давимая врагом извне, терзаемая внутри, травимая миллионами сбитых и одураченных, и опьяненных возможностями сынов своих, Россия даже в такую пору величайшего из отчаяний смогла еще выделить из себя здоровую кровь, перед которой оказался бессильным гной безумнейшей из безумных революций, революции ненациональной, революции «углубленной» безответственными пришельцами. Эта здоровая кровь — великое белое движение, порыв десятков тысяч российской молодежи, студентов и офицеров и лучших детей народа, казаков и солдат русских, почуявших вдруг нутром, что дело идет всерьез, не о классах, не о мужиках и барах, не о материальных благах, а о том, чего не взвесишь и не измеришь, чего не купишь, чего не найдешь нигде. Дело идет о родине-России, той колыбели общей, из которой все вышли голыми и в недра которой сойдут одинаково голыми все. Дело идет о высшем благе, о чести имени русского, о величии, о существе и ценности всего русского, — прошлого, настоящего и будущего, — о том, часто даже неуловимом, что может быть высказано только глубоким вздохом скорби и радости, или вдохновенным стихом поэта. О том, чего не наполнить словами, но что сольешь в одно слово — Россия.

Была борьба, были победы, удачи и неудачи, геройские подвиги и зверства, порожденные зверством тех, что еще недавно кричали яро: долой смертную казнь! Чистые ряды умиравших за родину героев и толпы появившихся в тылу шакалов, агитаторов и тупиц. Ряды святой, самоотверженной молодежи, лучшей крови России, погибающей в неравных боях, изнурявшейся от несчитанных ран и голода, и безудержные тылы уже

отравленных ядом очертиголовства, произволом начальников и пропагандой. Порывы светлых вождей — Корнилова, Алексеева, Деникина, последние напряжения Врангеля, пытавшегося удержать распад, — и явная слабость власти, неумение отрешиться от домогательств былого класса владетелей, во время крикнуть слово, народу нужное, — слово, которое должно было претвориться в дело по совести. Предательства со стороны социалистов-партийников, в страшные для армии дни рывших подкопы под нарождающуюся власть России, закончившиеся выдачей на смерть другой гордости и отваги русской — Верховного Правителя Колчака — и ему поставит Россия памятник героя и гордости — и эта великая и святая борьба за родину, борьба против великого разложения души и тела России, кончилась выходом на чужбину. Оставленная союзниками белая армия, тень и душа России, ушла из нее, и живет, и бьется, и ждет. И держит Россию в сердце.

А Россия . . . Она прошла все испытания, еще невиданные ни одним народом. Преданная, обманутая, забитая, она все еще бьется в муках. Еще проделывают над ней опыт прививки коммунизма-социализма, еще пластают и раздирают тело. И равнодушно поглядывают на нее народы. Иные приглядывают куски, иные довольтвуются дешевкой соков ее. Но Россия еще живет, живет какой-то особой посмертной жизнью. Кучка прививщиков, увеличившая свои ряды за счет очертиголовства и уголовников, проделала со статридцатимиллионным народом все, что приходило ей в голову, чтобы заставить его жить не так, как он хочет, но он все же живет — своей, недренной жизнью, для многих — какой-то странной, посмертной жизнью. Но Россия живет — в могиле. И придет время — воскреснет. Миллионы сынов ее убиты казнями по подвалам, миллионы

лучших детей ее. Побито, потерзано по подвалам лучшее, жившее сердцем родины. Миллионы хозяйств крестьянских стерты с лица земли. Десятки миллионов трудившихся на земле погибли голодной смертью. И гибнут, гибнут. А Россия еще живет, посмертною живет жизнью. Разбита и убита промышленность, побиты, бежали ее хозяева, и новый, разбойничий, вид торговли, и разбойным народам неведомый Нэп дуется гнойниками, все заражая собой, захватывая своей гангреной и самих делателей «новой жизни». Гной течет и течет, буровит и разлагает кровь русскую, и Великие Инквизиторы Человечества пытаются разложить и духовный оплот народа — Православную Церковь. Расстреляв на Руси и в подвалах тысячи священнослужителей и вождей церковных, они пытаются самую Церковь сгноить и этим окончательно отравить душу России.

И все же — жива Россия, потусторонней, посмертной жизнью. В мучениях жива, пронесших ее заветы. В сердцах и душах жива, жива в тайниках народного сердца.

1924 г.

ПУТИ МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ

Кто сомневается в праве и долге нашем думать об устроении будущей России! Все меняется на сем свете. Сроков никто не знает, время придет, и будет Россия новая.

Будем верить. И, веря, будем готовиться, будем думать. Не все мыслящие погибли, не все утратили чувство жизни. Духовно мертвы лишь те, кого не научил страшный урок России, кто все еще призывает идти размытыми и мертвыми путями.

Какие же пути называю я мертвыми?

Один путь — решительного социализма — коммунизма. О нем мы теперь в с е знаем. Его порочат и социалисты других толков, но не хотят увидеть, что и собственный их путь мертв. Не ищите у них основы жизни, — деятельной любви: живой человек, для них лишь значок в мертвой формуле — «человечество». Помните, старец Зосима, у Достоевского, передает слова доктора:

— «Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей порознь!»

Кто всех громче кричал о «человечестве» и кто всех больше истребил людей порознь?! Скажут: есть другие социалисты, у тех — любовь! А помните гамбургский конгресс? Какую резолюцию он принял? Охранять передовой форпост завоеваний мирового пролетариата. В «мировом пролетариате» потонули живые люди, отдельные живые человечки, гибнущие и погибшие, —

имена же их (а у них и лица и и м е н а были!) Ты Один, Господи, веси! Одобрили резолюцию вожди социализма, ибо — о «человечестве» у них забота. Тысячи заложников расстреляны по России за одного-двоих, имевших и м е н а — заложников, тоже с в о и и м е н а имевших, составлявших некоторую часть «человечества»... И что же! Социалисты, которые так любят «человечество», протестовали? Они протестовали по всему миру, — добились результата! — когда судили в Москве социалистов. Конечно, в своем протесте они безусловно правы: надо, надо протестовать! Но не во имя же т о л ь к о социалистов! Во имя л ю д е й, с человеческими именами и лицами, протестовать надо! А когда многие тысячи русской молодежи, культурной молодежи, всех классов! — русских офицеров, убивали и мучили, — любители «человечества» нашли ли нужным протестовать?

Это же не человеческая мораль, а мораль волчьей стаи!

Мы — люди, и у нас должно быть не волчье, а человеческое слово, Святое Слово. Из этого Слова родились чудесные основы демократизма: свобода, равенство, братство и право всякого человека раскрывать во всей полноте все возможности свои и все силы.

Идея социализма находила свою опору в христианстве, но она потеряла Бога и пошла путем мертвым.

Где свобода?! Христос учил: «Я сделаю вас свободными!» Массами командуют вожаки, а рядовая личность задавлена. Ей внушают, что она должна поступаться, — в интересах все той же массы! — для далекого «человечества» — в идее! Свободой — не в идее! — пользуются «вожди». Вожди пользуются почетом, властью неограниченной, благами жизни, и делают — при портфелях — приятное для них дело.

«Мы, — внушают они покорным массам, — призваны (кем?) руководить отсталыми массами, «хаосом», но вот когда выведем вас из «хаоса», — уж потерпите! — тогда . . . !» Когда? — Это только им известно. А что будет — тогда — не сказывают. Иногда говорят «о розах на пятом етажу» и о том, как поведал один простачок-матрос, что «все тогда будем спать . . . в ванных!» А пока до «пятого етажу» и прочего, вожди проходят свой путь спешно: у них и розы, и етажи, и ванны.

Помните почтенного дармоеда, профессора Серебрякова, из Чеховского «Дяди Вани»? Он тоже своего рода «вождь»:

— Надо, господа, дело делать! На-до де-ло де-лать!

Ну, и делал свои дела удачно.

Беспорно, демократический идеал прекрасен. Но где же осуществление?! Вглядываешься — и видишь, как духовные основы демократизма гаснут. Современная политическая мысль остро видит и подтверждает (сколько об этом книг писано!), что демократия — на распутьи, перед дорогами, перед темным лесом. Куда идем?! Массы устали верить. Массы куда-то рвутся. Да в чем же дело?! Поумнели массы. Верили массы, что стоит «дать хорошую революцию» и объявить все свободы — и чудесная демократия готова. Но чудеса не всегда бывают, и на смену старому деспотизму приходит новый, демагогический. Мы это видели. Ибо для водворения истинного демократизма требуется высокая духовная культура и высокая нравственность. Написать ведь все можно: можно и на игорном доме повесить вывеску — «вход в часовню»!

И вот, — сами идеологи демократизма все больше начинают задумываться о духовном возрождении че-

ловечества, о значении религиозного воспитания и чувства.

Основа демократии — народоправство. Но при низкой культуре масс, для управления, над массами неизбежно выдвигаются «вожди», не всегда безупречные (нравственности поучить их могут многие и многие из массы!), и демократия вырождается в «управление кучки», которая ревниво цепляется за власть, играя на слабостях наивного народа, на его страсти к равенству, пусть даже к призрачному равенству, — хотя бы в рабстве и нищете! Ну, и дают ему и то, и другое.

Водители народа говорят верно, что «без присущего массам высокого почитания «аристократических» типов людей и высших культурных ценностей (массы чутки!) немыслима демократия». Нужна «аристократическая соль»! Верно: очень нужна. Но... соль и соль! Много этой «соли» было за революцию — кусочки ее и теперь еще валяются по Европе — и мы знаем, сколь была солона она: отпиться никак не могут!

Верно, ни в одной государственной форме не встретить совершенства. Без «людей» любая форма — ничто. Чудесное вино будет чудесным — пьешь ли его из царской братины или из республиканского бокала. Все дело в людях! Не в формах дело, а в чем-то совсем ином.

Найдите сущность, повелевающую без насилия, без подавления человека, — жизнь расцветет чудесно — под всеми ярлыками. Я вижу только одну такую сущность:

Возрождение жизни на основе религиозной, на основе высоко-нравственной, — Евангельское учение деятельной Любви.

Народы — на распутьи. Всюду чувствуется тревога: куда идти?! Всюду жаждут перемен и потрясений. Падает сила права и морали, и цинизм уже не прячется под маской. Цену международной нравственности мы знаем, и «братство» народов знаем, и отношение их к России. И заметьте: руководят не мужики от сохи (если бы они руководили!), не проходимцы с большой дороги, а... «высококультурнейшие», «вожди»! И вспоминается горькое русское:

«Хорошо тому на свете жить,
«У кого нету стыда в глазах,
«Ни стыда нету, ни совести!»

Стихийно зреет протест в народах. Приходит на смену новое, и имя ему — фашизм. Это спазмы новых родов, заглядывание в свои недра, искание сил — в себе. Это сугубый национализм, родившийся из крови и ран войны, «удар по братству» народов. Это отход от «человечества» — в себя. К этому идет дело? Конвульсивно ищут выход из тупика?..

И так — три вида путей. Первый — долой императивы высшего, нравственного порядка, и пусть интересы материальные, цели производства и потребления, руководят при диктатуре пролетариата или, вернее, кучки. Второй — руководят и нравственные мотивы при власти как бы «аристократической соли». Но без религиозного оживления, без высокодуховного воодушевления, — этот путь будет взорван жаждущими благ земных, — и затеряется, отомрет.

Но намечается путь живой: устроение жизни на основе религиозно-нравственного пылания, на жажде деятельной любви. На этом пути народы должны признать, после горчайшего опыта, что есть в мире Божественная воля, перед которой, как перед Высшим Судией, как перед Идеалом, должна преклониться за-

блудшая воля человека, этого несчастного Прометея, растерявшего весь огонь. Будущее от этого зависит.

Который же путь изберет Россия?

Опыт безбожного устроения проделан. Может быть — демократия? Духовные основы ее прекрасны, но как же осуществить их? В России — средневековье, лучина, лапоть, полное бездорожье и одичание. Но души там насыщены электричеством, великою жаждой правды. Не по ним будет тепленькая мораль, и слабы будут зовы вождей демократии для оглушенного уха. Оглушенному уху нужен небесный гром, Божий Гром! Глаза, залитые слезами, лучше видят как попрана Божья Правда. Задерганная душа ждет чуда, познавши «дьявольское прельщение». Ей же иконы обновляться стали! Кресты на церквах горят! Не начинается ли великое чудо Воскресения?..

Не тем, которые отвергают религиозное возрождение, не им быть водителями русского народа. Он захочет *своих* водителей.

Но не годятся в вожди и те, которые исповедуют лишь мертвую оболочку церковности, «победоносцевщину» казенного образца. Их пути также мертвы. Слишком личное, узкое, думают прикрывать они пышной ризой идолопоклонства и, воспевая «Царю Небесный» вовсе не о небесном думают. И эти не выведут к свободной и равноправной жизни. Этих народ не примет. Получит — сбросит.

Я мыслю пути иные, ведущие к заветному царству мыслимой на земле свободы. На разгроме сразу нельзя создать его. Придется очищать почву и приводить все в порядок. И вот — жизнь потребует воли организующей, воли — власти духовного обновления. Возрождение будет, если за основу строительства взято будет подлинное Христово Слово, во всей глубине его: ни

злобы, ни разделений на умытых и неумытых, на иудеев и эллинов, на бедных и богатых. Все — граждане и все — братья, и все — одно! Только *такая* власть, только с *такими* заповедями поведет к чудесному Идеалу, о котором тщетно мечтать демократии. Власть деятельной любви и воли, покорная Богу-Слову, как Высшей Воле. Как ее назовут — кто скажет?.. Но создасться ли власть такая — ведь это граничит с чудом! Если сумеют понять духовные недра нашего народа, если поверит народ, что не обманывают его — может случиться чудо. Народ это чудо может родить из недр. Ибо Солнца жаждет после кромешной тьмы. Неба — после заливишей грязи.

Путь религиозного обновления жизни — истинный путь духовного демократизма. Иных путей возрождения не будет. Или — не будет и возрождения.

Новому поколению России, быть может, выпадет подвиг великого созидания, подвиг, как бы революционеров христианских! Откроются цели высокой ценности, родные по духу тем, каких жаждали многие поколения русской интеллигенции. Только — иными путями, иными средствами.

22. IV. 1925 г.

ГОЛОС СОВЕСТИ

Каждый год, в день Святителя Николая, 9/22 мая, Главное Правление Зарубежного Союза Русских Военных Инвалидов, обращается к русским людям с призывом о помощи самым обездоленным из нас, хранителям русской славы и русской чести. Нужно ли напоминать и ныне о нашем долге, о страданиях, о безысходной нужде? Совершающиеся в мире, свидетелями и участниками чего являемся мы все, говорит нам неизмеримо ярче и наставительней, чем слово. Мы являемся ныне участниками, по слову поэта, «роковых минут» мира, но не на пир призваны, не в сонм «всеблагих» пить из чаши бессмертия, а — это мы ясно чувствуем — призваны со всем миром как бы на Суд, ибо свершающееся в мире переносит нас из привычной обыденщины, в надмирность, в вечность, — так велики события, так невнятны для наших чувств неисследимые их последствия. Чуткость-проникновенность наша внушает нам, что мы как бы призваны к ответу: в грозные минуты жизни каждый должен быть готовым к ответу. В такие минуты слова бесцельны: их место заступают дела, пересмотр, отчет перед своей совестью. События ставят всех как бы перед лицом Судьбы. Русские люди это понимают, чуткостью своей, слышат. В такие минуты совесть особенно тревожна, требует властно, — повелевает. Мы знаем это, мы видим это. В эти дни, дни Страстной недели и Св. Пасхи — наши храмы были переполнены; давно не бывавшие у ис-

поведи — каялись и необычно щедро русская душа, при всей нашей бедности, отзывалась на доброе. В такие минуты душа выпрямляется, готовится: не надо увещаний, слов: совесть повелевает неуклонно, — воображение, пробужденное совестью, ставит перед глазами чуткий символ страдания русского — измученного, жизнью, забытого миром — увечного воина, — инвалида. Нужно ли взывать о помощи, будить совесть? Да ведь этот образ нашего страдания, нашего одиночества, нашей забытости — никогда незакрывающаяся рана! Какие еще слова нужны, когда неутолимая боль в нас, когда мы все стоим перед лицом Судьбы, когда, быть может, уже некоторые из нас уже призваны к ответу?! Ответим же твердо и прямо голосу нашей совести.

«ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ»

Прочитал в статье г-жи Кусковой: 1) «в России не осталось камня на камне от прошлого»; и 2) «в революционной лаве, вулканически выплеснувшейся в 17 г., рядом с отвратительным шлаком есть и драгоценный металл, из которого будет строиться . . .» и т. д.

Статья спокойная, как будто, но под покоем чуется движение, удовлетворение победой. Так в омуте — пройдет вдруг чуемой лишь дрожью, но глаз уловит, как в глубине метнулось что-то, сглотало — и пропало.

И так — завоевания: полный разгром, «вулканически выплеснувшаяся лава» и — «драгоценный металл». Слышен пафос: «ворочались пласты», «вулканические события», «революционная лава, вулканически выплеснувшаяся», «драгоценный металл», «новая биологическая порода», «абсолютное умерщвление прошлого», «преображение» . . . Крепко. Правда, старая водичка, от «светлых дней», но милое не скучно. Слышится акафист: радуйся! . . А под величавой гладью —

—« Думаете — уцелело что-то? Камня на камне не осталось!».

И пробегает струйкой недовольство: иллюзии еще питают, в прежнюю Россию верят, — а и камня от России не осталось!

Добились, значит. За пустяками дело: «поверьте, ничего же не осталось, и покоряйтеся! Идемте «засыпать ров», сплавляться с «вулканически выплеснувшимся драгоценным металлом!».

Программа завершена. Еще в 70-х годах писали — просвещали:

«Вы — краеугольные камни будущего строя, рабочие-герои! А мы, интеллигенты, ни к черту не годны. Мы, дворяне, все дрянь! . .» («Хитрая Механика»).

«Эх», — «дрянь» писала, — да подожди, проснется народ, да скинет с плеч своих выносливых пьяниц-бар да кулаков и заживет тогда припеваючи!» («Хитрая Механика»).

Скинул. А как припевает, про это читай Мельгунова — «Красный Террор» и статистику побитых голодным мором.

«Министры с боярами (!), фабриканты и помещики, все монахи лицемерные, все мучители народные, все получат воздаяние за грехи свои тяжелые. Всех сотрет народ с лица земли — и потом заживет припеваючи!».

Опять — припеваючи!

«Не сдержать клетке орла могучего, не сдержать тюрьме добра молодца . . .» («Четыре Странника»).

Сбылось. Поотворяли все клетки и все остроги, — и «драгоценный металл» выплыл.

«Эх, мы уедем, братцы, на Русь-Матушку, мы пойдем будить православный народ: «Уж вы встаньте, встаньте, мужички черные, вы почуйте свою силу могучую! Поднимайтесь, православные, как божья гроза, уничтожьте всех своих недругов . . .» — и, конечно, — «заживете припеваючи». («Четыре брата»).

Спели. Сбылось: «вулканическая лава излилась», «драгоценный металл» поднялся. Продолжение следует . . .

Выполнено отменно, и потому — вулканическое: пласты, лава, извержение, преображение . . . Пьяниц не стало, мужички живут припеваючи, камня на камне не осталось. Дальше что? Не выполнена еще программа?

Очевидно, еще не выполнена: за «грамотками» —

вулканические статьи. Воинственны — и идут по-казачьи, *лавой*. До трех миллионов еще не обращено в «православные» и в «припевающие». И не слышно аплодисментов.

«Да признайте же, что камня на камне не осталось! Мужики живут припеваючи, «драгоценный металл» излился.

Аудитория безмолвствует.

«Идемте же засыпать ров . . .!»

Или страшно идти одним? Или — жутко таинственное молчание? . .

Попробуем разобраться: куда это так упорно приглашают?

От прошлого камня на камне не осталось. Верим.

Церковь? Осквернена. Читай «Черную книгу» — и узнаешь.

Царь, род Его? Знаем. Читай Соколова, Дитерихса, Жильяра . . .

Миллионы молодежи русской — истребили? миллионы народа «низового»? Самое слово русское, — растлили? Знаем.

Это тоже — «завоевания». О них молчат. А вот — «выплеснутый вулканической лавой драгоценный металл» . . .

Проверим его свойства.

В статье находим:

«Помню . . . в 1918—1921 гг. различного рода «кампании» . . . По сбору вещей, хлеба, людей на фронт, людей на работы, людей на просвещение, по сбору налогов . . . на каждую находилось множество людей с поразительной, дьявольской энергией, шмыгающих по России в мороз и бурю . . . новых, бодрых, подвижных до головокружения».

Видали и знаем все. Знаем энергию обезьян над

чурбаном, и «головокружительную» — сумасшедших. И «по сбору вещей» — насильников всякого калибра, с дьявольской энергией. Не они ли — «металлы драгоценные»?

Знаем — и «по сбору на работы»: загнали стариков, девушек гоняли чистить нужники и потешать красноармейцев. Бывало — народ жалел. Не гоняли ли эти — «металл-то драгоценный»?

Знаем и «людей на просвещение» — безграмотных нахалов и наглецов, бездарных подхалимов и каторжан, грозивших «осветить мозги». Знаем просвещение «металлом», погубленную школу, сотни тысяч ребят, бредущих не весть куда, учительниц, забитых, отданных на издевку хулиганам. Пусть читают «Шкраба» (XXIII кн. Совр. Зап., ст. Талина).

Знаем и людей по сбору продразверстки, огнем и мором прошедших по России. Показали дьявольскую энергию расстреливали мужиков «в мороз и бурю». От иных коммунистов слышал: ужасались! Или это «драгоценные металлы»?

Знаем и людей, «шмыгающих по России». Шмыгали с дьявольской энергией, из горла вырывали, сбрасывали с вагонов под колеса, дрались на крышах, насиловали за фунт хлеба, «снимали» из винтовок. Знаем орды до зверства доведенного народа. «Драгоценные металлы»?

Но почему же забыты те, с дьявольской энергией, трудящиеся так, что «на четыре вершка» ходили в каше из волос, костей, мозгов и крови? Об этом говорить не любят. Читай, читатель, очевидца! («На Чужой Стороне», кн. XI).

Почему же . . . — «ни один диктатор теперь не сможет повторить ни Плеве, ни Столыпина, усмирителя революции 1905 года»?

Два миллиона расстерелянных — известны или не известны? Или — казненных Столыпиным и Плеве принимают одного за тысячи теперь казненных? Другая цена крови? Подешевела? Таких не будет? Есть! есть злейшие, сотни неизмеримо злейших. Бэ, ла Кун, Дзержинский, Землячка, Лацис, Петерс, Зиновьев, Троцкий, симферопольский Михельсон, Урицкий, Володарский, Свердлов... — и сотни им подобных, на местах? Места нет на Руси, где не было б диктатора, перед которым и Плеве, и Столыпин — совсем младенцы! Тяжело писать об этом.

Вы, призыватели... вы боролись с режимом царским, искали Правду. Я верю в пробужденья, — но почему теперь зовете к примирению или — к забвению, что ли? к «засыпке рва»? Нет у вас искры прежней? «ненависти святой» и пыла? Почему же тогда не звали? Почему вы теперь — за «христианство»? Почему же теперь руку протянете на помощь, если будет тонуть хоть Троцкий, как заявляли? Радовались же, когда бросали бомбы, тех убивало, ненавистных?..

Да когда же смолкнет эта болтовня соблазна? когда же, наконец, закончат отравление последнего, что остается — веры в Правду?!

Меня не соблазнить сиренам, но кто не знает — может думать, что у нас никогда и не было ничего драгоценного, что нужно было «извержение вулкана». Скажу для этих:

Россия богатела, могущества ее страшились. К 1923 году завершался план всеобщей грамотности. Росла культура. Ложь, красное словцо, конечно, что за время царского правления культуры не давали массам. Голая ложь политиков бесплодных, статистиков упорных. Культуры по приказу не бывает — «всем, всем, всем»! Культура проникала постепенно, слепому гла-

зу незаметно. Веками творят культуру, а не брошюркой, не «ударным фронтом», не «людьми на просвещенье», «до головокруженья подвижными». Русская культура шла упорно, непрестанно, как соки под корою. Лучших выдавал народ культуре, сростался с ними. Кто знал состав студентов, воспитанников средней школы, техников, курсисток, механиков, сотни тысяч ремесленников, мастеров; кто ездил по России не для шмыгов, — тот знает, сколько было подлинных детей народа. Экономическая мощь росла гигантски. Темп Европы замедлялся. В ином Россия обгоняла даже Штаты. Сам Прокопович писал об этом, почтеннейший ученый. Высший по роду класс слабел и таял. Земля переходила к землепашцам. Столыпин проводил реформу великого масштаба. Новая кровь вливалась из низов в верха. Из глубин народных вышла промышленность, торговля, — от мужика. Земства, школа, государственное дело, армия, наука, само искусство — высшая культура — все, получало свежие притоки — от народа. Пусть имена считают, статистику «притока». Россия была народней многих «демократий».

А духовная культура! Культура познается не техникой, не изготовлением только милинитов, смертогазов, стакилометровых орудий, треском речей, братоубийственным порывом. Где было больше — человеческой культуры? Где было столько приютов, больниц, училищ, богаделен, клиник, «странных» домов, — во-имя? во Имя Божие?! Где столько капиталов оставлялось по духовным на Божье дело? Вот она, культура, а не «детдомы»! Знают ли находчики «металла», сколько богоугодных и всяческих гуманных учреждений содержалось именами и средствами Российского Двора? Сколько сиротства, старчества, убожества (слово «некультурного» народа, от «Бога» — слово!), прикрыто

было именами ненавистными? Знают ли огромный, великолепный «Ксениинский» приют, в Москве, для сирот ссыльных, политических ссыльных даже? А теперь — где дети от расстрелянных, где миллионы детей, — при «металлическом» режиме?! Сгорели? пошли на «шлак», как вулканически, теперь привыкли выражаться?

Не было культуры в массах! — говорят. В каждом городишке вам называли имена, рассказывали чудеса о «добрых людях». Исстари ведется. Прочтите у Ключевского! А имена — российских? Ляпины, Третьяковы, Бахрушины, Шанявский, Солдатенков, Лямин, Солодовников, Голицыны, Шереметьевы, Базановы, Алексеевы, Лепешкины... перечесть нельзя. А по Сибири! Где было столько благодетелей, стипендий, столько жертв от «неизвестных», капиталов городских и земских, — на школы, на приюты, на стариков, на бедных девушек-невест, на бесприютных, на сирот, на вдов, глухонемых, слепых, калечных, инвалидов, матросов?.. Сколько революционеров вышло из даровых жилищ, вскормилось на стипендии «дающих»?! В благодарность — их... куда?! Это вот — культура! А верстовые корпуса «домов» — вдовьих, воспитательных? Целые улицы тянулись — в приютах и больницах, «клинические городки»... А храмы по России? Только-только памятники начинали ставить: Божье Дело не отпускало! Где все это? Статистику имеем? Этим наши статистики не занимались, — некультурным делом! Все шло неслышно, величаво, полно, как русская великая река. Без перебоев, мерно. Куда спешить? Долго жить России, еще увидят. Зачем шуметь? О Божьем Деле не кричат.

А наше офицерство, которое травилось искони, истреблялось нещадно, ненавистно? Кто они, — до мил-

лиона! — втянутые войной под погоны, «извержением» — под «мушку», в пытки? Больше половины — дети крестьян, мещан, казачьи, рабочих, — русского народа! «Статистикам» известно это? Кровь «низовая» — «верхнюю» пока забудем — на кого падет?..

И этого-то прошлого — камня на камне не осталось! — говорят нам бодрое.

Я хочу спросить: где же этот «драгоценный металл», который мы должны признать, в сплав, с которым нас приглашают на разгроме? Эти, «по сбору вещей, людей...»? с дьяволовой энергией? Их теперь признать за «соль» России?! «Подвижных до головокружения»? Пытателей, убийц, воров, насильников, кокаинистов, венериков? Или — «шкрабов» несчастных, или подхалимов, продавших душу, или — спекулянтов на крови, на чести, на Кресте? или — растратчиков и лихоимцев, чем полны советские газеты даже? Самодуров и дураков, перед которыми бледнеют все ненавистные для «признающих»: Держиморды, генералы от Щедрина, Кит Китычи и помпадуры, Сквозники и Пришибеевы, все Хлестаковы и Кречинские, все Чичиковы, ростовщики?.. Это ли — «металл»? Или жеребцы, с половой сферой планетарной, люди-кобели? И об этом пишут в «советских», и им-то омерзило, портить начинает воздух! Комсомольцев и пионеров растленных, растлевающих, — несчастных? Да где же «драгоценные металлы»?!!

Камня на камне не осталось? Человека не осталось! А что осталось из ценного, —лежит подспудно, на глубине, и страждет, отгорает неприметно. «Новая биологическая порода» лезет? Признать ее, такую? С нею воссоздавать Россию?! Да что же это, обмолвка или... залихватскость? Или, просто, признается факт? А Россия... не была ли — фактом? Почему

же ее не принимали, лучшую и чистую неизмеримо? Теперь — признать «остатки»? Из гнили ... возрождать Россию? Нет. Если только гниль, только «драгоценные металлы», — лучше пусть сгорает.

Подлинная драгоценность есть — Россия, в недрах. Она не кружится, дьяволовой силы не проявляет. В нее мы верим, ею грезим. Верят в нее и те, грешившие, теперь сознавшие ошибки и преступленья. Им простит Россия. С ними, непримиримыми, не призывающими на «засыпку рва», кто бы ни были они по прошлому, — Россия примирится, если они ее хотят иметь, Россию чистую, Россию Правды, а не Дьявола, не «драгоценного металла».

Есть здесь, за рубежом, Россия, прошлая: выплавлена огнем войны, боевым страданием за родное, мукой. Она не подалась под ковкой красных кузнецов, не распылилась, не перегорела. Это — наше, молодое, русское, безмерным, от начала мира еще невиданным страданьем очистившееся от подлых шлаков, что т а м. Этот металл не сплавить с «дьявольским металлом», «драгоценным». «Драгоценный», если не сгорит в угаре, провалится, откуда выплыл в «вулканически выплеснувшейся лаве». Для сплавки с т а к и м — рва засыпать не будут, ибо из такого сплава выйдет только «шлак». Не о засыпке будут думать, а дожидаться новых «извержений», если уж пошло на вулканизм. Будут «изверженья» — и «драгоценный» сгорит мгновенно, обратится в золу, как дьявольский, или — практичней — пойдет на те работы, с которых сорван, — на добывание полезного металла, в рудники.

Ноябрь, 1925 г.
Париж.

КОЩУНСТВО

«Собирают ли с терновика виноград или с репейника смоквы?»

Матф. VII, 16.

Время безбожное и бесчеловечное, во всех смыслах: от иконоборчества до презрения к человеку, не смотря на пышные вывески. Но — стыда ли еще остатки или привычка к костюму, — что-то не позволяет оголиться. Еще не вычеркнуты законы о святотатстве и кощунстве. Святой Чаши, конечно, не признают, но из каких-то соображений за плевок в Чашу, пожалуй, покарают. Двуличие или — как угодно... — но чего-то еще стесняются. И вдруг, прорвутся и выкинут такое, что... Всемирно, национально выкинут, — и никакие «лиги» не воспрепятствуют. Ибо нет еще Лиги «защиты святого в человеке». Выкинут — и, на оценку честных людей, одним-то жестом все свое гордое зачеркнут, одной-то каплей всю свою светлоту измажут.

Помнится мне из детства: был у нас во дворе негодяй, Ленькой звали, — у бабушки жил-кормился. Выла от него старуха. Какие только гадости не выкидывал. То, вперед похдебавши, во щи ей давленного клопа пустит, то лестовку псу на морду накрутит, а раз, помню, в лампадку, фотогену налил. Зажгла бабушка лампадку, — пламя до потолка, насилу потушили. Всем двором Леньку драли, сапожник шпандырь принес, не выбили из него беса: попал Ленька на Хитров Рынок. Но дальше лампадки не осилил. Подучал его студент

ветеринарный: — «стащи-ка ты у бабки икону самую чтимую, в лучину на самовар пусти, а потом и скажешь — чуда-то вон не вышло! — а бабка Бога-то с чайком выпьет!» — но Ленька не одолел, страшился.

В наше время «Леньки» страшиться перестали, ходят не в обносках, а во фраках и лаковых штиблетах, и не лупоглазые вовсе Леньки, а самые ясноглазые и «европейцы»! Есть и такие, что гордо именуют себя миссионерами культуры, оплотом европейским — от Востока. Странная эта вещь — свобода! Оглушает. Только-только успели самоопределиться, облечься в государственную форму самой последней марки, — схватились за удавку. Всем давимым это хорошо известно. Народные меньшинства — школу, язык, церковь — дави удавкой! Игра в великодержавность или — раба повадка? Меня давили — я теперь в кулаки махаю! «Младая кровь играет»? Неблагородно, некультурно, но могут и исправиться, пожалуй: вино проспится — и все забудут.

Но есть жесты, какие исправить невозможно, как нельзя вернуть девства. Бывают акты, вскрывающие такой гнойничок духа, что как ни душись — гнилье доносит. И все благородное — насмарку. Бывает это в жизни людей, бывает и с народом. Вдруг проявит такое и так динамитно-звучно, что века протекут, а в истории акт остался — для честных людей и благородных наций.

Вот уже другой год мир телеграфно оповещают, как в Варшаве глумятся над православным собором, русским: ломают, взрывают, распыляют. И собор — уже не Дом Божий, где предносилась Св. Чаша, а образ угнетения народа! И его — таранят. Все забыто: Христово Слово, великие идеалы, божеское в человеке, святыни человека. Другой год таранят всенародно.

Редкое зрелище — на всю христианскую Европу.

Ломали — не сломали. Динамитом рвали — не взорвали. Особенные машины заказали — тараны святотатства и кощунства. Не растаранили. Мину взорвали — не сорвали: стоят стены. Позор длится. Теперь решили: «стрижиные гнезда» пробуравить, заложить дробящие патроны — рвать кусками. Долго еще читать будем, как нация себя динамитно аттестует.

И уже сокрушения читаем. Сознали, что нельзя так... грубо. Глумиться над святыней? Нет: действовать так небрежно, взрывать вслепую. «Уники» взорвали! Четыре колонны из оникса, неповторимых. Конечно, неповторимых. Только России по силе было: создать неповторимые колонны, привезти из Америки в Варшаву. Как неповторима созданная арабами «Альгамбра». Но ее не растаранили испанцы.

Нехватит силы у гордого народа. Хватило на кощунство, на тараны. Нехватит — на колонны. Надо было чуть поосторожней. Продать колонны — и все бы тараны окупились, и казне осталось. Так и пишут. Ихние газеты пишут. Практично, мудро. Но... в азарте, конечно, проглядели: себе в убыток. Но... творчество молодого государства, неопытность, горячность...

Что уж тут говорить много? Без нас сказали: тараны, взрывы. Глухие не услышат.

Но вот что добавить надо.

В азарте мести — запоздалой мести — все забыто. Забыто, что та Россия развеяна по свету, лежит в могиле. Но грохот таранов слышит. Забыто, что светлые ее силы, что всегда стояли за освобождение народов, разметены по свету, но взрывы слышат. Забыто, что разбросаны по свету дети и внуки тех, что лет шестьдесят тому боролись в рядах восставших. И эти слышат. Забыты сотни тысяч русской молодежи, павшей

за освобождение народов. Кости их тлеют близко, кости слышат! Все, все забыто. И вот когда лучшее русское, потерявшее родину, ищет по свету Бога, жмется к святому камню, ищет следов России, перед его глазами христиане — братья громят Дом Божий; таранят стены, стирают во прах святыню. И сокрушаются; что не продали колонны. Но можно продать кусками, пустить на вазы!..

Так вот, это. Это уже плевок в Св. Чашу. И сделано всемирно. Это тот самый жест, что вычеркивает все святое, — начало новоселья! Жест благородный, гордый? молитва к Небу?

Сердце народа знает: не будет счастья. Не благословением в жизнь вступили, а кощунством, плевком в Бога. Но есть Правда, жувущая в сердце человека:

«Мне отмщение — и Аз воздам!»

Не будет счастья.

Ноябрь 1925 г.

Париж.

ЗАБЫТЬ ПРЕСТУПНО!

Недавно мне пришлось услышать о наших инвалидах. Что они живы — это лишь случайность. Есть горсть людей, в которых бьется сердце, и эти люди собирают, просят. Но они бессильны: 5000 инвалидов! — безногих и безруких, ослепленных, отравленных, страдающих от ран, от голода, от бесприютства, безразличья. Мимо них проходят, не замечают. Разве их увидишь! Боль и горе жмутся по щелям. Разве услышишь со снеговых высот, на Шипке? из лесных ущелий Вышеграда? с малярийных местечек Греции? Да где их нет?! В Германии — в сквозных бараках, на православном кладбище Берлина, в Польше, в Турции, во Франции... Нужда во всем: от обуви, рубахи, хлеба, — до ноги, руки, лекарства. Не говоря о ласке, о состраданьи. Эти потеряли все. Осталось одно — сознание, что за Россию это.

Можно ли их забыть?

Но есть, кто ничего не помнит. Богатые союзники — забыли. Победнее — кое-что дают.

Но мы-то забывать не смеем. Мы не смеем ждать, что кто-то даст, прикроет раны. Эти раны — наши. Каждый обязан помнить, на стене повесить приказ себе: не забывать о ранах! Многое забыто в жизни. *Те* — забыть не могут, что их забыли: их раны и увечья кричат бессрочно. Их одинокость, бездомность — всегда при них, итог служения за Россию. С 14 года бились. Наш долг сказать им: помним, вы — при нас!

В Париже 50 увечных, а мы не можем сделать им протезов, дать угла! Разве не позорно видеть старика, зимой, который дремлет где-нибудь в метро на лавке или в столовке, головою в руки, — коротая день? Его ночлежка Армии Спасения впускает к ночи, и старик уходит с 7 утра — бродить. И это — генерал. Ну, а не генералы?! Куча просьб, молений: дайте ногу!

Средств нет.

Сейчас идет работа по устройству «Дня Помощи» — русским инвалидам, всюду. Этот день придет, и мы ответим. Это — в мае. Сейчас зима. Подходит Рождество. В эти дни душа особенно тоскует. В эти дни сиротство, заброшенность, — ужасны. Вспомнят: был когда-то Праздник . . . Теперь — без крова, безо всего, чужбина, раны. В эти дни особенно ценима ласка, братское участие, отклик: помним, связь не порвалась! найдем и на высотах Шипки, и в болотах!

Все мы должны исполнить долг, за родину. Она не может — мы ее заменим. Обязаны. Это долг нашей чести, русской чести: да не покажут пальцем — «вот, своих забыли»! Тут ни политики, ни расхождений. Тут — во имя той России, какую мы когда-нибудь найдем, России — нашей колыбели и могилы. Ею мы связаны, и звенья связи — наши инвалиды. Надо отозваться горячо и сколько в силах. Себя урезать! Этим мы станем крепче и бодрее.

В память всего, утраченного нами, дорогого; в надежде обрести Россию; во имя чести, — отзовитесь! Если не растеряли сердца, если мы не камни, если еще мы русские и помним *наше*, — мы отзовемся, не можем не отозваться братьям. Бога найдем в душе, Рожденного, и будем возрождаться — во имя возрождения России.

Вспомним же несчастнейших из всех несчастных русских без России. Вспомним без промедления, сейчас же. Забыть — преступно!

Ив. Шмелев — член Бюро при Центральном Комитете по устройству «Дня Помощи русским инвалидам».

Париж.
28 декабря 1925 г.

ПОДВИГ

Вечная память павшим в Китае русским героям.

Было время, когда жертва жизнью во имя Добра и Правды считалась героизмом. Человечество хранит память о доблести и жертвенности — «во имя». Памятники сему стоят по всему миру. Крестовые Походы. Борьба «за свободу», увлекавшая красотой цели очень многих, борьбе совершенно непричастных: американская борьба за независимость, увлекшая многих европейцев; борьба за освобождение негров; борьба за воссоздание Италии. Байрон и греки. Герои романов и трагедий, баллад, поэм. Борьба за освобождение славян. Борьба буров... Борьба за высокочеловеческие цели, за Культуру, — восхищала, и ее участники — часто люди со стороны — не считались «авантюристами», «наемниками», «ландскнехтами», «торгующими своею кровью».

Но вот, на этих днях, мы явились, при посредстве телеграфного агенства, свидетелями подвига за Правду, за Культуру, за идею. Горсть офицеров, белых русских офицеров, самоотверженно билась с красными полчищами в Китае и, покинутая всеми, дралась, до последнего патрона. Дралась на глазах благоразумных европейцев, тысячами засевших с пушками и пулеметами за проволоку, под прикрытием грозных броненосцев, на своей, так называемой «концессии», и не пошевельнувшихся, когда перед их глазами их бывшим союзникам, никогда им не изменявшим, русским офи-

церам, — рубили головы, втыкали на штыки и носили, как торжество.

Кто эти русские офицеры — мы знаем; не могут не знать и европейцы. Они боролись за честь России, спасая и Европу. Боролись с Красным Интернационалом, воплощением Зла в мире. Вынужденные оставить родину, они унесли с собою несломленную идею — свою Правду. И вот, когда Красный Интернационал, разжигая пожар в Китае, уже угрожает миру, эти русские офицеры в китайском океане не остались только свидетелями: они вступили в борьбу с беспощадным своим врагом и, сражаясь в рядах китайских националистов-белых, — сражались за *свое* дело, за свою Правду, за поруганную Россию, за христианскую культуру.

И вот, картина потрясающая, можно сказать даже — небывалая!

Вооруженные по последней военной технике, с броненосцами, газами, аэропланами, пулеметами, пушками, двадцать тысяч здоровых европейцев благоразумно окопались и ощетинились на своем добре. Засели и объявили — просто-коммерчески:

— Не троньте нас, и мы вас не тронем. И ни в чем вам мешать не будем. Можете вытворять, что вам угодно: рубить кому захотите головы, — и сколько захотите! — надевать на штыки, носить; убивать, жечь, насиловать, — а мы умываем руки. Если к нам будут прорываться, ища защиты, мы будем отнимать оружие и выгонять на расправу к вам, — только нас не трогайте, и мы договоримся. Мы приехали торговать и промышлять, а не воевать. Если не очень шумно, можете погонять и, вообще... наших миссионеров, но только мы должны вывезти в безопасное место наших детей и женщин, а с не нашими можете...

Словом, все, что нам хорошо известно — по России.

Уже девять лет льется русская кровь, и всячески расхищается Россия, а народы, считающие себя культурными, помогают этому расхищению и убиванию. Девять лет террора и рабства, а виновников неслыханного в мире зверства культурные народы признают себе равными, всячески с ними договариваются, приглашают в гости и скупают у них *чужое*, добытое разбоем. Это в порядке вещей и вошло в нравы европейцев. Идеалы забыты и опрокинуты, хотя памятники еще стоят. И вовсе теперь не странно, что европейцы и пальцем не шевельнули, когда перед их глазами, перед их броненосцами и пушками... рубили головы русским офицерам, когда-то бившимся и за них, сидящих теперь за проволочными сетями: лишь бы не трогали их самих, устроившихся на своем скарбе.

Удивительно не это. Скарб для современного европейца — все. На этом стоит — или сидит — современная культура.

Удивительно другое.

Когда горсть русских офицеров, наших братьев и сыновей, которым уж и деваться некуда, вступает в последний бой под невидимым *своим* знаменем оскорбленной российской чести, защиты последнего святого, что есть у человека, — Правды, которая так ясна, вступает в борьбу отчаяния на чужой земле, отдавая последнее свое — жизнь, и *зная*, что уже не увидит победы, которая придет когда-то, которая *должна* прийти, — вступает в последний бой, чтобы доблестно завершить полную ужаса и муки смертной скорбную жизнь свою, — в это время находятся люди в Зарубежье, находятся органы печати, вольно или невольно искажающие благороднейшее движение души, извращающие истинную цену пролитой крови! Вот что и удивительно, и страшно. Людей долга и подвига, со-

хранивших в скитаниях честь и благородство русского имени, павших в борьбе с Красным Интернационалом, чумою человечества, — называют «сохранившими до конца «верность знамени» Чанг-Чун-Чанга» (!) — «борцами за «правое дело» (именно так, в кавычках!) китайских генерелов»!..

Вот это — страшно.

Так расценивать жертву русскою кровью в мятущемся Китае, давать такое наименование жертве за высокую цель — Идею, пользоваться высоким подвигом для политических состязаний в слове, в мелкой борьбе на месте... — это надо называть воистину удивительным и страшным, и чуждым совестливой и чуткой печати русской.

Пожалеть надо, но не так. Не так, как пожалели некоторые мира, из нарда чистого, драгоценного, который возлила женщина на ноги Христа.

«Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала!» (Матф. 26, 13).

Отдали жизнь свою, приняли муки, «возлили миро драгоценное»...

Практикам — это недоступно.

Надо пожалеть, что еще и еще пролилась драгоценная русская кровь, пролилась на чужой земле. Надо щадить ее, надо хранить ее бережно героям до дня, когда потребует ее для себя — Россия. Но нельзя не понять высоких побуждений, о которых не говорят, которые проявляют подвигом, — страшным, простым, как смерть! Те, отдавшие жизнь за Правду, не могли поступить иначе, оставаясь верными до конца. Когда мудрые европейцы сидели, окопавшись, на чужой территории, на своем добре-скарбе, русские «неразумные» изгнанники, русские белые офицеры показа-

ли перед всем светом, как и за что надо биться и умирать, если ты человек, а не торгаш. И, сражаясь под знаменем Чанг-Чун-Чанга, сражались под своим знаменем. Сражались за свое, — и за человеческое — а не «за «правое дело» китайских генералов»! Им — честь, а позор тем, кто сидит на своем добрескарбе, за проволочной сетью, смотрит, как рубят головы, и умывает руки, продолжая привычное — до конца.

Более потрясающего примера самоотверженности и благородства — и, с другой стороны, благоразумной черствости и расчета невозможно себе представить.

Наше время можно назвать, поистине, — величайшим духовным мелководьем. И если бы не являлись по временам в этой бездушной человеческой пустыне примеры высоких душ, надо бы было сказать бесповоротно: кончилась великая обедня, пришел базар!

Март 1927 г.
Севр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если мы совестливо вдумаемся, сколько мы получаем радости или просто даже удовольствия от нашей литературы, от новых и новых книг писателей наших, какое важное место в нашей жизни занимает русская печать, мы не сможем остаться равнодушными к тому, как живут наши писатели и, вообще, деятели печати нашей. Если еще читатели не знают этого, так пусть узнают: живут в труде непосильном, бедствуют. Наш Союз Писателей и журналистов тщетно бьется, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить, смягчить это бедствие, прикрыть наготу деятелей печатного слова. Читатели-друзья! Неужели все мы будем спокойно ждать того поистине черного дня, когда писатели уже не в силах будут творить, деятели печати перестанут освещать жизнь осведомлением, газеты и журналы прекратятся? Это будет позорным бедствием для всех нас.

Сегодня, 5 мая, в воскресенье, в 20 ч. 30 м., в зале Рамо, 252 Фобур Сэнт-Снорэ, Союз Писателей и Журналистов устраивает 2-й музыкальный праздник, памяти Пушкина. Первый такой праздник превзошел все ожидания, зал был переполнен. Пусть это повторится! Будут поставлены сцены из опер: «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане», «Мазепа», «Пиковая Дама»; и — блестящие русские балеты, все — в исполнении прекраснейших артистов.

Отзовитесь, читатели, на приглашение Союза. Поддержите деятелей печати.

5. V. 1927.

«СНОВА НАПОМИНАЮ ВАМ...»

Так обращается ко всем нам Глава Зарубежной Церкви Митрополит Евлогий:

«Снова напоминаю вам о наших инвалидах, снова прошу протянуть им братскую руку помощи».

Просит Пастырь!

Просит Комитет Союза Инвалидов, печать, деятели общественных организаций, писатели...

Просит — «во имя чести» — свое правительство, за русских инвалидов, депутат Палаты Mr. Pierre Taitinger. Его статью — „Une dette sacrét", в „National", (№ 17) «пасхальную», надо бы знать всем русским. Сильная достойная статья!

Вот — выдержки:

«Русские инвалиды войны приняли страдания не только за Россию, но и за все союзные державы. Мало того, что отдавали за нас кровь: они пожертвовали за нас кровом! И если они теперь дрожат от стужи в неведомых лачугах, где-то далеко от родимых изб, то это потому, что не захотели соучаствовать с большевиками в измене; потому, что сохранили верность нашему делу, наперекор всему, — верными остались, вплоть до изгнания, до истощения, верными — и это, увы, часто! — до... смерти!

«Американцы, англичане, итальянцы, французы, — все мы связаны с ними долгом чести, священным долгом. Кончилась война — для нас. Для них не кончилась. После траншейной, красной, войны, они продол-

жают черную, — с нищетой. И все еще ведут борьбу за нас, все еще за нас страдают, забытые, неслышно».

«А знаете ли, сколько держав услышали призыв междусоюзных комбатантов — придти на помощь русским братьям по оружию?»

«Три. Только».

«И эти три — из самых слабых, из беднейших».

Эта исключительная статья — ответ француза, благородного француза, на полное достоинства и горькой правды письмо генерала Н. Н. Баратова, председателя Зарубежного Союза Русских Военных Инвалидов.

Mr. Pierre Taitinger кончает:

„Nous demandons de payer la dette d'honneur contractée par notre pays".

Так говорит француз — за русских инвалидов.

Ну, а мы как скажем? Мы, связанные с ними Россией, кровью, общим нашим горем, жизнью бродяг в Европе, — мы что скажем?!

Мы скажем наше:

«Наши инвалиды — носители российской чести!»

Но, не надо слов: мы знаем все.

Все мы здесь связаны походом. Пять тысяч инвалидов с нами. Можно ли в походе забывать своих и — лучших?

Надо помнить долг. Помнить — кто с нами в лагере и на походе. За сутолокой жизни часто забываем. Помнить, хотя бы один раз в году, — 9/22 мая, Св. Николая Чудотворца, — «День Инвалида»! — день священный, день о них, страдания которых так понятны благородному французу.

А — нам? . .

Пять тысяч. Больше.

После годов страданий, часть инвалидов, в славянских странах, стала получать поддержку. А сколько не

получающих, неслышных?! Вспомните недавний случай: доблестный генерал, в черной нужде, в болезнях, в дыре парижского отеля, забытый, одинокий, на глазах у всех! Слава Богу: пришли на помощь...

Каждый день жизнь ставит новых инвалидов. Каждый знает, сколько трагедий происходит. Умирают и оставляют семьи. Читаешь письма — и бессильно никнешь. Сколько зажатых слез, рыданий, никем неслышимых, решений, страшных, жутких мыслей!.. В шуме городов мы забываем: жизнь относит...

Надо помнить!

Раз в году, 9/22 мая, в день Николы, Главный Комитет Союза Русских Инвалидов устраивает сбор повсюду, зовет на помощь , 22-го — воскресенье — парадный сбор повсюду, зовет на помощь. 22-го — воскресенье — парадный оперный спектакль в Трокадеро; 27-го блестящий бал-концерт — в Palais des Invalides. Выпущенная газета «Русский Инвалид», на этот раз особенно внушительный по материалу и объему, — на десяти страницах, — лепта писателей: 3 франка — инвалидам! Купите! Все купите!

Сохраните на память детям, внукам, — о черных днях, о братском единении в походе, о бродячей жизни «помиру» — во всей вселенной! под ветрами великих государств!..

Не забывайте, отзовитесь! Все и всем, чем — в силах.

Бедные люди лучше помнят. Их сердца всегда тревожны, лучше слышат. Им нужда понятней. Бедные люди много принесли, по франкам. Мы знаем это: из газет, из приношений. Они-то отзовутся. И стыдно как-то обращаться к ним. Да и не нужно обращаться: знают!

Пусть те, которые имеют больше, — откликнутся. Те, к кому жизнь оказалась благосклоннее, пусть хоть за это будут благодарны, поделятся своим достатком. Ведь мы — в походе.

В походе — начальники порядок держат. Но наш поход — особый: мы без начальников и без приказов. Совесть для нас начальник, и наша воля. Ее приказы — точны. Без нее мы — стадо, людская пыль.

«Снова напоминаю вам» . . .

Это слово Церкви. Надо его услышать и понять.

Государства у нас здесь нет. Будь государство, — нас бы обязал Закон — нести повинность. Государство учитывает слабость воли и совести — и принуждает. Кто же нас принудит?! Только мы, мы сами, наша совесть. Иначе — что мы?!

И — Россия. Жива ли Она в нас еще? Слышим ли голос скорбный: вы все — одно!

Помните: «долг чести» — написал фарнцуз! Для нас — долг чести, крови и — России.

И — слово Церкви:

«Снова напоминаю вам . . .»

19 мая 1927 г.

Севр.

«К ПИСАТЕЛЯМ МИРА»

Я прочел обращение группы русских писателей из Москвы — «К писателям мира», этот, как бы подземный, стон. Прочел обращение Ив. Бунина — и присоединяюсь к нему всецело, — и в нем слова: «Да где же вы, «совесть мира, прозорливцы»? .. «У меня горит лицо от стыда за себя, за свою новую, может быть, напрасную попытку . . .»

Воистину, страшное явление. Скоро десятилетие угнетения русского народа коммунизмом, а не помнится случая, когда бы раздался голос писателей в мире, их возмущенной совести. Молчание, как в пустыне. Слышались голоса приветствий, голоса извиняющих «ошибки». Правда, теперь эти голоса, за редчайшими исключениями, примолкли. Теперь, вообще, молчат.

Что же все это значит? Почему писатели мира так поступили и так молчат, словно и нет ничего, что могло бы тревожить совесть, и не было?!

Было время, и совесть мира была тревожна. Помнятся случаи, — и не столь трагичные, как с Россией, — и тогда «совесть мира», писатели, — протестовала, возмущалась. Почему же теперь — молчание?! Или заснула совесть? или весь мир — пустыня? и вопль оттуда, и русские голоса отсюда, — лишь «глас вопиющего в пустыне»? Почему не слышат? почему «чуткие» не чуют? почему, десять лет — молчание?!

Необъяснимо. Непонятно.

Быть может, нет уже в мире совести? Быть может, она утрачена и теми, кого мы, русские, называли и теперь еще называем «мировой совестью»? Или ошибка это — называть так писателей! Но так научили нас. Научили те, кто являлись мировой совестью, во все времена и у всех народов, кого почитает мир. Или, лучше сказать — кого почитал мир?.. Если бы мир и писатели в мире чтили и постигали величайшую «Совесть Мира», не молчали бы годы, не дожидались бы вопля из могилы.

И все же, помня глубокое: «толцыте, и отверзется вам», верные тем путям, что указаны Величайшими прошлого, и с ними — нашими Величайшими, Толстым и Достоевским, стражами чуткой Совести, — будем напоминать о совести, будем взывать в пустыне:

Проснитесь, отзовитесь! Вспомните, что несете великое и ответственное, как понимаем мы, русские, чудесное звание — писатель! — вознесенное Величайшими всех веков. Есть у вас Величайшие. Или они забыты, и вы отказались от наследства? Тогда перестаньте считать Великими духовных вождей своих. Перестаньте считать Великими славных доселе в мире. И назовите чудеснейшее во всей мировой литературе — чуждым и непонятным вам!

Июль, 1927 г.
Газ. Возрождение.

«ПОХОТЬ» СОВЕСТИ

Стыдно уже взывать, обращаться «к миру», повторять, — в какой уже раз! — «избитые слова» — воистину, избитые! — о том, как мол, не стыдно людям, — и не дикарям, как будто, — отмалчиваться, когда перед их глазами вот уже лет десять... и так далее, — конечно, о России... Но наша больная правда не может примириться и продолжает кричать: очнитесь!

Все слова сказаны, мир знает. Знают, какая была Россия и какой стала. Знают, как и кого спасала, что дала миру; знают, что над ней делают вот уже десять лет, и как делают. День-изо-дня почитывают, как убивают там, пачками, без суда. Знают, что огромный, полуторастамиллионный народ попал в положение скота на бойне, хуже... Знают, молчат — и только.

Мы уже претерпелись к такому бесстыдному равнодушию — и сами, как будто, отупели. Весь мир охватила какая-то... вялость сердца? Кажется: сделай теперь с Россией, ну что угодно... взорви ее всю и истреби поголовно всех ее жителей, до грудных младенцев, — мир отметит только — «стихийное явление» и двинется на очистившееся место — раскапывать.

Да что же случилось — с совестью?

Говорят: война притупила нервы... вот, отдохнут, тогда!.. Но прошло уже девять лет, — пора бы уж, кажется, очнуться.

Для облегчения совести, — так сказать, частной совести, — для введения ее в русло, чтобы не расплес-

кивалась напрасно, созданы «лиги» — и между прочим — «лига защиты прав человека и гражданина», с тысячами отделов. Можете быть спокойны: за вас скажут, и авторитетно скажут!

И что же эти ... конденсаторы совести?! Они — восемь лет ... молчали! Я помню — они заступились раз за одного провинциального учителя, уволенного за что-то с места ... за женщин, в ... Китае, кажется ... Но за миллионы казненных бессудно русских граждан, человеков ... — заступки не было. Вот, за убийство Войкова в Москве расстреляно без суда двадцать «заложников» и расстрельщики объявили об этом миру. По всей России прошла и еще проходит — и уже десять лет не кончается — обычная «мера устрашения». А — мир? .. А — »конденсаторы совести?! Отписались. Ни митингов, ни «остановок движения», ни процессий-манифестаций, ни мощного голоса «Великих»!

Можете продолжать!

Вот, уже больше месяца, в некоторых европейских газетах все-таки напечатали обращение группы русских писателей оттуда, — «к писателям мира», подлинный крик отчаяния, истинный голос из могилы: «Вы, чуткие, отзовитесь!» Спят «чуткие». О том, что они проснутся, не слышно что-то. Запомни это, бедный русский писатель, замордованный русский человек ... запомни! Это называется — «европейская культура»! Но слышны все-таки голоса — мудрых: «А если через наше вмешательство еще худшие репрессии применят к этим беднягам?!» И — так мне писали из одной европейской страны, страны культурнейшей, — «собрание журналистов и литераторов раскололось и не пришло ни к чему! Может быть еще соберутся, потолкуют ...» Из другой европейской страны — кажется, еще более культурной, — мне пишут: «Наши «демократические»

газеты, — пишет иностранец, — пожали плечами, только. Не хотят беспокоиться. Европа поправилась, она опять сыта, не хочет расстраивать себе нервы. «Солнца мертвых» не видно слишком живым, живучим. Разве только ударит гром над собственной нашей головой — тогда услышат. Наш писатель . . . дал одному своему роману заглавие — «Вялость Сердца». Вот что!»

Да, вот что: «вялость сердца». Болезнь человеческого сердца?

Приходит иногда в голову: а не от того ли отчасти это, что . . . русская совесть перестала тревожить мир? Живая была совесть. Мудрец из Ясной Поляны тревожил мир. Ушел. Угас великий очаг человеческого духа-света; из мира ушла Россия! Бывало, она будила. Правда, будили и другие.

Вспомним недавнее, когда совесть была — живая. Письмо Золя: «Я обвиняю . . .» Золя обвинял. Толстой, по другому поводу, кричал на весь мир — «Не могу молчать!» Эти знали для чего их авторитет . . . Совесть сияла в них, и они освещали спящих. Теперь говорят «лиги», действуют на демократических началах, — говорят от имени «масс», действуют механически, безлично, безыменно, — и считаются с ними куда меньше, чем с отпиской из канцелярии.

Вспомните «дело Дрейфуса». Тысячи-тысячи статей, памфлетов, тысячи книг, сотни тысяч петиций и протестов, миллионы подписей, тысячи собраний по всему миру. Все сколько-нибудь влиятельные писатели, ученые, политики, депутаты, академики, корпорации, общества, члены парламентов, партии, социалисты всех стран, священники, философы, телеграммы, каблограммы . . . — радио тогда не было. А в России что было, помните? Волновались университеты, ученые общества, академики, профессура, адвокатура, маги-

стратура, гимназисты... народные учителя, педагогические курсы, педагоги, земства, биржевые общества, городские думы, комитеты... Даже школьники городских училищь, союзы поваров и ресторанные лакеи — и все посылали телеграммы. Какие были речи, статьи... Какие поражающие итоги этой борьбы за правду, за доброе имя одного, и с ним — за честь целого народа, его народа! Тогда «мировая совесть» одержала блестящую победу...

Теперь — что видим?!

Не волнует судьба великого народа, когда-то столь отзывчивого на человеческую неправду. Судьба — могила стапятидесятимиллионного народа — не волнует! Вот награда за трепетную совесть. Не смущает «мировую совесть» десятилетие наглых издевательств над целою страною, десятилетие убоя миллионов; не пробуждают спящих замогильные голоса и стоны; не возмущают надругательства над целым светом, над человеческой совестью...

Запомни это, отринутый русский человек, замордованная Россия! Это — современная европейская культура, демократическая культура!

Вот, например, дело двух итальянцев-анархистов, Сакко и Ванцетти, обвиненных в убийстве и ограблении. Проснулась совесть!..

Да что же такое с совестью?..

Ее можно, как будто, встряхивать, и она начинает шевелиться?... Начинает кричать неистово, начинает безумствовать... Бурные перебои в ней. Словно... жгучая похоть охватывает совесть!..

Встряхнули, как-то встряхнули совесть, — и совесть закричала в гаме. Газеты всего мира вот уже две недели держат нас в курсе, до мелочей, до подсчета

дней голодовки осуждённых, — го-ды умирания с голоду в России — подсчета не дождались! — до минут, часа, когда приехал палач, до восклицаний радости, что палач неизвестно куда исчез, до сумрачного утра, когда вышел судья из дома, когда защитники принесли — в какой уже раз! — протест, когда . . . и так далее. Во все концы мира разносит радио, по миллионам квартир, последние вести о . . . Сакко и Ванцетти. Сыплются петиции, протесты, телеграммы, письма, угрозы, статьи, запросы . . . десятки бомб разрываются там и сям и калечат и убивают ни в чем неповинных . . . Бешенство совести . . . Проснулась, наконец, совесть — и как проснулась! Расталкивают королей и папу, президентов, диктаторов, писателей, академии, ученых, синдикаты, конференции, партии, даже сестер и теток покойных президентов, знаменитого Линдберга, мать, потерявшую героя-сына, — все сгодится! Являются смехотворные «добровольцы» — сесть на электрический стул за осужденных, останавливаются заводы, шахты, прерывается движение поездов и пароходов . . . световые сигналы режут ночное небо, секут небо . . . — проснулась совесть! Многотысячные митинги шумят на улицах, идут на приступ. Десятки тысяч жандармов и полицейских во всех широтах стараются удержать бушующее море проснувшейся человеческой совести. Пулеметы и артиллерия готовы к делу. А телеграммы летят, а газеты гремят в набат, а бомбы взрывают подземные дороги, а посольства страшатся нападений . . . — проснулась совесть! Ради ли двоих бедняков только? Нет, конечно. Ради . . . поруганной правды, говорят все, ибо . . . проснулась совесть! И своего добилась: одержала временно победу. Слава Богу. Во имя высокой цели можно принести и жертвы — сотню-другую раненых и убитых бомбами. Ведь — проснулась совесть! . .

Странно проснулась странная эта совесть. Проснулась — с бомбами.

Но... как же это?.. Проснулась — и не видит, что там все еще продолжается. Не видит, что там не двое итальянцев-анархистов дожидаются казни, которой, Бог даст, не будет, а миллионы за десять почти лет уже дождались бессудной, подвальной казни, и еще миллионы, миллионы же дожидаются бессудных казней... и не видно конца сему, и проснувшаяся так бурно совесть не протестует... короли и диктаторы не посылают дружеских телеграмм, и нет ни петиций, ни делегаций, ни протестов, ни манифестаций, ни митингов, ни забастовок, ни бомб... — не проявляют себя никак носители такой совести! Оттуда взывают к «мировой совести», к «чутким из чутких», к писателям мира, — и... молчание и молчание, как в пустыне.

Да что же с человеческой совестью?! Ведь не двое итальянцев-анархистов, а великий народ, сто пятьдесят миллионов — в кровавом деле и — на кресте! Народ, который в годину войны народов спас — знает это история! — не один народ; который дал же кое-что миру, а не только уголовно прославился; который внес в человечество может быть не одну чудесную идею, богатства которого, — его труд — наполняют великие мировые сундуки и все еще продолжают наполнять... — и такое глухое отношение!? Что за странная вялость и странная бурность сердца, — такие перебои?!

Тут все смешалось. Но есть и немножко сердца. И ясно: оно испорчено. Все это — яркая клиническая картина его болезни, его порока. Не долго оно протянет.

Живое отмирает в мире? угасает духовное? умирает культура духа?

Умирает, ясно.

Совесть... Отмирая, как будто вспоминает она былые функции, и вдруг механически — бурно взметнется спазмой. Она уже труп, почти. Через нее пропускают ток, и, гальванизированная, она начинает судорожно биться. Это уже механические движения, и эти порывы — последние спазмы отмирающего высокого человеческого движения — любви? Любви уже нет, любви, дающей новому человеку жизнь: осталась похоть, бесплодная, убивающая похоть.

Август, 1927 г.
Ланды.

КАК НАМ БЫТЬ?

(Из писем о России).

Иногда я получаю письма, написанные болью за Россию, всегда волнующие, порой очень горькие, безоглядно указывающие на виновников небывалого разгрома, полные убежденности, что — «теперь, уцелевшие и сохранившие еще силы бороться за нашу поруганную родину, мы должны вдуматься в наше прошлое, решительно покончить с «идеалами и фетишами» так называемой прогрессивной, или передовой русской интеллигенции, в сущности безнациональной, — должны познать подлинное свое, творить и хранить его».

Редкое письмо не заключало в себе вопроса: «как нам быть?» Давались и решения:

«Надо выработать основы 'заповеди', как и за что стоять, свято поверить в них и осуществлять только их, чтобы не тратить бесплодно сил».

«Мы должны отбросить вопросы 'вечные' и 'проклятые', над чем больше века трудилась наша радикальничавшая интеллигенция, требовавшая 'прямых ответов'; должны покончить со всеми этими рассуждениями о 'правде-истине' и о 'правде-справедливости', чем щекотали мозги досужливые люди, мучившие себя вопросом — 'имеем ли мы право погружаться в искусства, в науки... получать образование на деньги, выколоченные с бедного народа, пребывающего во тьме?' — это образование получавшие, сидевшие в редакционных креслах, поджигавшие на политические убийства, тайно рукоплескавшие им, из безмерной 'любви к народу', будоражившие 'народ', толкавшие

молодежь на дело смерти и, в конце концов, столкнувшие Россию в пропасть!..»

«Мы должны решать наши вопросы, близкие русской жизни, наше должны познать, а не весь свет любить и за него терзаться, — терзается он за нас? — укреплять наше, не отделять 'народа' от России, принимать всю ее, со всеми ее классами, не отщелушивая все лучшее, что выделяла страна веками на всяких поприщах. Только, укрепив 'поле русское', попробуем засевать и 'мировое поле', если семена найдутся, если суждена нам 'миссия'!»

«Наша миссия — возрождение России. Снова и снова — подвиг, подвиг нового созидания России, в поте и крови монаха и солдата, вечных русских подвижников! Вот наши идеалы. Не самоуверенность политиков с провалившимися программами, не любование своим идеализмом перед целым светом, не прикрытые пафосом патриотизма чаяния 'вернуть свое', а великое послушание России, великое за нее стояние!»

«Где духовные вожди, наши?! Сколько их было у 'отцов', и куда привели они!.. Почему не руководили лучшие? почему осмеивались достойнейшие? Надо 'разрыть могилы', надо воздвигнуть лучших, услышать непонятый их голос. Есть они! Они же Россию создавали, указывали пути светлые. Тихие их лампады манили ее из тьмы. 'Огни мира' сожгли ее. Как же нам быть?!»

Я отвечал вопрошателям. Я чувствовал, что они мучаются всем этим, что они ждут совета. Меня смущало, что я не имею опыта в решении государственных и исторической важности вопросов, да еще при таком разгроме, при таком-то провале идей и идеалов!; — что я не мыслитель, не политик, не проповедник и не судья тяжких и роковых ошибок поколений. И все же я от-

вечал посильно. Я понимал, что новое поколение жаждет нового наполнения и новых идеалов, что без идеалов оно существовать не может: оно же русское поколение! Мне было ясно, что мои вопрошатели отвергли специалистов политики и «проклятых вопросов», что эти специалисты для вопрошателей — банкроты, что иные из них, как бы и виновники разгрома. Я должен был отвечать хотя бы для того даже, чтобы утишить огонь сжигающий. Я чувствовал иногда по письмам, что святой огонь, которым горели души лучших людей и поколений, еще горит в опаленных и оскорбленных, лишенных родины; что не «прометеев» это огонь, а чистый огонь России, огонь жертвы, любви и веры, — огонь от ее лампад. И не «проклятые» вопросы ставятся, а воистину это крик страдания. Я начинал постигать, что теперь, над всеми «проклятыми» вопросами былого, поднялся — святой вопрос, что этот святой вопрос — о бытии России. И, преодолевая сомнения, отвечал, прислушиваясь к душе России — к душе вопрошателей моих.

Чтобы не повторяться, я счел полезным выступить как бы с общим ответом вопрошателям. Я не считаю эти мои ответы-письма исчерпывающими. Это как бы мои беседы. Я имею перед собой не искушенных в «государственных опытах» знатоков, а искренно мучающегося собеседника-друга, большей частью из поколения, выросшего в войне и разгроме, отдавшего себя в жертву за Россию, близкого мне по духу, — из того несчастного поколения, которое не видало улыбки и ласки родины, которое «у чужой притолоки слонится», воздухом чужим дышит, но которое страстно хочет увидеть лелеемую в мечтах Россию, хочет найти ее и крепко ее беречь.

Вот для этих, сердечно близких, и пишу я, посиль-

но хочу ответить моему многоликому, но единому в духе вопрошателю.

I.

Ваше письмо, полное горечи и боли, какое-то исступленное местами, — особенно там, где вы проклинаете «виновников», — взволновало меня искренностью, исканиями и кипеньем души вашей. И чрезвычайно обрадовало. Не страстность, не пыл раздражения обрадовали, — далеко не все справедливо в обвинениях ваших, — а ваш духовный запас обрадовал, ваше «не поддаюсь!» — ваше страстное чуяние России и жажда ее познать (пусть п о к а через изучение написанного о ней) — вера в нее — после в с е г о! — вот что меня обрадовало. Этого-то как раз и нехватало огромной части нашей интеллигенции, в России жившей и так мало знавшей ее. Я поражаюсь, сколько в вас пламенной тяги к ней, любовного к ней горения, словно вы в ней одной соединили все чарования невесты, матери и сестры, все восторги, не отданные вами л ю б и м о й, которую вы не знаете... которую только ждете, которая должна быть, д о л ж н а б ы т ь суждена вам! Вы ее любите страстно-больной любовью, какой матери любят незадачливого ребенка.

Много больного в ваших словах о н е й. Много трепета и огня, священного, чистого огня. Вы еще не любили в жизни. Ваши любви не нашли себе выхода, наливались и увядали, сожженые. Именно — ч и с т о г о огня, несмотря на всю грязь и кровь, на все ужасы, через которые вы прошли, борясь неустанно и непрестанно, не поддаваясь, веря. И сохраниться таким, каким я чувствую вас в письме, «девственником», — как рыцарь, который «имел одно видение, непостижимое уму», — сохранить себя при т а к и х условиях, беспричаль-

ной, бродяжной жизни, в работе под землей, в глуши, без единственной близкой, живой опоры, при убивающем дух сознании, что кругом, по всей Европе и по всему миру, никому, кроме раскиданных соотечественников, нет никакого дела до нашего! Все против нас. В нашей даже среде — сколько есть против нашего, сколько разъединителей и гасителей воли и веры нашей! А вот, не угасает воля, не умирает вера. Вы живы и под землей, в черной и душной шахте, и, как рыцарь былых эпох, верным остались Той, прекраснейшей из прекрасных, которая ни одной улыбки не подарила вам, которая не ваша, за которую вы приняли столько мук.

Понимаю вас, когда вы говорите:

«Если бы не она — мучающий меня так сладко ее призрак, в котором и погубленная моя невеста, и бедная моя мать, и мои пропавшие без вести сестры... если бы не последняя моя вера, что Россия все еще где-то есть — и будет! — давно бы с собой разделался!..»

И еще:

«Во имя ее прошлого, во славу ее будущего — страдаю. Но дайте, дайте живого дела!»

Видите, вот уж и идеалы. А вы с таким отчаянием сказали: «Над всеми 'идеалами' — крест!» Не обойдетесь без идеалов. Многое придется отвеять из «идеалов», выправить и ввести новые идеалы, придется и в самой русской интеллигенции отбор сделать и выяснить, чем была передовая, как вы называете иронически, русская интеллигенция, и какою она должна бы быть; но без идеалов, без окрыления и озарения жизни — ни жить, ни творить нельзя.

Об этом мы еще побеседуем. А пока укажу вам на авторитет, называемый и великим, и национальным,

называемый так почти всеми, даже несхожими с нами в отношении к нашему, — чтимый теперь, как святыня культуры нашей, — на Пушкина. Приведу чудесную его веру, — она-то и в вас горит:

«Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
(На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества).»

Правду этой, Пушкинской веры вы должны чувствовать очень остро. Разве вы чувствуете — пустыню? разве ваша душа — без божества? Нет, пока в душе — она, вы можете еще молиться. Вот — правда и вера Пушкина, заповедь его, национального, нашего Учителя, которого мы еще мало знаем. Читайте и перечитывайте его. Он весь — национальный. И, весь национальный, полный национального, он и занациональный, он — всякий, как Достоевский открыл его. В нем как бы знамение будущей России, ее возможностей! И вот, это его вещание — главнейшее из основ бытия всякого народа. Это — религиозное. Это — религия, духовная связь с родиной. Это — национальный идеал. Это глас Божий в нас. И это он в вас, с самого вашего рождения, с первой каплей молока матери, с первым звуком родного слова, во всех чувствованиях ваших, во всех грезах. Это весь опыт прошлого, корни прошлого, отсветы

солнце прошлого, освещающие нам путь, с истоков родины нашей, с первых, детских ее шагов — до торжественно-властной поступи в истории народов! Это голоса славных гробниц наших, заветов и заклинаний тех, что пали за дело родины. Эти голоса наполняют духовное наше существо. В этих беззвучных отзвуках слышны и шепоты надежды, и укоры, и мерцанья-грезы из снов далеких, и мудрые веленья... Это — история. Это песнь, вещая песнь России, вещий голос чудесных ее Певцов, их «глас пророков». Это — мерцающие лампады у гробниц, опаляющие огни великих испытаний.

Великое богатство предков, их опыта, — навеки связало вас, и ведет, если вы подлинно кровный, ихний. Вы — кровный. Вы чутко слышите зов заветов, вещания голосов подземных. Они, эти голоса, слышимые через Великих, чуемые инстинктом, шумят непрестанно в вас, стучат в вашем сердце кровью, ведут на страшные испытания, поддерживают ваш дух надеждой, шепотом в вас влюбленной, рвущейся к вам России. Почему — тоска? Да потому, что она, единственная, к вам рвется, болью своею знает, что вы отдали за нее... потому, что она вам дороже всех миров. Вы связаны с ней навеки, и она с вами связана. Связь неразрывна и по смерти!

«И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать!»

Здесь — тайна родины, родины; — тайна тайн. С вами Она, всегда. Беззвучный шепот и зов ее — на вашем бездорожьи, под тяжкою землею, в шахтах. Этот — родины зов беззвучный — и в вашем письме ко мне, и в трепете вашем страстном, и в про-

клятьях ваших, и в молитве... в единственной молитве — за Россию!

Ваша неправда мне человечески понятна. Проклинаете, угрожаете, судить хотите?.. Оставьте маленькое, не опаляйте духа. Для творческого дела храните святой огонь. Злое коварно прельщает вас — растратить себя впустую. Соберите себя, готовьтесь к выдержанной борьбе. Духовно вооружайтесь: придет время.

Я понимаю, как кровоточит рана...

С первого курса университета — в войне, три года боевой жизни, раны, опять на фронте, борьба за Москву, два героических года белой борьбы, раны, эвакуация, Галлиполи... Вы все прошли. И столько потеряли!.. Лично потеряли.

Потеряли невесту. «Забыла...» — пишете. Отца вашего, скромного педагога, расстреляли. Вашего брата забрали в красную армию, — он застрелился. Мать выгнали с последнего клочка, и она умерла с голода, от горя. Сестры не дают о себе вестей... Да, вы мученик. И ваши проклятия «отцам», не всегда справедливые, оправдываются тем «адом», который в вашей душе, в котором вы прожили лучшие годы ваши. Вам 32, семь лет вы в боях, дважды пробита грудь. Теперь — под землею, бьете киркою в черную стену шахты, как раб, работаете на бывших врагов, близких по прошлому, за чью свободу ваш дед проливал кровь под Плевной! Вы часто бьетесь , — пишете вы в письме, — «этой незадачливой головой в душную стену, черную, как вся моя жизнь!» И вот, после всего такого, вы сохранили любовь к Единственной, сохранили чудесное — вашу веру!..

Вы чудесный идеалист. Всей своей героической жизнью — эти тринадцать лет — больше, чем

жизнь! — вы доказали, что «идеалы» не пустое слово, что они двигатели, что с ними нельзя покончить. Идеалы вели и «передовую» русскую интеллигенцию, и с ними она не могла покончить и, думается, никогда и не покончит. Другой вопрос, насколько все эти идеалы были необходимы, ценны, — насколько связывались они с главным Идеалом. Не было ли пустой работы и, что ужаснее, работы во вред и гибель — Ему? А без идеалов . . . как же? . .

Вы во многом правы, когда так страстно вините «отцов», «вождей». Но зачем — огульно? Не *вся* интеллигенция русская была такою. Были и верные направления, законнейшие течения *русской* мысли, здравые государственно-национально; но, роковыми путями, не вобрали они в себя *главные* силы русского общества и растратили свой огонь впустую. Нет, не впустую, впрочем: от них-то и светится в вас *огонь*; от них-то и разгорится пламя! *Они не созрели к сроку*...

Вы обвиняете «вожаков-отцов» в легкомысленном отношении к России, в непонимании — *чтó есть родина*, в беспочвенности, в отсутствии патриотизма, в рабском подчинении «европе», в стыде за отсталость нашу, за нашу историю, за угнетения втянутых в нас племен, за корыстный захват пространства, с которым мы не в силах будто бы совладать, за легкомысленные мечты о «мире», за фальшивое «христолюбие» и «богоношение», за «мессионство» . . . Вы обвиняете их в стыде за *такую*, «отсталую», «Великую Россию». Вы обвиняете их, что они *отказались от наследства*, от колыбели, качавшей их. Вы обвиняете их в самолюбовании и гордыне: «на целый мир замахнулись», — это вы так о левой интеллигенции, — «о вненационально-мировом *обществе* возмечтали, а

что дали, что из России сделали!» Вы обвиняете их в корыстном захвате власти, во властолюбии, в безверии, в рабстве мысли, в поклонении «фетишам», в непонимании национальных ценностей, в погоне за призраками, за решением «астрономических» вопросов, вместо того, чтобы постигать смысл и ценность родного «чернохлебья». Вы обвиняете их в трусливости, что не вышли с вами на Сатану, что оказались терпимыми к Сатане, признав кое-что своим из его программы, поверив в добрую его волю, досадуя на его «ошибки». Вы обвиняете их в ненависти к ошибкам былой власти, которые они называли «преступлениями». Именуете их слепцами, неспособными видеть великого роста родины, которую они проглядели всю, не желая видеть великих достижений, пугавших и изумлявших мир.

«Предать — такую!!»

Вы во многом правы, частично правы. Не вся наша интеллигенция такова: неоднородна она, разноголоса в главном, без скрепы «великим стержнем». Она и теперь разноголоса, она и теперь без «стержня», и потому — бессильна. И вы, новое поколение, чудом каким-то проявившее крепость воли, имеете право обвинять ее в дряблости. Вы, проявивший чуткость к беззвучному голосу России, имеете право обвинять их в слепоте и глухоте, в нечуянии «почвы». Вы имеете оправдание: вы показали жертвенность, превыше программ и разнобоя поставили вы Россию, кровью купили право судить, ибо и вашу кровь, и кровь миллионов братьев, неповинных ни в чем решительно, — «пустили» — как говорите — «на подливку к чертовой каше, которую приготовили из России отцы-вожди, — для кого?!» Не с «народа» же спрашивать! И мне понятно, что после таких-то нечеловеческих страданий, «как каторжник в рудниках, работая из-за горсти бобов,

стискиваешь бессильно зубы и бьешься незадачливой головой в душные угольные стены!»

«Пусть же раздумаются 'отцы' над этим!»

Они раздумываются. Лучшие из них уже давно раздумываются, и... — с вами. Оплакивают, и так же бессильно бьются незадачливой головой об душные стены... мира. Они сознают ошибки. Непримиримы к неисправимым будьте.

Вы сильны, и терпеливо выслушаете меня. Я обвинять не буду только для того, чтобы обвинять. Я буду и оправдывать «отцов».

У многих из них сердце облито кровью: их дети — мученики. Вы и сами обмолвились: «да что проку в моем непрощении и суде! Основоположников-то разгрома, пожалуй, и нет давно. И безлики они, как была безлика для них Россия. Останется для суда — камень, разбивший чудесный Лик, осквернивший святое в Ней. А тело... сверлят и пожирают черви. Червей не станешь судить: их растоптать, только!»

Не только «отцы-вожди», — эта законная делегация народа, интеллигенция: придется поговорить и о правителях.

Пишу вам не для того, чтобы искать виновников: надо познать ошибки и преступления, чтобы не повторять их.

Вы избрали, по моему, верную дорогу: познать причины, основные причины «краха» и подвести фундамент под будущее строение. Вы начали с познавания России. Необходимо знать историю России; познать, что не простая это история, а как бы священная история, совершенно особенная, чем история других европейских народов, — вторая священная история, как была когда-то первая; —

история со *своей* Голгофой! Об этом мы побеседуем особо.

Вы перечитали Ключевского, «Россию и Европу» Данилевского, славянофилов, Герцена, Константина Леонтьева; — «открытие!» — говорите, — «все у Достоевского, что написано им о 'русском'...» Все это очень нужно. Большинство русской интеллигенции интересовалось больше историей европейских идей и особенно — революций. В мое время историей *русских* идей и идеалов интересовались одиночки. Большинство же так называемой «революционной», или, как вы иронически называете, — «передовой» интеллигенцией — увлекалось по русской истории *критикой*, стыдилось «взлетов двуглавого русского орла» — «хищного» орла! — к «шелеста знамен русских». Для *этой* интеллигенции в истории России приятнейшими страницами были разве «вольные Новгород и Псков»; «Боярская Дума»; споры ученых, — была ли «конституция» при избрании на царство Михаила Романова; бунты Стеньки и Пугачова, «проявления масс»; — и темнейшими пятнами являлись эпохи Николаев и Александров, — расцвет России. С увлечением *остротцой*, прочитывались книжонки, сработанные для пропаганды, — о «тайнах Российского Двора», о разврате Петра, о юбках Елизаветы, о любовниках и фаворитках, об интимностях переписок, о подробностях умерщвления царей, о «расхищениях народного достояния Самодержцами», об угнетении «народа», о подавлении самодеятельности и независимости племен, «стоящих на высшей, чем мы культуре», о поражениях России... — хулу и пошлость, *мелочи исторического сора*. Можно сказать, пожалуй, что большинство нашей — партийной и политической — интеллигенции, считавшей себя передовою, было недовольно русской историей и

не сказало бы так чудесно, как сказал когда-то в письме к Чаадаеву мудрый и благородный Пушкин:

«...клянусь вам честью, что ни за что на свете я не хотел бы ни переменить отечества, ни иметь другой истории, как историю наших предков, такую, какой нам Бог ее послал».

Вы читали Герцена... Да, он очень подчас стыдился... и даже извинялся, что он — русский! И очень неприятно извинялся. Мы наклонны к самооплевыванию. Было и раболепство перед «европейским», и зависть к европейской истории, к революциям и крестьянским войнам, к ее эффективности. Наша история... — какая «простота», какая «будничность»! Теперь мы имеем — эффективнейшую, наикровавейшую из всех историй...

Вы ознакомились и с идеологией русского образованного слоя. Досадно: в освещении пристрастном. Покаявшимся «отцам» следовало бы самим осветить «путанные дорожки», написать теперь «критику русской общественности», при свете полученного «эффекта». Вы делаете вывод: «какое рабство перед 'европой'!» Да, плохо. Плохо, что без критики поклонялись, пересаживали, не приготовив почвы, в священном восторге пересаживали, упуская из вида первейший из идеалов — идеал Родины, знание своей почвы, неразрывную связь с прошлым, с «гробами предков», — родину подменив отвлеченным понятием «народ».

Вас возмущает и «болтовня философов», ложных философов. И меня возмущает иногда, как же не возмущаться вам?! Вы — участник дела, жертва, истекали кровью, борясь со Злом, видя его воочию... — а они — «блаженно-самовлюбленно плавают и полощутся в легком теченьи мыслей... упражняются в диалектике, словно играют в теннис!» Они «играют в мыс-

ли». Не обращайте внимания, пусть играют. Слушайтесь вашей совести, не спорьте с ними, не возражайте им. Это, своего рода, — спорт. Не возмущайтесь «куриною слепотою» их, ничего не осмысливших, не знавших боя, рассматривающих Зло, как философскую категорию, и горячо порицающих, «с точки зрения христианской», сопротивление Злу мечом.

«Как они смеют, — пишете вы, — осуждать меч на Сатану, меч — Крест, когда они ни меча не держали, ни ран от него не получали, ни Сатаны не видали и даже верят в него, как в 'философскую категорию', а Крест для них только условный символ?!»

Какое до них вам дело? Пусть себе осуждают, пишут. Скользите мимо играющих.

Величайшей ошибкой было, что наша интеллигенция, за редкими исключениями, не дерзала критиковать все то, что прельщало ее «идеей», казалось новым: — жила импульсами. Она прислушивалась к «философам», принимая «процесс» за истину, и крики часа сего — за вечное. Вдохновенно-страстно бежала она по крику и горячо возмущалась, что правители не внимают «мудрецам».

История европейских «идей» обильна примерами того, как возвещенное «мудрецами» раскалывало передовые массы любой страны. Для нас в этом было роковое. Наша интеллигенция получила в короткий срок множество всяких «идей» и «категорий», и, скороспелки, запутались мы и расщепились. Мы расщепились глубже и пагубнее, ибо мы, скороспелки, ходом нашей истории обречены были догонять. На нас, не имевших крепкой, национальной, почвы, многоплеменных, поставленных судьбою между Западом и Востоком, обильно высыпались «идеи». И эти «идеи» раскололи, расплющили зарождавшуюся единую ос-

нову, — помешали образованию крепкого, национального, русского ядра. Вот тут-то, в несложении крепкого национального ядра, в расщеплении сил лучшей части народа, в центробежности этих сил, — и лежит главная причина свалившегося на нас разгрома. Тысячи «проклятых» вопросов раздирали русское образованное общество. Множество сил ушло на «прямые ответы», на разрешение этих вопросов, часто далеких нам, когда требовалось железной жизнью, сущими интересами России ставить единый, святой вопрос — укрепление бытия России.

Вы пишете:

«Предали нас, своих детей . . . уводя от России в мир, водя по миру, чтобы в конце концов пустить и Россию, и всех нас — по-миру! Любя всех, в сущности не любили никого. Не познали России и не научили и нас познавать ее. Мы узнали ее сами, да! Мы встали за нее по инстинкту, сохранившемуся в нас от веков связанности с нею через предков, через их кровь-труды, через что-то в ее истории, от ее воздуха. от ее природы, от ее хлеба, — по инстинкту, в нас крикнувшему — спасай! — как часто бывает в жизни, когда угрожает любимому смертный час, когда любимый где-то, далеко где-то, — и вот, защемит и захолонет на сердце. Они, ведущая век интеллигенция, любили призрак, а не живое тело, не живую душу России».

Да, вы за нее встали — по инстинкту. Вы почувствовали Россию. Вы не познали ее реально, любовнейшим изучением ее, непосредственным проникданием в нее, — у вас не было времени на это, — но вы восприняли ее через душу постигших ее творцов, великих национальных, наших, — Державина, Ломоносова, Пет-

ра, Крылова, Пушкина, Гоголя, Тургнева, Лескова, Тютчева, Мельникова-Печерского, Менделеева, Достоевского, Толстого... и многих-многих, — через истинно полноправных представителей России, слушавших трепет души ее. Вы постигли ее через великих собирателей ее — от Александра Невского до Петра, Екатерины, Александров, — через сподвижников их, через подлинное национальное, а не «европейское», — и вы полюбили Россию детскою чуткостью, взяли ее — инстинктом. И за нее боролись. Вы полюбили не «народ», как почему-то была влюблена наша «передовая» интеллигенция, а всю ее, не делимую на сословия и классы, вне всего преходящего, связанную со всем и всеми, что в ней, и на ней, и с ней, что было у ней, что есть, что будет. Полюбили так, как любили ее Великие... как любили ее и цари... да, цари... как любит, не сознавая того совсем, и весь народ русский... и, запоздало, — многие теперь русские интеллигенты, даже с «программами». Вы, герои, полюбили ее и отдали за нее все, — за светлую, грезящуюся вам Россию, за Белую Россию, — не за могильный саван ее, а за белые пелены Рождения! По вере вашей, по мукам вашим — родится она, должна родиться! И больно, что есть люди, русские люди, которые все еще не хотят прозреть, все еще не хотят понять, что ваша борьба за Нее есть жертва за прошлые ошибки и преступления, великая жертва необходимости, страшная историческая правда, а не ошибка, или чуть ли не преступление!

Русская интеллигенция, роковым образом, не смогла создать крепкого национального ядра, к которому бы тянулось самое сильное, самое яркое по талантам

изо всего русского, живого. Не было национально воспитанной, сильной, русской интеллигенции. Был великий разнобой сил, и равнодействующая сил этих пошла не по России, а вне, — в «пространство». Русская интеллигенция переоценила это «пространство», сочтя его своим. Пространство не отозвалось. Оно показало себя — своим, не нашим, даже враждебным нам, оно показало в себе много совсем чужих, национальных ядер, которые охраняли свое, которые не пожелали принять безродное; — и, откинутая в пространство, Россия пошла куда-то... — и попала туда, где принимают безыменных, — в цепкие лапы Интернационала, — безродного, безгосударственного, безбожного, алчного и завистливого, умерщвляющего живое. Попала, несмотря на героическую, — увы! — запоздалую борьбу вашу. «Народ» безмолвствовал. Ибо правит жизнью не «почва», а «сеятели». Вина не в одном моменте, как и спасение: не через момент. Вина давно назревала. И освобождение — путь величайших напряжений.

Надо к нему готовиться. Лучшей части народа, его интеллигенции, надо понять свое национальное назначение, понять Россию, ее пути, — каждый народ имеет свои пути, — и, понявши, идти покорно, покорно целям, указанным Судьбою — Смыслом истории — Богом. Идти и вести. Сознать ошибки, пороки и заблуждения и преклониться перед Россией, перед ее путями. Она пойдет. Силы ее велики, и надо уметь с ними обращаться.

Август 1927 г.
Ланды.

ЗАЩИТНИКУ РУССКОГО ОФИЦЕРА КОНРАДИ — Г-НУ ОБЕРУ, КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕЛА

Сознавая громадное общечеловеческое и политическое значение процесса об убийстве Советского представителя Воровского русским офицером Конради, считаю долгом совести для выяснения Истины представить Вам нижеследующие данные, проливающие некоторый свет на историю террора, ужаса и мук человеческих, свидетелем и жертвой которых пришлось мне быть в Крыму, в городе Алуште, Феодосии и Симферополе, за время с ноября 1920 по февраль 1922 года. Все, сообщенное мною, лишь ничтожная часть того страшного, что совершено Советской Властью в России. Клятвой могу подтвердить, что все сообщенное мною — правда. Я — известный в России писатель-беллетрист, Иван Шмелев (6 лет проживаю в Париже, 12 рю Шевер— Париж VII).

1 — Мой сын, артиллерийский офицер, 25 лет Сергей Шмелев — участник Великой войны, затем — офицер Добровольческой армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в армии Врангеля, в Крыму, в городе Алуште, при управлении коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию «для некоторых формальностей», как, на мои просьбы и протесты, ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников,

чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли. На мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, мне отвечали усмешками: «выслали на Север!» Представители высшей власти давали мне понять, что теперь поздно, что самого «дела» ареста нет. На мою жалобу высшему советскому учреждению ВЦИК'у Всер. Центр. Исполн. Комит. — ответа не последовало. На хлопоты в Москве мне дали понять, что «лучше не надо ворошить дела, — толку все равно не будет». Так поступили со мной, кого представители центральной власти не могли не знать.

2 — Во всех городах Крыма были расстреляны без суда все служившие в милиции Крыма и все бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в политике.

3 — Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты.

4 — Всех, кто прибыл в Крым после октября 17 года без разрешения властей, арестовали. Многих расстреляли. Убили московского фабриакнта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, за то, что они приехали в Крым из Москвы — бежали.

5 — В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.

6. — В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата Дмитрия, лично мне известных. Первый служил писарем при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого основания, и несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в г. Ялте, без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.

7. — Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.

8. — Всех бывших офицеров, принимавших участие и не участвовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них инвалидов великой войны и глубоких стариков.

9. — Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе-феврале 1922 года, и открыто заявивших, что приехали добровольно с тоски по родным и России, и что они желают остаться в России, — расстреляли в Ялте, в январе-феврале 1922 года.

10. — По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии в подвале Чеки и потом выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего от них заграницу, за время террора за два-три месяца — конец 1920 и начало 1921 года в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах, было убито без суда и следствия, до ста двадцати тысяч человек — мужчин и женщин, от стариков до детей. Сведения эти собраны были по материалам бывших союзов врачей Крыма. По его словам официальные данные указывают цифру

в 56 тысяч. По Феодосии официальные данные дают 7—8 тысяч расстрелянных, по данным врачей — свыше 13 тысяч.

11. — Террор проводили — по Крыму — председатель Крымского Военно-Революционного Комитета — венгерский коммунист Бела Кун и его секретарь — коммунистка Самойлова, не русская, партийная кличка «Землячка» и другие. Тов. Островский, расстрелял моего сына.

Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, б. офицера забили на смерть шомполами и отдали его тело татарам.

12. — Мне лично не раз заявляли на мои просьбы дать точные сведения за что расстреляли моего сына и на мои просьбы выдать тело или хотя бы сказать, где его зарыли, уполномоченный от Всероссийской Чрезвычайной Комисии Дзержинского — не русский — тов. Реденс — не русский, сказал, пожимая плечами: «Чего вы хотите? Тут, в Крыму, была такая каша!» . . .

13. — Как мне приходилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание из Москвы — «помести Крым железной метлой». И вот — старались уже для «статистики». Так цинично хвалились исполнители — «Надо дать красивую статистику». И дали.

Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 по февраль 1922 года. Если бы случайное чудо и властная международная комиссия могла получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с из-

бытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда либо бывших на земле.

Я не мог добиться у советской власти суда над убийцами, потому-то советская власть — те же убийцы. И вот я считаю долгом совести явиться свидетелем хотя бы ничтожной части великого избиения России, перед судом свободных граждан Швейцарии. Клянусь, что в моих словах — все истина.

1927 г. *Ив. Шмелев.*

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый г. редактор,

до меня дошло, что в Берлин прибыла из СССР фильма «Человек из ресторана», «по теме Ив. Шмелева». Я заявляю:

1. Права на переработку для кинематографа «Человека» никому в СССР не давал.

2. В целях изображения «гнусностей буржуазного строя», использовав в фильме популярность «Человека из ресторана», хорошо известного в Европе, извратили идею, убили душу произведения. Как на пример извращения, укажу, между прочим, хотя бы на то, что один из главных в этом произведении персонажей, сын «человека» Колюшка, особенно отмеченный известным немецким писателем Томасом Манном в его статье во «Франкфуртер Цейтунг» от 17 апреля с. г., — в фильме отсутствует. Судьбы и характеры главных персонажей совершенно извращены, зато изобретено и введено много грязи и пошлости. Даже по отзыву критика в московских «Известиях», от 21 августа, и журнала «Красная Нива» — «повесть Шмелева «Межрабпом» — не знаю, что это за учреждение — «подверг радикальной переработке». «В *теме,* т. е. в том главном, ради чего написана повесть, у кино и Шмелева нет никакого соприкосновения», «самый сюжет картины, *почти ни в чем не совпадающий* (курсив мой, И. Ш.) с сюжетом повести, оказывается типичной мелодрамой» . . .

3. Эта «переработка» в фильму, — пошлая, зловредная макулатура, — есть издевательство над писателем, над духом его произведения, и — обман зрителей. Этот обман преследует цель: насаждение лжи и зла, угашение духа и правды в людях.

Я протестую против подобного обмана, прикрываемого названием моего произведения и моим именем.

С совершенным уважением

Ив. Шмелев.

7 сентября 1927 г.
Лондон.

И. С. ШМЕЛЕВ О РЕВОЛЮЦИИ

известный писатель (Франция).

1. Раз революция произошла, значит: при *тогдашних* (всякого порядка) условиях оказалась неотвратимой. Вопрос для нашего времени теоретический, как для хозяина, у которого, по его небрежности, сгорел дом. *Стихийно-непреодолимых* причин революции, по моему разумению, не было, как не было их и дальше — для *углубления* революции и воцарения большевизма. Вина людская, а не «исторические силы», на что любят ссылаться.

2. В самой непосредственной: большевизм — следствие февральской революции с ее деятелями. Об этом лучше всего сказал и неопровержимо (для честно и глубоко мыслящих) доказал проф. И. А. Ильин, которого я позволю себе назвать *совестью* русской интеллигенции. Просто: революция не выдвинула людей разумной и сильной государственности, а без таких — при безвольности и прекраснодушии русского образованного класса, — (см. А. П. Чехова!) — самовластие, «что-нибудь да выйдет» и — кто во что горазд. Пришла шайка существ злой и развратной воли и, прикрывшись «народным волеизъявлением», сумела *обманом, страхом и потаканьем всему низменному, что есть в человеческой природе, надеть на лишенный вождей народ позорнейшее ярмо.* Эта шайка, просто, была попущена деятелями революции, их государственной неспособностью, безволием, государственною неграмотно-

стью, — при очень благих намерениях! Народ — основная масса — тут не причем, как был бы не причем и всякий другой народ. Случись такое хотя бы в Англии, т. е. будь у власти такие деятели и такие созерцатели, — и Англия была бы разгромлена и опозорена.

3. Многое и важное. Главное: 1) Русское образованное общество перестанет верить в спасительность «слов» и «идей». 2) Отвергнет многое, что считалось непреложным и высокочтимым. 3) Станет истинно национальным («что имеем не храним, потерявши — плачем»). 4) Будет (и уже есть) поколение с сильной волей, с более развитым чувством национальной чести, оплеванной на его глазах. *Фашизм и евразийство только симптомы и уклонения нарождающегося сознания поруганности и ущемленности.* Сознание это будет воспринято (задача новой интеллигенции) широким народным кругом, и это послужит крепчайшей склейкой-цементом в создании будущей сильной и чистой России, которая *захочет* быть.

1927 г.



Портрет писателя, 1917 год.

ДУША РОССИИ

Надо ли говорить еще о подвиге Белой Армии, о значении «белого движения», спасшего честь России! Об этом теперь не спорят: это уже история. Придет день, когда блистающее имя Белый Воин и сумеречное — галлиполиец — станут для всей России священными именами русского мученика-борца и русского героя. Это придет, и Россия встретит лучших сынов своих высокой и гордой честью: священное имя — Белый Воин — явится знаком высокого духовного отбора — новой русской аристократии.

Воины Белой Армии, к какому бы слою они ни принадлежали, — аристократы ли по рождению, крестьяне, казаки, дворяне, горожане, — истинные сыны России, аристократы духом, Ее душа. И Россия признает это и закрепит почетно: впишет славные имена в великую Золотую Книгу — Российской Чести.

Семь лет уже протекло с отхода. Но что такое семь лет! что может значить это движение серых дней, в сравнении с тем великим, что знаменует собою российское «белое движение»! Три года борьбы — исторический перелом, лучше сказать — *пролом* русской истории. *Пролом,* в котором Россия как бы найдет себя! Да, Россия найдет себя на крестном пути героического «белого движения».

Скажут: на пути поражения?! Скажут ненавистники и слепцы. Скажут те, кто не разумеет Скрытого Лика судеб народа. Или не знаем случаев, когда внешнее

поражение обращалось в великую победу?! Мы, христиане, знаем. Мы, христиане, знаем Величайшую Победу: «не оживет, аще не умрет». Ненавистники и слепцы усмехнутся только. Пусть смеются. Смеялись и на Голгофе. Мы имеем свою Голгофу. И будем иметь Воскресение, свое.

Но в чем же победа наша, и что это за *пролом* в истории России?

Белое движение и завершившее его галлиполийство есть удержание России на гиблом срыве, явление бессмертной души Ее, — ценнейшего, чего отдавать нельзя: национальной чести, высоких целей, назначенных Ей в удел, избранности, быть может, — национального сознания. За это, за невещественное за *душу,* — бились Белые Воины — нынешние галлиполийцы, и те, кто пали на поле брани, на поле российской чести, и те, что остались там, хранимые Господом до сроку, и те, кто в великих муках были истреблены.

Белое движение есть *отбор,* отбор дучшего русского по духу, по чувствованию России, отбор — того, что не мыслило без России *быть,* не могло мириться с Ее искаженным ликом, с надругательством над Ее *душой.* Самое чуткое, самое *живое,* духовно-крепко спаянное с Россией, к каким бы ни принадлежало классам, религиям, партиям, если только чувствовало биение сердца Родины, — вливалось в Белую Армию или было духовно с нею. Страшная жизнь делила, творя отбор.

Я не хочу сказать, что *там,* на российской почве, осталось одно худое. Я хочу сказать, что «белое движение» захватило собой ценнейшее в национально-духовном смысле, что оно есть — отбор.

Оно — великий этап России, великий раздел исторического пути Ее, великий *пролом* истории, за которым Россия найдет себя. В этом движении, в борьбе с

врагами национального, с отбросом международья в личине коммунизма, Россия нашла в себе силу-волю. Россия увидала пропасть *небытия* — и нашла в себе волю — *быть*. И эта светлая воля — *быть* — лучшее от Нее, Белые Воины Ее, и оставшиеся в живых — *галлиполийцы*.

В истории России были суровые этапы, когда Она, теряясь, находила себя опять: Куликово Поле, избрание на царство Михаила, Двенадцатый Год... — изломы в истории России. Но то, что случилось с нами, — не исторический перелом: это — *пролом*. За ним — уже *Новая Россия*, которая непременно будет.

За ним — напряженнейшие искания подлинного национального бытия, национального обновления, собирания и оберегания того, что есть Россия, что лежит к Ней естественно, без чего она *быть* не может, — что есть Православная Великая Россия.

Годы горестной жизни вдали от Родины... За эти годы, в нашем сознании величайшего из насилий — над *Родиной*, не может не обостряться, не может не углубляться чувство национального позора, чувство страстной тоски по *Ней*... В сознании пережитого, мы крепнем национальной волей, мы копим гордость, мы давим боли, лелеем национальные надежды... И все ясней, и полней, и краше вырастает перед нами образ России нашей, как *Идеал*.

Без Родины, мы остро болеем Ею, делаемся национально крепче. Лучшее, что дала от себя Россия, — Белые Воины, национально крепчайшее, — с нами, здесь. В достойной борьбе за жизнь, носители сильной воли — найти Россию, они высокий пример для нас, для новых, ярко национальных поколений: российская новая закваска. Они — ярчайший пример великого национального напряжения, безоглядно-жертвенного. Это

высокое напряжение светлой российской воли полагает камень будущего строительства, национального, самоотверженного, подчиненного высшей цели: воли России — *быть*. Это высокое напряжение, это жертвенное служение России, в железном, *галлиполийском*, строе, полагает конец противонациональным течениям русской общественности, — источнику многих зол, способствовавших российскому погрому, — является потрясающим примером страданий неповинного поколения, за ошибки и преступления отцов и дедов. Белые Воины — высокий и страшный пример национального Искупления. Они кровью своею ставят Россию — на высоту, делают *бытие* Ее — высшей целью жизни: они умирали за Нее, добровольно!

Близится день Возврата. Не знаем срока, но срок идет. Белые Воины, истинные сыны России, войдут в Нее, в обретенную, свою Россию, не только с высокопочтенным значком первопоходника и *галлиполийца*, но и с нетленным *знаком* — кровью запечатленной любви к отечеству, обереженной национальной чести и упорно творящей воли.

И Россия обнимет их.

Ноябрь, 1927 г.
Севр.

АНРИ БАРБЮС И РОССИЙСКАЯ КОРОНА

Негр на древнем троне русских царей, в Кремле!..

Это мы видели. Это закреплено на фотографии: черное существо в манишке, белкастое, губастое, шершавое, с черными лапами в манжетах, развалилось на троне русских царей, в Кремле, под двуглавым орлом российским. Это тов. Люнион, член V конгресса Коминтерна, представитель французских негров.

Допущено. Для подлого издевательства над русской честью толкнули это черное человеческое дитя забраться на белый трон — для мировой потехи.

Кто же его толкнул?

Русскому коммунисту, как бы он не оподлился, как бы ни чуждался родной истории, как бы ни обезрусел, вряд ли приятно было смотреть на черное существо, влезшее на престол российский! Если он и смотрел «потеху», то, наверное, в сокровенной глубине уснувшей души его все же царапались-копошились остатки последней гордости. Конечно, толкнули негра на озорство иные, для кого не было никакой там русской истории, для кого в великом тысячелетнем прошлом не озарялась славой отданная за Русь кровь предков.

Царственные регалии и драгоценнейшие реликвии России, пущенные в показ-продажу!..

Знаем и эту фотографию: круглый стол и круглые дамы, охраняющие регалии России, зоркие. Не русские это женщины, а — н и к а к и е, коминтернские, «мировые», понимающие каратность бриллиантов и жемчу-

гов. И вот подпущены охранять: и скипетр, и державу, и корону! Не только торговый смысл «европейского эталяжа» видим мы в фотографии. Мы слышим болью:

— Что с русской-то славой делаем!..

Вряд ли и тут русские коммунисты в массе и русские подневольные испытали радость и торжество.

Знаем мы и Святую Чашу сокровищницы Исаакиевского Собора, чудесную, в изумрудах и алмазах, священную вещь, добытую разбоем, пущенную на европейский рынок. Рынок жадно схватил ее, — святотатство, по всем законам! — и лондонский ювелир Сноуман выставил ее у себя в витрине. Любое государство, христианское хоть по имени, пропади у него священная лжица из собора, поставит на ноги всю полицию, и бодрствующий Закон найдет святотатцу кару. Но, для России... Какая там Россия?! Нет никакой России, и нет у ней ничего священного. Была Россия, — теперь... майдан, и по новой «всемирной совести» этот майдан — всеобщий: на нем забирают в с е!

И это знаем. И не забудем этого никогда. Не смеем.

Мы знаем с т о л ь к о, что разрывает сердце. Знаем Уэльсов. Знаем Ромэн Ролланов, славших приветствия «светлому царству золотых пчел», — последнее д о с т и ж е н и е культуры!

И последнее, что мы знаем, все то же хамство, та же издевка-пляска на нашем священном прошлом.

Писатель... Не негр и не ювелир. Писатель, с именем. И этот писатель, с именем... плевком приклеил себя — к русской истории! Негр забрался на царский трон. Ювелир ощупывал камушки на Чаше. Писатель... Ну, что бы вы думали — этот писатель выкинул?!

Восхотел, чтобы сняли его на фотографии... с российской царской короной в руках! Писатель с вообра-

жением. И его хотение осуществилось. Сняли его, с короной. Теперь он вошел в историю, весь, с короной. За нею — века славы, века страданий и подвигов. За нею — весь русский народ, великое племя, история великих достижений, великих мук... За нею — Великая Россия. Теперь, все это *держит* Анри Барбюс. А что... за Анри Барбюсом?.. Но *теперь* — это легкое существо хлестко вошло в историю, в историю... России! Оно же *держит* в своих руках корону царей российских, увенчанную Крестом!..

Достаньте же эту фотографию. И сохраните. Это тоже — «реликвия».

Неопределенная блаженная улыбка на определенно невыразительном лице, немножко сладком, чуть-чуть оторопелом: корону России *держит*! Что-то он думает? Что за похоть владеет им? Будто и похотливый трепет: в руках заметно.

Но что же его толкнуло ткнуться в «историю России»?! Соревнование ли с губастым негром, погоня ли за славой... Впрочем, это для нас неважно. Важно для нас одно: некий Анри Барбюс — и тот прибежал, — допущен, — весело плюнуть на наше горе, на славное наше прошлое. Маленький «европеец» плевком приклеил себя к великой истории российской!

Запомним, себе в науку. Многое мы должны запомнить, — себе в науку, должны передать народу. Настанет время.

И еще запомним, на утешение, как народ наш метко и крепко врезал:

«Галки и на кресты марают!»

Декабрь, 1927 г.
Сэвр.

«РУССКИЙ КОЛОКОЛ»

Вот журнал, которому принадлежит право привлечь внимание живой русской эмиграции, той ее крепкой части, для которой мысль о России Новой, о России Светлой — не умерла.

Этот журнал, руководимый проф. И. А. Ильиным, ставит своей задачей руководить теми, кто хочет служить грядущей России словом и делом и — воспитывать новую, национальную интеллигенцию, религиозно обновленую и государственно мыслящую.

Вторая книжка журнала — о первой уже писалось — еще более укрепляет важность этого журнала для нас, в рассеянии сущих, но душой пребывающих с Россией.

Книжка открывается блестящей статьей редактора — «О русской интеллигенции», о том, почему интеллигенция перестала верить и понимать Россию, почему в ней иссяк источник национального самосохранения; почему она не могла строить свою Россию — и какой должна быть подлинная национальная интеллигенция.

Г. Бах, в статье «Лицом к России!» говорит о спасительной силе созидательного патриотизма, черпающего мощь из веры в гений русского народа, олицетворенный в Пушкине.

В статье «Кризис современного искусства И. А. Ильин, взяв эпиграфом из Пушкина —

Постойте! Наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена — прямым ли вдохно-
веньем,
Иль необузданным одним поползно-
веньем...

и из Тютчева —

Мечты людей, как сны больного дики...

ставит вопрос о темных недрах в человеке, стремящихся поглотить человеческое, увлечь гармонически-светлый дух в самоволье вихрей и бурь глубинных... о сущности искусства, о связанности искусства с религиозно-созерцательным началом в человеке, об истинных путях высокого искусства, о значении его для жизни духа, об изсякновении духовных недр, о гиблых путях пустого, мертвящего искусства...

Искренностью захватывает «открытое письмо» к оставшимся в России патриотам — «Вы наши братья!» — И. А. Ильина. Для братского понимания между нами и теми это «письмо» должно иметь важное значение: оно помогает разобраться во многих несправедливых укоризнах.

С большим интересом читается житие Митрополита Макария, верного наставника молодого Ивана IV, — статья И. Лаппо, — из серии «Великие Строители России». Журнал прекрасно делает, вызывая перед нами тени забытых «национальных делателей».

Статья Православного — «Православие и государственность» как раз ко времени. Есть философы, для которых Церковь не Тело Христа, а одна из философских категорий, и которые, упражняясь в мыслях, тщатся решать вопросы догмы и указывают пути истинным чадам Церкви, тревожа и возмущая совесть. Статья Православного освещает вопрос о пределах «отделения Церкви от государства», о праве Церкви, как учрежде-

ния божественного, участвовать и в земном — государственном строительстве рука об руку с государственной властью, наполняя ее духовным содержанием; об отношениях между «кесаревым» и «Божьим» и о долге и праве Церкви благословлять «меч», поднятый на борьбу со злом.

Горячо написал Н. Цуриков о «Пафосе героизма и об идеях современности». Героизм — творческое и животворящее начало, и потому должен воспитываться государством, как движущая жизнь сила. Особенно важно значение героизма в подвиге освобождения и восстановления России. Автор остро и метко говорит о демократизации современности, о приглушении героизма «вождями века сего», которые настойчиво выкуривают героизм из жизни и учат доверчивые массы и низы народов презирать героев и этим как бы призывают к умерщвлению Героя.

«Тебе не нужны вожди, тебе не нужны герои! Ни за кем не иди! Веди и приказывай сам! Ты хозяин, а мы... твои слуги!» — так-то внушают массам собирающиеся сесть им на шею. Массы верят. А с этим, — говорит автор, — «неизбежно связано и отвращение народного взора от неба»...

...И сладкий горошек достанется нам!
А царство небесное мы воробьям
И ангелам Божьим уступим...

«Так некогда аргументировал Бебель свою социальную утопию — стихами Гейне».

Мы, русские, теперь знаем, кому достался «сладкий горошек», и что досталось массам, отторгнутым песнями коммунистических сирен от национальных своих героев!

Статья В. Гефлинга «Живой опыт коммунизма» дает картину небывалой экономической эксплуатации,

«высасывания» русского народа коммунистами, и делает вывод о неминуемо-роковом завершении этой «экономики» — освобождением хозяйственных сил новой, свободной России.

Во 2-й части журнала, показательной, помещена исторически и географически обоснованная статья редакции — «Историческое бремя России», показывающая, с какими трудностями бороться выпало в судьбинный удел России. Интересна для нас статья Б. Никольского «Русская эмиграция в цифрах» и статья И. А. Ильина «О признании советской власти» — правила и советы, — очень важная в вопросах о «возвращенстве». Заключают книгу изречения Св. Писания, Святых, мудрецов и писателей «о сопротивлении злу силою».

Возрождение, 1927 г.

ВОЗЗВАНИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ С БОЛЬШЕВИЗМОМ

«Преклоняюсь перед высоко-человеческим движением духа славного Теодора Обера, — этого светлого рыцаря на страже дремлющего лениво мира не ведающего, что проснуться может для мига смертного. Разве лучшие из святых старцев наших могут до глубины оценить его «стояние». И тем более удивительна его самоотверженная жизнь. Ну да не покинут еще мир Богом, и есть еще его посланные. Я заочно обнимаю эту светлую силу человека в нем. Я черпаю и недостающую мне волю-силу, и веру в людей — в нем, в его движении сердца и в его широчайшем охвате всей сути ужаса, грозящего, навалившегося уже на мир. Каждый на своей стезе стоит. Но стезя его — наитруднейшая, наиответственнейшая».
Январь 1928 года.

ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ

Закон ограниченного человеческого духа, человеческого духовного ока, — познавать лишь на расстоянии, во времени. Десятилетие протекло с того исторического дня, когда «горсточка» добровольцев, «брошенная всеми... истомленная длительными боями, непогодою, морозами, повидимому, исчерпала до конца свои силы и возможность борьбы...» — писал генерал Алексеев, — ушла в степи Кубани, начав Ледяной поход. Теперь, через десять лет, нам открывается глубочайший смысл этого «странного» исторического факта, и в этом «безумии» мы начинаем усматривать потрясающее величие человеческого духа! Дух — не подчинился материи, нетленное не поддалось тлену. В ледяных степях Кубани разыгралась великая мистерия! Разыгралась во имя вечного: вечной борьбы духа и материи, света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти.

Неумирающая, незамирающая трагедия человеческого естества. Вот почему этот ч а с т н ы й, как бы провинциальный для человеческого мира «случай» должен принять характер извека длящейся трагедии ч е л о в е к а на земле. Перед «горсточкой» поставлен был жизнью выбор. Извечный выбор. Выбор — отсвет того далекого Выбора, когда дьявол «показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне». И, маленькие, ре-

шили: идти путем Его. И показали зрителям мира, что есть ценности, которые отдавать нельзя, за которые платят жизнью!

Исторически, Ледяной поход суживается для нас во времени и смысле, но и в таком масштабе остается величием: вся Россия — во власти Зла, насилия, соблазна; полтораста миллионов населения, неисчислимые военные запасы, все богатство, сама природа — в распоряжении беспощадного врага, перед которым безвольной оказалась даже победоносная Европа... — и вот, «горсточка» сильных духом, большею частью юных, ведомая достойными вождями, не могла склониться, духовно сдаться, — и ушла в ледяные степи, — в неизвестность! — чтобы продолжать бороться, до последнего вздоха, — за Россию. Не за Россию только. Но последнее разве на расстоянии поймется...

В то страшное смутой время, когда «трезвые» называли этот уход безумием, спасались, куда могли, или отдавались на волю Зла, рассчитывая хоть этим сохранить жизнь себе, уход в ледяные степи не мог еще получить даже исторического смысла, российского ослепляющего смысла, какой получает для нас теперь: лучше умереть, чем отдать родину на позор и тленье! В день 9/22 февраля 1918 года был поставлен великого искушения вопрос: подчиниться ли тьме, приняв от нее возможное спасение и предав душу свою и с ней Россию, или — ледяные степи, неизвестность, борьба и смерть? Новая Россия, родившаяся в тот день, руководимая белыми вождями, выбрала смерть в борьбе.

Мы теперь знаем, какою доблестью озарилось это «безумие», этот подвиг рыцарей без щита и копья, с раскрытой грудью, по которой, кровью написано — честь и верность! В этот день 9/22 февраля русская

«горсточка» доблестно показала страстную волю к жертве, к голгофе — за свободу, за право верить и жить свободно, за право России — быть. Из этого похода возгорелось святое пламя — освобождения.

Этот подвиг — а сколько же их было и сколько отдано жизней! — не увенчался конечной победой: красное ярмо еще давит и тлит Россию. Но зажженное пламя, «светоч», — горит, не угасая. Горит и в России, горит и здесь. И будет гореть, пока не сожжет всю тьму.

Вот духовный и исторический смысл, неумирающий смысл великого 9/22 февраля 1918 года, — ухода в ледяные степи. Смысл, родившийся из бессмертного Смысла Голгофской Жертвы, родственный самым чудесным мигам истории человеческого мира, тем мигам, когда на весах истории и жизни взвешивались явления двух порядков: тленного, рабства, безволия, безчестия ... — и, с другой стороны, — нетленного, свободы, воли, чести.

Подвиг, начатый «горсточкой», есть начало Священной Революции, высоко-духовной революции против тьмы. В ней бились и будут биться за ценности иные: за право оставаться человеком! Дата 9 февраля — знаменательная дата подлинно-русского, высокого демократизма! Все, кто чувствует себя русским человеком, человеком, а не скотом, — все с нами, все — в неизвестное, где и смерть, и жизнь, но и смерть и жизнь — только по нашей воле, но и смерть и жизнь — во-имя! Ни классов, ни сословий, ни пола, ни возраста, ни языка, ни веры ... — а все, Россия, — во имя святой свободы, во имя свободы личной, во имя России общей! И пошли «горсточкой», понесли свое, общее, всенародное, святые демократы, равные друг другу во всем, до смерти. И доселе зовут — идите с нами!

Ледяной поход — одна из светлейших, по чистоте духовной, одна из белейших страниц русской истории. Эта сверкающая снежная страница закрыла многие темные. И свет этот, хранимый здесь, на чужбине, в тоске по родине, хранимый и там, в России, в безмолвии и тоске, хранимый *лучшими*, будет сиять и греть. Из него разгорится пламя, не опаляющее, пламя святого Света.

Ледяной поход все еще продолжается *там* и здесь: продолжается *чистыми*. Он — вечен, как вечный Дух, неугасающая сила *человека*, человека-света. Вечная память павшим. Вечный завет — живым.

22 февраля 1928 г.
Сэвр.

К РОДНОЙ МОЛОДЕЖИ

I

Славные русские девушки! *

Ваше обращение ко мне за добрым словом напутствия и смутило, и обрадовало меня. Я не смею считать себя «духовным вождем»: я только русский писатель, и отвечу Вам, как ответил бы друзьям-читателям, сердечно мне близким, — искренно отвечу. Обрадовало же потому, что почувствовалась мне в Вашем письме душевная потребность — вдумчиво относиться к жизни, как бы перекреститься, в нее вступая. Эта серьезность на заре жизни — следствие пережитого, *нашего*, русского страдания. Страдание углубляет, умудряет. И в этом уже залог будущих нравственных побед. Это уже и теперь — победа.

Были времена — и были у русской молодежи «мучительные» вопросы и запросы, идеалы, искания. Русская душа — жаждущая душа, ищущая *дела*, подвига, душа стремительная и страстная. Русская молодежь всегда была неспокойна духом, пытлива, идеалистична, порывиста неудержимо в исканиях лучшего — *для всех*. Выбирала себе «вождей» и, увлеченная, шла за

---

* Ответ на письмо воспитанниц выпускного класса Мариинского Донского Института (в Белой Церкви, Югославия).

ними, порой безоглядно. Это было тогда, когда была сильная Россия, богатевшая и материально и духовно, счастливая, что бы там иные ни говорили, *вся* счастливая, имевшая налицо все данные для блага *всего* народа, имевшая все возможности, в путях духовного и материально-культурного роста своего, явиться примером для всех народов. И она осуществляла эти возможности. Это предрекали ей великие наши духовидцы. Теперь это прошлое — становится уже очевидным. Но наряду с *верными* водителями влияли и водители ложные, смотревшие куда-то *за* Россию, поверх России, задававшиеся целями над-национальными, увлекавшие «великими» горизонтами и прельстившие многих, проглядевших негромкое, но великое дело «дня сего», не манившее блеском молний далеких горизонтов, — дело укрепления и создания *нации,* своей нации, себя еще не сознавшей и потому совершенно неготовой на «мировое дело». И вот, чудеснейшие, идеальнейшие свойства парящей русской души, кипевшие в русской даже мало-мальски культурной молодежи, совершенно не постигавшей огромного целого — народа, великого неокультуренного ядра, — способствовали невольно великому разгрому, разоренью, разложению, растлению России, временному омертвению ее, утрате ее для многих, ее даже и не узнавших.

И вот, *новая* русская молодежь... и снова *ищет!* Как же не радоваться, что Вы, юные, новая поросль русская, после таких испытаний, таких блужданий по чужим мировым дорогам, после стольких утрат, после *таких* ударов по Вашим юным, по Вашим нежным и неокрепшим душам, какие не выпадали на долю никакого из других народов нашей истории, — Вы живы духом, Вы всматриваетесь пытливо в жизнь, не отвергаете ее, так незаслуженно-неповинно Вас побивав-

шую; что хотите вступить в нее так благоговейно, хотите понять ответственность и назначение свое в ней, *верите* в нее, уповаете, что она примет Вас и назначит *дело,* которое Вы выполните свято. Это скрыто в Вашем письме ко мне, но выговорено это в одном Вашем простом, но чудесном слове — *напутствие!*

В добрый путь, милые русские девушки... в добрый и светлый путь! Я знаю, знаю, что копите Вы в себе смелую волю к жизни. Я верю, что первою Вашей думой о жизни, Вам открывающейся, самой глубокой и затаенной думой, думой-целью, — является Вам *родное,* русское, мысль о незнаемой родине, — о незнаемой чувствами внешними, но чуемой-знаемой душою, — о возвратимой России, *нашей,* истинной, заложенной в нас от предков, святой и чистой, омывшейся от грехов России! И потому-то Вы, на пороге ли высшей школы или жизни самостоятельной, трудной от бесприютия, наученные страданиями, ищете доброго напутствия и совета. Идите, благословясь. Я слышу в Ваших простых словах — голос исканий. Не угас русский святой огонь, русский духовный пыл, стремление к истинному и доброму. Нерусские девушки не спрашивают об *этом.* Им не нужно «благословения» и «слова»: накатанные у них дорожки, привычные. А Вы... Вы, русские бездорожницы, вышли искать Россию, Град-Китеж, потонувший! Идите смело — и найдете. Я тоже ищу ее, и верю в нее, и верю, что найду ее. Я ищу ее в образах и думах. Быть может, *такой* и найду ее, бесплотной..., но Вы найдете и осязаемую! Вы, юные, найдете. Вы только пустились в путь. Я чувствую Ваши *живые* души. В Ваших глазах надежда: Россия *будет,* мы жить будем, по-нашему жить будем, у *себя* жить будем, в России жить и творить будем! В Вас силы молодые, пытливые, но кругом — столько путей

неясных, предрассветных! И Вы правы, Вы чутко-правы, прося напутствия. Вы — религиозны, Вы — кровь отцов: *молились* они *перед походом*. И Вы — в походе. И я хочу Вам сказать: идите и помните, что *мы сильны!* Помните непрестанно. что мы велики, что *мы от великого народа,* что мы чудесны и нашей историей, уделившей нам миссию охранять культуру, что мы велики *великим страданием нашим* и великой *победой нашей* — всем тем чудесным, что *русский гений* давал, дает и будет давать миру! Только теперь начинаем мы познавать себя. Только теперь начинает чувствовать это мир, начинает приоткрывать чудеснейший Лик России. Лишенные родины, мы всюду несем *ее*. Бога — во имя *ее* несем. Наше искусство, проявление божеского в человеке, в славе идет по свету. Наши идеи, наше богопознание и богоискание, наше «святое беспокойство» *за* мир и человека — волнуют чутких во всех народах. Мы же — философы мировые, мы — бродило. Наша наука, лишенная даже почвы родины, может гордиться родными именами. Наши муки служат *великой сдержкой человеческому безумию,* примером небывалым. Мы пали, но мы восстанем! Мы мучаемся, но мы — творим. Мы, невольные постояльцы мира, — учим! В рассеянии, мы готовим смену — Вас, чудесная наша молодежь, сильных в лишениях, знающих все дороги-бездорожья, но чувствующих *единое*, национально чувствующих, жаждущих создавать новую Россию, — мы уже видим ее в мечтах.

Эти мечты и воля претворить их в *живое* — в Вас есть. Ждете напутствия? Все, что могу Вам сказать, — в Вас есть! *Вы любите Россию,* русские девушки, Вы ее носите в себе. Вы, столько перетерпевшие, муками освященные, Вы — чистые, Вы — святые! И святое несете в сердце. Многие из Вас потеряли и растеряли от-

цов, матерей, братьев... мученицы из Вас многие-многие, и все — сироты, без Родины. Но Вы верите, что Россия *есть*, что она будет *Ваша*. Ваше сиротство кончится. *Такое*, что выпало нам на долю, не может пройти бесследно. *Такое* будет возмерено *такой* же безмерной мерой, — таинственный закон жизни, — *грядущей радостью*. И это будет. И Вы это увидите. Пусть эта вера напутствует Вас всегда. Готовьте себя — России. Как готовить? Вы это знаете, должны знать.

Великое выпадает на долю Вам. Россия осквернена до сердца. Вы, русские девушки, станете русскими женщинами. Вам предстоит великое: создавать новую, *чистую*, русскую семью, обновлять, очищать от скверны родной народ. Вы понесете народу Бога, понесете в жизнь *правду*, — все то ценнейшее, чем возвеличена русская женщина: выполнение долга, самоотверженность, милосердие, чистоту, духовность, кротость, готовность к подвигу, верность и глубину любви... *Теперь*, когда Россия осквернена до сердца, когда все обезчещено, растлено, Ваша великая миссия — *нести чистоту, утверждать нравственность, дать здоровое поколение, воспитать его, научить жизни в Боге*. От Вас, чистых, охраненных от скверны, чем *там* заражены миллионы подобных Вам русских девушек, плененных, духовно ослепленных, — *от Вас зависит величайшее дело духовного возрождения нового поколения России*. С Богом в душе, с Церковью, с верой, с памятью о загубленном, чудесном чистом, Вы будете стойки, Вы будете свято-горды: Вам, русские зарубежные девушки, а с Вами вместе и тем, кто сохранил себя там, — великое Вам назначено. Как и что делать — подскажет Вам ум и сердце. Чтобы лечить — надо знать. Думайте о России, знайте о ней. Познавайте ее, бывшую, незапятнанную. Познавайте и смрадную, на гноище ее. Наби-

райтесь знаний, готовьте себя здесь к работе ***там:*** школьной, ученой, воспитательной, духовной, просветительской, проповеднической, лечебной, всякой, какая кому по склонностям, по силам. Но прежде всего: живую, человеческую душу в себе храните, чтобы творить с любовью. Вашему поколению выпадет великая работа — освящать, очищать Россию. Мужчине — *строить;* Вам — *освящать.* Не отдых, а непрестанный труд. Искупление будет продолжаться: слишком грехи велики. Слишком много утрачено ценнейшего, слишком много осквернено. И верьте: Ваши усилия, — если хотим России, — могут произвести величайший духовный взрыв — творящий энергию народа. И Россия, показавшая миру великую бездну падения, покажет чудо великого возрождения, величайших высот духовных. Россия это может! Это чудо будет наградой Вам. Верьте — и это будет. Верьте и делайте. И Вы увидите это чудо. Это будет, это может быть счастьем и целью Вашего поколения. Это чудо будет и оправданием России. И да благословит Вас Бог!

20 мая/2 июня 1928 г.
Севр.

СОБЫТИЕ

Не знаю, оповестила ли европейская печать, что происходило в сентябрьские дни в Белграде. Вряд ли. Европейской печати не интересны события, подлинный смысл которых постигается только *внутренно*, сердцем чутким. Это не состязание мировых боксеров, не полет через океан, не разговор Штреземана с журналистом, не смена кабинета, не приговор Сакко и Ванцетти, не планы нового «расчленения России» . . . Случилось событие невидное мировому глазу.

В Белграде состоялись съезды: русских ученых и — русских писателей и журналистов, — съезды русских бездомников, так сказать — придорожных постояльцев. Съезды сделали свое дело и разъехались по своим «мировым» углам. Никакой интересной *внешности*, для европейца. И, однако, это — событие. Это величайшее из событий русских за этот десяток лет российского исхода на мировое поприще. Мало того: это знаменательное событие и с мировой оценки, если только над ним подумать и, подумавши, оценить. Но за шумом и блеском времени вряд ли его оценят.

Но если и не оценят его и даже и не заметят европейцы, — мы, бродящие в мире одиноко, терпимые по неволе, неприятно тревожащие ровный уклад Европы,

наученные постигать *внутренно*, ибо горе делает сердце чутким, все мы должны признать, что случилось событие исключительное, ясно нам показавшее, что ценнейшее все еще не ушло из мира, что лампады еще не все погашены, не все еще колокола разбиты, еще не на всей земле слова заменили чувства, не везде самолюбование и гордость закрыли *правду*, не везде торг и рынок закрыли *человека*, не везде историческая память притупилась.

Но обратимся к событию.

Сперва — о мире. Для мира России нет. За счастливыми исключениями, вместо былой России признаются ее насильники. С ними заключаются договоры, у них скупают награбленное добро; выполняют порой их окрики, изгоняя русских людей из данного им прибежища. Мир озабочен, как получить долги отданной на разбой России. Мир никак не может решить, что ему делать с беспокойными русскими бродягами, блуждающими по миру и не желающими забыть России. Мир, между тем, скупает золотые св. Чаши, чудесные русские иконы — даже и чудотворные! — сплавленные кресты и ризы. Когда представлялся случай, мир захватывал русское золото с орлами. Мир изменил союзнице — России, изменил низко и жестоко. Мир не только легко забыл, что для него сделала Россия своей кровью, но даже пробовал отрицать, что она что-то сделала. Мы знаем множество случаев этого мирового бессердечия, чтобы не сказать — бесчестия. Этот десяток лет прохождения нашего по свету дал нам ужасный опыт и такое познание «добра и зла», что уж лучше бы было не познавать.

История этих десяти лет — и не только для нас, а и для всех бесстрастных историков мировой нравственности, для всех честных, способных видеть высоту

человеческого в мире, — может быть самая черная страница всей человеческой истории. Никогда, кажется, еще не было такого дерзостного, такого бесстрашного отказа не только от христианской, но и просто от человеческой нравственности. Окиньте памятью *все,* что было за эти годы совершено бесчестного, жестокого, страшного — в отношении не России только, а в отношении хотя бы законов просто пристойной жизни. Все это хорошо известно, все записано в государственные акты и в миллиарды листов газетных, а в русском сердце — выжжено, как клеймом. Это — кошмарное достояние исторрии, истории оглушительного падения чести в мире. Мы это знаем. Узнает и Россия, и — оценит.

Было время: великие демократии боролись за свободу, великие демократии и в неграх даже видели своих братьев... Ныне — дружат с насильниками великого народа — из-за чего! Ради своекорыстия, ради торговых и низких интерсов. Великие демократии забыли жертвы за мировое дело, которые принесла Россия, забыли море крови, в которой Россию топят... И такое «забвение» закрыто словами и словами, померкло в блеске, заглохло в шумах, и никто не встревожен этим. Мало того: строятся планы дальнейшего растерзания России-жертвы! И вот, при такой-то клинической картине мировой совести, когда даже крик — воистину крик отчаяния русских писателей, призывавших из гроба мир, не был услышан *чуткими,* в такое время произошло событие, совсем не громкое, не мирового масштаба на первый взгляд, но которое — это поймут потом, если смогут еще понять! — по своему внутреннему смыслу значительнее многих и многих событий великого масштаба за этот десяток лет.

Одна страна — не из великих держав! — одна христианская страна былая малая Сербия, ныне королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, сказала перед миром: Великие ценности человеческого духа — *есть!* Не пустые слова — любовь, братство народов, честь, благодарность, долг, совесть, благородство! Нельзя гнать правду и помогать злу в мире! Святые лампады нельзя гасить! Надо чтить высокое *человеческое* в веках! Надо уметь *помнить!* Надо уметь любить! Христианской стране *нельзя* попирать Евангелие! Чудеснейшие страницы истории — нетленны!

Это сказала страна — и показала ясно. Это сказала и показала страна, благороднейшая страна славян, бившаяся геройски за свободу, страна, познавшая, что за ужас — себя утратить, испепеленная и вновь восстающая из пепла, страна героев, страна христиан-героев! Она истекала кровью, но сохранила духовное богатство. Она уходила на чужбину — и вернулась с оружием для славы. И вот такая страна, в лице своего Короля-рыцаря, в лице своего Пастыря духовного, своего мудрого правительства, своего образованного слоя, в лице трогательной и чуткой славянской женщины, которая давно познала, что такое терять бесценное, в лице достославного города Белграда, явила высокий пример чести, братства, совести, благородства, исторической памяти и провидения грядущего. Она позвала к себе русских ученых, русских писателей и деятелей свободного слова русского, русскую мысль и совесть, и благородно сказала: помню, люблю и верю! Носители громких имен в литературе мира не поверили русским писателям, иные и не откликнулись на их крик, иные насмеялись даже. Великая Югославия устами простого труженника-кондуктора — сказала: привет вам, рус-

ские братья! Великая Югославия, в которой горят лампады, показала такое сердце, такую чуткость, такую сердечность-ласку, такой уют в нашем бездольном придорожьи, каких мы нигде не видели в этот десяток лет. Она засыпала нас цветами, она говорила нам, что она не забыла прошлого, что она видит в нас будущую великую Россию. Она не вырвала легкодушно великих страниц истории, не утеряла за шумом жизни слуха к чужому горю, она не зачеркнула своей трудной и славной жизни! Она сказала русским писателям, русским ученым, деятелям свободной русской печати в мире, нам — полноправным уполномоченным России, представителям ее духа и представителям за нее перед целым светом: вы были моими братьями, вы были в силе и славе... и теперь, когда вы сироты, вы еще больше братья! взгляните в мои глаза — я та же, любящая и верящая!.. Сказала и показала высоким примером для всех — непомнящих. Это — знаменательно событие великого размера. Это — признание России, истинной России, исторической и неумирающей России, России надмогильной, которой — несмотря на *все* — суждено быть и быть!

Ныне, когда народы открыто показывают, что для них как бы уже и необязательны основы права и нравственности, даже те основы, которые они обязательными считают еще для отдельных граждан; когда начинает казаться, что своим поведением государственные люди и правительства как бы хотят освободить человечество от непосильного ему бремени — соблюдать божеские и человеческие законы — честь и долг, не говоря уже о любви, хотя казалось бы, что именно государственные-то люди и должны бы воспитывать граждан в духе божеского и человеческого закона: случилось исключительное событие, когда одно государство

показывает высокий пример — всем. Это ли не событие?!

То, что произошло в Белграде, в Белом Граде, в эти сентябрьские дни, дойдет и до Нее, плененной, в оковах сущей, — и согреет, и осветит Ее: есть еще на земле Правда!

Есть еще на земле Великая Югославия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, страна воистину христианская. Устами своего Короля, своего Пастыря, всего своего народа она сказала:

«Лампады у гроба Преподобного Сергия погасли... Горят лампады у Святых — Саввы и Илии! И у Преподобного Сергия зажгутся!»

Октябрь, 1928 г.
Ланды.

ЖЕСТОКАЯ УТРАТА

Светлой памяти
Юлия Исаевича Айхенвальда.

Ушел и еще один, достойный, благородный.

Нет уже среди нас и Юлия Исаевича Айхенвальда. К длинному счету смерти погубленных и умерших русских писателей в этот страшный десяток лет злая судьба прибавила еще имя — светлое имя Айхенвальда. И как жестоко прибавила!

На перекрестке чужого города настигла его машина и убила. Убила его, пришельца, изгнанного н е— родиной. Россия! .. Он любил это имя — и чтил его. Любил и Ее, душу и плоть Ее. От великих и славных великой литературы русской с благоговением и восторгом принял он в сердце родину — всю ее: доброе и дурное, солнце и мглу ее. Все в ней познал, что открыло ему чудесное ее с л о в о, великая ее литература. Познал — и принял, и полюбил, любовью большой и нежной, такой, как его душа. И стал достойным учеником великих, певцом их с л о в а, стражем родной литературы, ее заветов.

Россия . . . прекрасное слово русское! . . Жил он в его звучаньях, в его сверканьях, в его широте и глубине, в его высоте небесной. И сам — и сверкал, и пел. Рос-

сия — сверкала в мыслях. Россия — стучало сердце. Россия — Слово, Россия — ее литература.

И вот, на перекрестке чужого города настигла его машина и убила. Убила в голову, полную мыслей-образов, полную русских образов — светлых даров России, и умертвила сердце. Слепая, жестокая судьба. Или — не слепая и не жестокая? Или пришла пора, пора подвести итоги, и судьба ставит знамение — конец? И выбрала жертвой Айхенвальда, любящего из любящих, совестливого и скромного, чуткого к слову-звуку, чуткого к слову-образу, богатого из богатых словом, честного ключаря сокровищ славной литературы русской? Словно уже конец, словно уже — довольно: незачем петь и славить, нет никакой России, нет и ее литературы. Сгорела ее литература, пошла на ветер! Жила и цвела впустую! Нет никакой России, ни звуков о ней, ни песен, — нечего сторожить и петь! Кто это бродит там, странный, смешной чудак... что-то хранит с ключами, чего-то ищет? Искать пу пустым пескам! Мешает не перекрестках ветру?..

Жестокая насмешка.

Машина убила в голову, убила стража на верном его посту. Убила певца литературы, вечных ее корней, молитвенного певца, будившего в молодежи веру в бессмертное творческое слово, в бессмертие мысли творческой.

Всякая утрата человека — тяжелая утрата. В бедное наше время, утрата такого человека — жестокая утрата. Чуткий из чутких критиков, художник-критик, знаток языка и чудеснейших форм его, ему одному присущих, неповторимый в средствах изображения, он явился для нас примером — примером меры, примером сдержки, богатства и веса мысли; он будил в нас ответственность, уважение к слову-мы-

сли и к слову-чувству. Жрец, он служил в храме, в одеждах чистых, во храме святого Слова. Его «среды», его «литературные заметки» — всегда урок, всегда притягательная сила. Он учил и писателей и критиков. Чуткий, он учил обхождению со словом, с душой и трудом писателя. Не было для него «имен». Не было «направлений», ни «политик». Он держал одно направление — в искусство. И звал к нему. И его слышали и слушали. Теперь — кому?!

Хранитель верный, убит на перекрестке. На перекрестке чужих дорог. Кто поведет к родному? В беглое наше время, в великое распутье, — кому вести?

Есть — у кого учиться.

Да, он любил Россию. Взращенный ее литературой, он взял от нее любовь и совесть, душевную глубину и честь. Ведомы ему были тревоги и муки творчества, и никогда не спускался он до жестокого и пустого слова, до злой насмешки, для смеха-балагана, до приговора беспечного. Тонким и нежным словом он нащупывал мысли-дали, родные дали и глубину. Верный священному в литературе, нашей и мировой, он вскрывал человеческие чувства, прекрасное в человеке и природе, в родной природе, в грусти и красоте ее. Тревожный к правде, он будил в нас «чудесные заветы». Он корил и карал отступников, извратителей слова — чести и чистоты; он бесстрашно судил преступников, удушавших любимую Россию, душу России — слово. Чуткий и совестливый, и нежный, он не боялся правды. И в мужике, и в царе, прежде всего, он видел человека и строго ставил на место тех, кто глумился над человеческим. Он был истинный рыцарь слова — слова-правды. Он верил в чудо — в чудо слова творящего. И спокойно, мудро смотрел на жизнь. Живо живое слово — и жизнь будет, хорошая,

человеческая жизнь будет! Живо родное слово — Россия будет! И бодро стоял на страже. И слово — для него облекалось плотью. И слово — вело к изначальному и конечному, к Слову-Богу. Он не мог не верить, — но сказал ли когда об этом? — что чудесное слово-образ — воплощение Бога в жизни, великая цель искусства. И умер в вере.

Убила его машина в пути, на перекрестке. Жесточайшая утрата: погиб достойнейший, страж и хранитель слова. Больно и одиноко нам. Но, помня светлый образ отшедшего, одного из лучших русских людей, глубоко просвещенных, скрепив сердце, мы обязаны сохранить завет, долг его светлой памяти: путь не кончен!

Идти по пути отшедшего, чутко, чисто. Мы в пути, в опасностях на пути, но путь не кончен. Мертвые и слепые силы будут давить и сбивать с пути, будут и убивать чудесное в нас и нас. Но чувства живые наши, но вечные мысли наши, но слово наше... — они бессмертны, как великое Слово — Бог. Они ведут нас. Они приведут к извечной заветной цели Великого Искусства Слова — к воплощению Бога в жизни, к воплощению жизни в Боге!

20 XII 1928 г.

«ПОМНИ РОССИЮ»

(По поводу одного «Письма в редакцию»)

Это письмо напечатано было в 1388 номере «Возрождения», 21 марта на 4-й странице, в нижнем уголке направо, мелким шрифтом. И приходит на мысль, что письмо это не все заметят, а заметить и запомнить его необходимо. Больше: все мы *обязаны* его запомнить. В письме этом, очень кратком, — к сожалению, имеются опечатки, и такого сорта опечатки, что могут подать любителям все вышучивать, удобный повод и посмеяться, хоть нам и не до шуток.

В письме «к русским медонцам» заключается призыв к жертве, к маленькой жертве во имя большого, во имя святого дела, во имя долга, — перед Россией долга. «Жертвуйте в фонд «Помни Россию», передавая деньги в распоряжение генерала А. П. Кутепова, принявшего на себя из рук почившего Великого Князя Николая Николаевича, вместе с его предсмертным заветом ко всем нам — «помните о России, русские люди!» — славное и тяжелое бремя заботы о русской чести и доблести, бремя охраны здорового русского ядра — русских военных сил — белой российской Армии. Жертвуйте, хотя бы малым, но *все*, русские, жертвуйте, не забывайте, не имеете права забывать, не смеете забывать! — вот о чем говорит письмо, письмо «к русским медонцам», — письмо ко всем. В этом письме, говорю я, есть досадные опечатки: конечно, не «если бы несколько десятков русских людей твердо решили бы уплачи-

вать хотя бы по несколько франков в месяц» ... а ... «несколько десятков *тысяч* — только десятков тысяч», хотя нас, «медонцев», не десятки, а со-тни тысяч! .. И, конечно, не ... «от нас сейчас требуется малое — несколько франков в месяц ...», а — от *каждого* из нас *должны* поступать в фонд «Помни Россию» франки и франки, каждый и каждый месяц, а от кого и десятки, и сотни, и тысячи франков каждый месяц ... и тогда ... Тут уже необходима вера, горячая вера в великое из великих дело — спасения России.

Не ко всем, о, далеко не ко всем, следует обратиться еще и с таким напоминанием ...

Помните времена былые, времена процветания и могущества России, утерянной, когда многие-многие российские интеллигенты и полуинтеллигенты, и интеллигенты высокой марки, и миллионеры-фабриканты, сознательно или по малости духа своего и своего разумения, *давали* с великой верой и гордостью, словно свечи перед иконой ставили, — давали на ... разрушение России? Ведь давали! Теперь-то мы ясно видим, что давали в фонды, имя же им, — незнаемое? — было: «Забудь Россию», «На погибель России», «На пролитие российской крови». Правда, тогда об *этом* не думали: думали, что дают на освобождение России от ... «сапога жандарма», от «кнута царского», от «опричнины». Помните вечера и концерты с неведомым назначением денежных сборов с них? Помните мохнатые шапки и фуражки, ходившие по рядам в университетских аудиториях? Помните — миллионы даже, отпускавшиеся «на дело» каявшимися в чем-то фабрикантами, которым *тесно* и скучно становилось в родимой жизни? Я помню. Я, зеленый, и сам совал с бьющимся глупым сердцем полтинники и двугривенные в лохматую фуражку, воровато таскавшуюся по ря-

дам-коленкам. Совал — и гордился, глупый! Так вот, на эти-то полтинники и рубли стекавшиеся со всей России, на эти накоплявшиеся миллионы, на миллионы украденные у России, миллионы, у ней ограбленные, с пролитием крови охранявших ее солдат, покупались люди, покупались динамит и бомбы, кинжалы, револьверы, маузеры и пулеметы, чтобы с Россией кончить, — с Россией исторической, великодержавной, славной, с нашей Россией. С Россией кончили. Не непосредственно нашими полтинниками с ней кончили, но и не без этих «полтинников» тут было, хотя бы и не вещественных. Наши *нравственные,* так сказать, полтинники очень и очень помогали. Ну, и пострадали же даватели, жертвователи всяческим. От слепоты своей, от скудости своей душевной и духовной, — тогдашней, — пострадали. Но из-за этого-то вся, вся Великая Россия — страдает уже двенадцать лет. И как страдает! Вот какие последствия «малых дел».

И вот, письмо к «медонцам» ... Оно тоже говорит о малом. Но оно говорит *открыто:* «Помни Россию»! Оно говорит о *долге,* который мы все, все не имеем права не сознавать, в котором мы все уже не можем ошибаться: все знаем *что* с Россией теперь, под каким сапогом она. Под сапогом действительным, лежит и не дышет вот уже сколько лет. Вспомним нашу историю, наших «нижегородцев», нашего мясника Кузьму, нашего князя Пожарского ... Тогда «нижегородцы» ведь неповинны были ни в чем, а дали веру слову Кузьмы, отдавали последнее. Государственне ли нас были? Любили больше? Любили больше, и больше *верили.* Поучимся же у них — и любви, и вере мы, *медонцы.*

Март, 1929 года.
Севр.

КРЕСТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Мы накануне великой годовщины: 12 января, — памяти Мц. Св. Татианы, — исполнится в наступающем году 175 лет основания *первого* Российского Университета — Императорского Московского Университета. Не будем спорить, можно ли называть старейший Университет тем именем, которое приросло к нему за почти два столетия: это никак не изменит исторического названия, права на имя, данное при крещении; как нельзя истребить наименование Села — «Царским», а Эрмитажа — «Императорским». Это история, и она требует *своего.* *

Скоро мы будем вспоминать. И, вспоминая, чтить. Чтить великое прошлое: заслуги строителя просвещения, российского чудо-просвещения. Правда, 175 лет только, и то неполных, сорванных грязной рукой насильника. Не тысяча лет на нем, не столетия даже, как на его собратьях — европейцах. Но есть чем ему гордиться: десятки его питомцев вошли в европейскую науку, врезали в нее главы *русские* навсегда; создали русскую науку, в своеобразном русле. В свое время об этом скажется. Мало того: наш университет создал России просвещение. Высокая наша образованность, во всех проявлениях своих, в науках и в искусствах, в

---

* Статья, присланная Юбилейной Комиссией Московского Землячества.

мощных полетах мысли, пошла от московского истока, выросла из корней московских, — от рассадника просвещения, украшенного священным словом, начертанным золотыми буквами:

«Свет Христов просвещает всех».

И об этом скажут: приведут и числа, и имена. И — дела.

Крестник Мученицы Св. Татианы ныне и сам в венце, в скорбном венце мучений. Содрано золотое слово, Святая Татиана изгнана, святой ее лик разбит, и Дух Истины отошел от Храма. Храм осквернен и мертв. И, об этом скажут: настанет день.

Русское просвещение — под крестом. И там, в бедной России нашей, катакомбной: светится Свет Христов где-нибудь в тайниках, под страхом; не может не светиться: Свет истребить нельзя. И здесь, на чужой земле, в русском рассеянии, светится *русский* Свет, бережно пронесенный в бурях, как Свет от Света. И просвещение это, русское просвещение на чужбине, — воистину крест тяжелый.

Надо его нести. Во имя будущего России. Во имя священного завета — «Свет Христов просвещает всех». Во имя славного прошлого, во славу будущего, славнейшего. Во имя жизни, достойной жизни в других народах — нашей бессмертной родины, которая воскреснет преображенной Светом. Темной, грязной, дикой, нищей, страшной теперь России, забывшей имя свое, единственно, только Свет, великое просветление, может вернуть угасшее — лик достойный. Это мы знаем все. И крест российского просвещения все мы должны нести — и донести. Распятый на кресте наш *Свет* — русское просвещение. Это — сказочная вода «живая».

Этот тяжелый крест выпал на долю молодежи нашей, в ряде других крестов. Помните: в ряде других крестов! Не слово это — «кресты»: совесть нам это скажет. Не место уже словам, давно все сказано. Надо *понять, и — внять.*

Новое поколение — мы, другие. Россия все продолжается и будет продолжаться. Не может не быть России, мы это знаем. Мы это чувствуем. России не быть не может: мы так хотим, и не хотеть не можем. Россия будет — страданием поколений, крестами поколений, *будет!* Разве не слышим голоса внутри нас? Разве все прошлое, кровь и муки, давние и *теперь*, тысячи тысяч мертвых, замученных, наших родных и близких, миллионы терзаемых доныне, — разве они — напрасны? разве они — пустое? Где же цветы могил? где самые могилы даже? .. Мы связаны порукой, страшной: найти, воссоздать Россию. Мы — наша молодежь. Ей мы вручаем *наше.* Ее готовим. Она — дойдет. С крестом, под крестом, дойдет.

Воистину, крест тяжелый. Русское просвещение — на кресте. Русское просвещение воскреснет. Молодежь идет в муках. Дайте же помощи нести крест! Молодежь гибнет, теряя силы. Делит и дни и ночи в работе и ученьи, — и падает. Помогите же, поддержите. России помогите! Вспомните славу русскую — рассадник нашего просвещения, побитый. Мы воскресим его, все мы, вместе, если только проникнемся, что нам делать. Давать и давать, идти с молодежью нашей, с крепкой духом молодежью, — и мы дойдем. В юных н а ш и х дойдем, найдем Россию. Не мы, так они найдут: мы — они.

В славную память Дома Мученицы Святой Татианы — нашего просвещения, Центральный, Парижский, Комитет по обеспечению высшего образования

русским юношам заграницей — для России! — руководимый неустанно стучащимся во все двери, и русские и чужие, М. М. Федоровым, и Московское Землячество, в Париже, возглавляемое почетнейшим москвичем — питомцем Первого нашего Университета, М. С. Зерновым, обращаются к вам, российские люди заграницей, с горячей просьбой: помогите же молодежи донести Свет в Россию, облегчите ее от ноши непосильной, спасите гибнущих в подвиге: помогите все, жертвами, сколько кому по силе, по совести и воле, собрать прочный стипендиальный фонд.

Много нужно на это дело. Но только вспомнить, что наши жертвы не потеряются никогда! Только вспомнить, что собранный нами капитал — вечный из вечных вкладов — российское просвещение, Свет Христов!.. С жертвой из франков наших свершится чудо преображения — в Свет сольются, и в Свете растает тьма.

Ноябрь, 1929 года.

ЛЕД — ТРЕСНУЛ?..

Это случилось больше полвека тому назад, в первые дни войны за освобождение славян. Мне не было полных четырех лет, но я до сих пор помню, — так поразило э т о младенческую душу. И теперь вижу-осязаю, словно о н о все еще топчется на дворе — страшное, голое, мычащее, — и весь сбежавшийся люд охает и вздыхает, и всем, как и мне, страшно.

Я гулял с няней в садике. Помнится, было солнце, и день был, должно быть праздничный, — звонили бойко колокола. Может быть, даже была Пасха. И вдруг, зашумели на дворе, и стало много людей, все побежали с улицы к нам во двор, и что-то испуганно кричали, смотря к сараю. Няня взяла меня на руки и побежала тоже. Она подняла меня очень высоко, чтобы и я мог видеть, и стала кричать и плакать:

«Ах-ты, какие страсти-то, Го-споди!.. Гляди-ка, гляди-ка... и языки им повырывали... нехристи окаянные!..»

На ступеньках к амбару, прижатые народом к бревнам, стояли какие-то страшные чужие люди, с черными курчавыми головами, как арапы. Они были все рваные, с черными голыми грудями, и на их черных лицах, как будто обожженных, сверкали страшные белки глаз. Один из них, высокий, тощий старик, с замотанной головой, словно она у него болела, крестился

на нас и кланялся, и мычал, — и все стали креститься на него. Няня взяла мою руку и стала меня крестить ею и приговаривать:

«Крестись-молись . . . ишь, страшные-то какие, Го-с-поди! . .»

Мне почему-то показалось, что это пришли святые, с икон из церкви, — и стало очень страшно. Старик начал мычать и лаять. От страха я замотал ногами, а няня начала меня тормошить и шлепать:

«Да сиди ты смирно . . . смотри, страшные дяденьки какие . . . Го-споди! . .»

Вдруг старик вытянул к нам руку, сдвинул с нее лохмотья, и я увидал на ней черную и красную щель, а в этой щели что-то белое . . . — и я вдруг понял, что это «живая кость»! Так и вскрикнула мне над ухом няня:

«Ма-тушки . . . живая кость . . . косточку видать . . . Го-споди! . .»

Я и теперь ее вижу — белое, в черной и красной щели. У меня зазвенело во всем теле, я начал кричать и биться, а няня и не думала уходить. Старик тыкал пальцем в эту «живую кость» и мычал, и выл . . . Потом стал тыкать в рот стоявшему возле него курчавому и такому же обгорелому, только молодому, который разевал рот и тоже мычал и лаял. И я увидел, что у него во рту, в самом горле, дрожит что-то необыкновенно страшное, какой-то черный кусочек, вместо красного языка. Я уткнулся в нянино плечо, а она сказала:

«Не бойся, крестись . . . православные это, мученики, святые . . .»

Я выглянул опять на святых и увидел темное лицо, с красными ямами вместо глаз. Это была женщина с ребенком, с голым плечом, с распущенными черными

косами... Все стали класть старику в шапку деньги. Так и сыпались медяки в нее. Няня спустила меня на землю, достала из-за чулка платочек и выкатала из него гривенничек.

«Подадим, пойдем, и мы мученикам-християнам...» — сказала она, но я топотал от страху и не давался ей на руки.

Тут я очутился на руках у нашего плотника, и он стал мне что-то рассказывать про страшных, а няня пошла к ним и все крестилась.

Это был первый ужас, незабываемый ужас в моей жизни. Они мне снились и представлялись долго.

Потом я узнал, что наш царь начал воевать с турками — за них, чтобы их больше не мучили. Помню, в доме у нас, на столах и окнах, лежали мягкие вороха «корпии» — ниточек, которые мы выщипывали из белых тряпочек; это для перевязки ран. Помню служившего у нас в банях высокого, худощавого мужика, уже немолодого, с серебряной серьгой в ухе, которого все у нас называли — Солдат. Он пошел на войну добровольцем, — «за христиан», «за братьев-славян». Он воротился, такой же бодрый с крестом на груди, и привез нам турецкую саблю, фесочки и кожаные туфли, от которых пахло «настоящими турками». По случаю победы у нас был пара́дный обед. На столе стояла сахарная башня, похожая на крепость и в ней горели свечки, а в середине был портрет какого-то генерала с баками, — может быть, самого царя. Солдат, с царапиной на щеке и с крестиком на груди, сидел на почетном месте, рядом с отцом, и все говорил — «премного благодарю!» И все его гладили по плечу и говорили, что — «это тебя благодарить надо!».

Подросши, я все узнал.

*
* *

И вот теперь, оглядываясь за полстолетие, я понимаю, что такое — живая, человеческая, душа. Понимаю крестившегося Солдата, уходившего по своей воле на войну. Понимаю и слезы провожавших. «За святое дело идет!» «За правду идет!» «За веру православную, за братьев!» Понимаю вздохи людей, простых людей, смотревших на братьев-мучеников, вырвавшихся из рук мучителей... Понимаю, почему жалели и давали свои последние копейки, Понимаю, как возмущались «нехристями». За веру Христову мученики — вот кто были эти «братья», зашедшие к нам на двор. Даже мне, четырехлетнему младенцу, передался тогда — бессознательно, но как мучительно ярко! — весь тот ужас. Простые люди — плотники, возчики, маляры, рабочие, неграмотные, — пожалели, сумели понять и пожалеть! Из них не один наш Солдат пошел «за святое дело».

И вот теперь, когда я все понимаю, я смотрю на мир, — и во мне боль и ужас. Я смотрю на мир и, озираясь, ищу, ищу тех, кто были в моем детстве, — людей с живою душой, людей воистину, у которых, при всей их неграмотности, при всей их наружной грубости, было такое сердце, была живая совесть, было понятие «святого дела». Смотрю я теперь на мир — и, Господи, как все пусто, мертво и безразлично кругом.

Не наш старенький двор — мой мир — с сарайчиками и амбарчиками, не грязный наш двор я вижу. Вижу я целый мир, такой утонченный, все знающий, такой образованный, такой всемогущий мир! — гремящий и силой, и богатством, во всеоружии техники не-

сметной. Какая сила!.. Кажется — слово одно скажи, пальцем пошевельни — и все, даже и невозможное, свершится.

И верно: совершается... невозможное!

Эта всемирная сила уже двенадцать лет знает и до всех мелочей ведь знает! — все, что творится безумного и бесчеловечного, подлого, страшного, самого отвратительнейшего, что только может твориться на сей земле... творится с огромнейшей страной, с христиански-братской страной, с народом в сто пятьдесят миллионов людей, от стариков до грудных младенцев, — все знает... Знает, как и сколько убито и замучено, на глазах всего мира и русских, и не русских, и православных, и инославных, и христиан, и нехристиан... видит, что убийство и истребление людей продолжается и по сей день, без останову... знает, что творится хотя бы в Соловках... — об этом и книги писаны, и вырвавшиеся из ада — не только русские, которым можно, пожалуй, и не верить, а и иностранцы, — кричали во всеуслышание, — знает, что уже двенадцать лет совершается самое издевательское гонение христианской веры и всех вер красными палачами-коммунистами... знает, что эта дьявольская сила несет и ужас, и смерть, и духовную заразу на целый мир... знает, сколько уже принесено этой силой вреда и заразы миру... знает что надо обороняться от этой смерти-чумы... — и ни движения, ни вздоха!.. Знает и видит жертвы, рассеянные по всему свету... все, ведь знает! И до сего дня признает эту дьяволову силу за силу — страшно сказать! — правомерную... принимает ее, как равную себе, договаривается с ней, получает от нее, или надеется получить, вы-го-ды... пьет с нею из одной чаши, сидит за одним столом, обменивается рукопожатиями и приветами... — и все

это, т. е., все это свое поведение, называет и покрывает каким-то словно уже магическим — и страшным для здравых душою и совестью людей! — словом: политика! Миллионы погибших и умученных, миллионы мучимых и гибнущих и по сей день людей — все потонуло, все закрылось этим всемогущим, пропитанным кровью словом — политика! Все утонуло в нем: и Бог, и вера, и честь, и совесть и исторические заветы, и понятие долга, и чувства человеческие: любовь, братство, права человека, стыд, приличия, благородство, гордость, благодарность, культурность... — все потонуло, все разлагается и гибнет в этом мертвящем человека слове-деле — политика! Да, в вы-годе, в этой мелочности, в этой подлой, столь недостойной величия человеческого духа выгоде утонуло, сгибло! Да что же случилось с миром?!.. Что же это за наваждение?!..

Так вот для чего были нужны тысячелетия страданий, подвиги гениев, свет Христова учения, водители религий, высокая духовность, достижения чудодейственной техники и несметная власть над всей природой: чтобы все это уперлось в глухой и подлый тупик, все потонуло в... вы-годе!.. Дойти до высот, после стольких чудесных вех, чтобы найти... последнюю веху, желанную веху — вы-году?! чтобы свалиться в яму?!

Откидываясь за полвека, становясь малюткой-четырехлеткой, я с нашего бедного двора, из толпы трудовых людей, простых, простецких людей с ужасом и болью смотрю на эту призрачную вершину мировых достижений человека, на достигнутую им цель — вы-году! И мир еще смеет именовать себя — христианским?! И мир еще может, не содрогаясь, петь великую Песнь — Христу, великое славословие — «Слава в

вышних Богу, и на земли мир, и в человецах благоволение»?!.. Какая ложь!..

*
* *

Но вот, что-то, как будто, дрогнуло... как будто, движется?.. Или это пустое движение во сне, обреченное не проснуться, — последнее шевеленье прошлого, отсвет уже погасающего Света... отзвук замирающего Гласа?.. Или — предвестия Пробуждения? Может быть, нужна была какая-то последняя капля, которая переплеснула чашу?.. Не кровь ли это бедных, мирных русских казаков и их семей, их стариков, жен, матерей, детей, ушедших в чужую землю, своей лишенных, живших мирным трудом, — и там, на чужой земле, под охраной чуждой державы, застигнутых красными палачами и истребленных так утонченно-мучительно, как и башибузукам не грезилось? истребленных с такой гнусной, с такой разрешенной, попущенной, безнаказанной дерзостью, на чужой земле? Может быть, наконец, проснулась совесть, и мир начинает постигать, что ведь это же он, мир, истребил этих несчастных детей... он, цивилизованный мир, истреблял их совместно с красными палачами, двенадцать лет неустанно истреблял? Ибо мир дозволял, двадцать лет дозволял творить это, признав палачей — Державой, властью и силой правомерными! Да, это он, цивилизованный мир, мир XX века, мир христианский, он истреблял и истребляет! Он истребил и детей в Трехречьи, мир-Ирод XX столетия. И еще может, еще смеет петь святую Песнь Рождества — «Христос рождается — славите»?!.. До такого падения не доходил и Ирод. Это неизгладимо: это занесено в историю. Занесено кровью, детской кровью: мир потакал, мир тор-

говал, мир дозволил... за выгоду. Не эта ли детская кровь переплеснула чашу?..

Вот уже начинается движение. Первой начала Англия. Это — важно. Англия не умеет останавливаться на полдороге. Еще — Америка. Достойнейшая, она не признала палачей. Она — может, она в с е может. Дай, Господи. Комитеты защиты христианства, собрания, митинги... Дай, Господи. Да неужели же этот черный проклятый лед, этот позорный лед, сковавший теплое человеческое сердце, ж и в о е сердце, — все еще не убил его!? Дай, Господи. Неужели он трескается, неужели — треснул?! Он должен треснуть и обнажить теплое человечское сердце: иначе — верная смерть человечеству, его движению; иначе — яма! Ибо там, где все заполнила выгода, там — н е л ю д и, а торгаши, там базар. Там в с е продается и покупается, до души продажной. Там уже не мир Божий, а разгульная ярмарка, где одно и одно — «купи — продай».

Слышно живое слово, слышатся голоса из Храма. Может быть, сотворится чудо, и властный Голос сдержит торгующих и изгонит торг душами, торг человеческой кровью?!

То, что зачинается в Англии, с благословения Церкви, важно не столько для нас, кого мир не слышит уже двенадцать лет: оно важно для целого, оглушенного криком базара — мира. Это — Пасха нетления, миру спасение. Да не умолкнет Голос! Пусть очнутся живые души, сольют свои голоса! Да оправдается человечество! Только тогда может оно воскликнуть:

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, и в человецех благоволение!»

Декабрь, 1929 г.
Севр.

К РОДНОЙ МОЛОДЕЖИ

II.

Милые юные друзья![1]

Кончая свое обучение в славянском городке, свой Крымский Кадетский Корпус, русский Корпус, вы просите доброго напутствия... Что сказать вам? Жизнь многому научила вас, жизнь без родины, тоска и боль по родине, все тяжкое, страшное, что выпало вам на долю, что вы перенесли и несете с честью и мужеством. Вот, выхóдите вы на новые дороги — в высшие ли школы, или — в практическую жизнь, в работу... Первое скажу: готовьтесь быть *верными гражданами-сынами России, деятельными и честными, крепкими в творчестве будущего строительства.* Россия разорена, опозорена, ославлена, ослаблена, осквернена, растлена. Вы знаете, должны знать, чтó *там:* и потому вы уже знаете, чтó ей нужно. Вы знаете наше прошлое. Вы знаете, на чем стоит и строится добрая, *человеческая* жизнь. Знаете и другое: как убивается эта жизнь. Вы должны знать, что лишь силами *всего* народа, ведомого достойнейшими и сильными, строится и благоденствует и хранит честь свою всякое христианское государство. Так было и с Россией. И еще вы знаете, видели своими

* Ответ на письмо воспитанников выпускного класса Крымского Кадетского Корпуса (Югославия). См. «Русский Колокол», кн. VI.

глазами и выстрадали сердцем: народ, ведомый разрушителями, осквернителями божеских и человеческих законов, падает и духовно умирает, а добытое веками, чудесное, — обращается в пыль и грязь.

Вам выпадает на долю заново строить, воссоздавать и охранять Россию, истинную, *свою*, Великую Россию. Снова, как будто, приходится *начинать русскую историю*. Значит, прежде всего, надо быть сильными, надо быть государственными, российско-государственными, национальными, иметь верную цель, иметь идеалы совершенства, хранить в душе и в уме тот Лик, ту светлую Россию, какою хотите ее видеть, какою носили ее в сердцах лучшие из ее сынов — гении ее, о которых вам говорит священная наша летопись. Ваша школа, конечно, вложила в ваши юные души, показала вам этот былой, чудесный, ныне столь искаженный Лик. Вы должны оживить его, воссоздать: раскрывать, обновлять, охранять. Вы — мужчины, вы — русские, с великою кровью предков, великих предков, создавших Великую Россию из пустыря раскинутого на четверть мира. И вот, выпадает вам — быть воинами-строителями, как встарь. От всего сердца желаю вам крепости духа и тела, *выработки характера*, непреклонного, уверенного, настойчивого, несокрушимого. Прежняя русская интеллигенция — это мы знаем и по творениям лучших наших писателей, и по истории общественности русской, и по разгрому России, — была часто безвольна, мечтательна, жила миражами и полетами легкой мысли, смотрела часто *поверх* России, знала Россию мало, искала вождей *в чужом*, — и довела Россию, помогла довести Россию до провала, не сумела себя использовать *для* России, при всех дарованиях своих, при всех чудесно-благоприятных средствах великого народа. Выковывайте себя в российских граждан, в *сталь-*

ных мужей. Перед глазами у вас много примеров достойнейших, много таких испытанных, кого возьмете в пример, — Белая Армия России с ее вождями, погибшие доблестно герои, великие духом мужи, как, например, — мученик, великий гражданин России — князь Павел Долгоруков! И еще, второе, важнейшее, помните: узнавайте и научайтесь любить душу народа нашего, узнавайте, ищите ее и в его истории, и в изображениях ее, — подлинной, русской души народной — в творениях наших писателей — великих! Узнавайте народ, его достоинства и его слабости: с ним вам придется работать, воссоздавать Россию.

Между русской общественностью и очень часто между русской Властью и народом — не было духовной связи, не было национальной спайки, и потому героическое дело лучших и деятельнейших сынов России, в минуту смертельной опасности, дело спасения, дело героев, жертвовавших собою безоглядно, не дало видимого плода, не отвоевало России от ложных вождей, от исчадий ада. Обманутый, увлеченный посулами, сбитый с толку народ, не познавший *общего,* своего, национального, не помог истинным сынам России, лучшим из своих братьев, и понес — и не по своей вине! — страшнейшую из страшнейших кару: вы знаете, в каких тисках, в каком разорении и угнетении, в какой грязи и в каком бесчестьи теперь наш народ, ненавидящий самозванных правителей — насильников из неведомого ему, таинственного Третьего Интернационала! И потому, говорю вам от сердца, — учитесь быть близкими народу, учитесь с народом быть и делать, когда наступит пора; полюбите его — вы из него же вышли! — и поймите его темноту, его тоску и стыд — да, он в тоске и стыде, только не говорит об этом! — не вменяйте ему страданий ваших, страданий за Россию: он

неповинен, русский народ, трудовой народ, в бесчестии России. Он безответствен. И еще помните: он — великая сила, он — страшная сила, которая *все* может! Если коммунисты, большей частью чужие ему по крови, посулами и ложью и разжиганием ненависти так долго его водили и держали в ярме, и он волей-неволей помогал им, то *что* же будет, если вы, кровные его, будущие его водители — а вы получите это право, вы, молодое поколение, ибо явитесь перед ним *своими,* образованными, культурными, братьями, — что же будет, если, поняв свой народ и сумев раскрыть в нем чувства познания своей родины, *своей* России, — а оно уже рвется из него тоскою и стыдом! — *что* будет, какой *взрыв энергии творящей, величайших подспудных духовных сил объявится в народе нашем!*

Вспомним нашу историю, те черные годины, когда получая и находя вождей достойных, народ наш *делал* свою историю, сбивал пришельцев-насильников, заполнял и живил пространства, подымал испепеленную Россию из праха в блеск! Вам предстоит великая, чудеснейшая работа: поднять, сотворить Россию! Наш народ — *великий* народ! Это в его истории. В народе нашем силы несокрушимые. Глядите: *жива* Россия! Народ, без вождей, в ярме, — и он отстоял *свое,* инстинктом своим, духом своим отстоял самое главное, без чего он не смог жить: Бога! *Народ отстоял Церковь.* Народ отстаивает и свое другое: *землю!* Жив Русский крестьянин, как ни изводили его, как ни обирают его, как ни губили голодом, как ни старались ввести в ярмо и обратить в скотину. Народ-земледелец — на земле, со своим укладом, со своим бытом, со своим *правом,* неписанным, со своим русским духом, со своими святынями, со своими небесными Вождями, с Сергием и Николою, с Царицею Небесной, с Ильей-Пророком, со *своей*

совестью, *со своим покаянием, со своей чистотой в грязи,* со своей верой в Россию, в бессмертную, вечную Россию, — *жив! Он,* крестьянин, мужик, он один — весь, как один, — *сохранил внутренний,* скрытый от злых, *нетленный, священный Лик, не зная даже о нем, но чуя его, нося его в себе!* Глядите: *подспудно, жива Россия!* Разъедающий коммунизм — его лишь оцарапал, великана. Народ заживит царапины. *Для* него, ибо *он смотрит в века* и время считает по-своему, по *вечной* земле своей, для него *все это* — только царапины. Он *не знает* былого, он слишком богат внутри и потому нам видимое, нами оплакиваемое, для него, считающего на крупные, — *это все страшное* — лишь царапины. По нем равняться приходится, его психологию брать за мерку и не падать духом! С ним строить, с ним верить надо! Зачинать, не страшась, артелью, всенародно, с Богом! И он — покажет себя, он горы сдвинет, он тот же, двухсотмиллионный будет, он *все* воздвигнет, и воскресит, и подарит, воротит России гениев! Вы сами это увидите, верю я. Вы увидите: *сбросит ярмо народ и быстро залечит язвы.* И вот, вам-то тогда придется стать первой культурной сменой, бок-о-бок с талантливейшими, с сильнейшими из него, из целого народа, с *достойнейшими* из его сынов, с вашими братьями по крови, быть может даже, с *былыми грешниками,* — придется быть признанными его водителями. Народ бросится к тем, пойдет крепко за теми, которые покажут ему чудеснейшее — *познание своей, светлой, живой России, чуемый Лик Ее.* С теми пойдет он, кто возьмет в полон его душу, разбудит в нем народную его *гордость,* сознание своей, русской *национальной мощи,* кто великую потребность его утолит — оправдаться же, наконец, перед целым светом, показать себя! Наш народ горд, он *может* быть свято гордым, достойно гор-

дым! Нашему народу *все* доступно, до самых тончайших чувств, лишь бы его *раскрыть! Таким* знают народ, чуют народ, таким показали нам величайшие наши писатели. *Россия догонит мир! С таким* народом — догонит и обгонит. И вам придется участвовать в этом славном, в этом чудесном *беге* — на силу, на ловкость, на *правду*, на *геройство*, на высокое, русское, на гражданство, на достойнейшее, оправданное историей, место в мире, *великодержавное!*

Вы идете учиться дальше? Идите радостно и вольно, идите с верой: великое дело ждет вас: Россию ставить, Россию вести, Россию охранять с боем! А с таким народом, как наш, — вы это знаете от боевых отцов ваших, вы это знаете из светлых страниц истории, — *с таким народом можно творить чудеса.* И *будут* чудеса. И вы будете участвовать в чудесах этих. И будете сами творить чудеса эти — со всем народом, в братстве-отцовстве с ним. Вы своими познаниями, опытом страданий, чуткостью душевной, добытой муками, вы сумеете отворить подпочвенные силы и дать им ход. И будет прекрасная, сильная, крепкая, чистая, *белая* Россия!

Рассеяная по чужим народам, — смотрите! — наша нищая молодежь и сейчас творит чудеса! Тысячи кончили университеты, техникумы, военные школы, работают руками и мозгом, выковывают волю, познают всякие народы и могут посравнить и сделать выводы. Приобретают важные навыки. Новому поколению нашему, вам, друзья мои, суждено быть *бывалым,* необычайным, по мировому опыту, поколением России. Ни один народ, имеющий государственность, не имеет *такого* опыта, *такой* судьбы. С таким поколением, которое живым выйдет из гноя и тлена коммунизма, которое прошло все страны и народы и *не погнулось, не по-*

теряло человеческого лика и русского духа, которое *крепко волей,* которое — стальное, — с таким поколением Россия явится именно, той «птицей-тройкой», которая умчится, и не в неизвестное куда-то, а *по верно проложенной дороге.* И будут «в священном трепете» взирать на нее народы, — по слову провидца Гоголя. «Русь, куда мчишься?» *Знает* Она, — куда. Будет знать. К — Солнцу! К Солнцу Правды, всечеловеческой, ибо уже познáет она *свое,* отстоит, впитает; — и не страшным, а благодатным для Нее станет — *всечеловеческое!*

Приветствую вас, юные, крепкие, сироты без Родины, — сироты пока, до срока, до близкого срока... — не склонившихся под напором бед, а твердо идущих — *дальше!* Идите с Богом, *Россия будет!* Вы для Нее живете, для Нее страдали, и Ее вы получите в награду и в работу, воссоздадите, укрепите, — и сумеете защитить, вы добрая, сильная, славная наша молодежь!

21 мая (3 июня) 1928 г.
Севр.

МУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла
Какой ответ?

А. Пушкин.

Нет, мы не празднуем ныне великой годовщины — 175-летия основания старейшего российского университета — Московского Императорского Университета. Праздновать мы права не имеем, и нет у нас оснований праздновать: нашего университета нет. Мы можем его только поминать; и, поминая, каяться. Обольщать себя нечего: дожили до таких поминок, и будем чистосердечно скромны; будем и справедливы перед великой тенью. Преклоним голову, вспомним Мученицу, какая она была, какие были мы . . . — и постараемся из утраты нашей — если бы только временной! — извлечь назидательный урок и, если возможно, утешение. В этом и должен быть смысл поминок.

Значение Дома Мученицы Св. Татьяны для российского просвещения известно каждому русскому образованному человеку. Об этом много будет написано, ито-

ги будут подведены сполна. Я хочу сказать о другом, о чем, возможно, никто не скажет. Сам питомец Св. Татьяны, не замечал я, — должен, увы, сознаться, — в те годы, когда носил фуражку с синим околышем, золотых слов фронтона о просвещающем всех Христовом Свете. Из дальней дали вижу я их теперь . . . и не могу не сказать о Свете, излить который в сердце своих питомцев — в сердце и ум России — предназначено было Первому Университету.

И — о другом еще.

Храм Просвещения . . . Он был и он много дал. Многое дал и мне, скромному поминальщику его. И что же? После тяжелых испытаний, на чужой стороне, без родины, ныне я вспоминаю с болью, что ни от кого из служивших в Храме ни разу за все четыре года я не услышал внятного слова о просвещении, о русском просвещении . . . о том Просвещении, истинный смысл которого сиял на словах фронтона. О том просвещении, которое, по слову Достоевского, есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указующий ему дорогу жизни». Ни разу в этом родном Храме Просвещения не слыхал я сильных и вдохновенных слов — о родном. Чувствую, как иные возмутятся: а лекции по истории России, а курсы литературы русской, а русская философия, а . . .?! И все-таки, повторяю: многое получил, но не получил главного — русского Просвещения. Конечно, в Доме Мученицы Св. Татьяны, за долгие годы мирного бытия его слышались и речи о России, о нашем славном, о нашем драгоценном, порой будилась и любовь к родному, вскрывались и сокровища родные . . . Но не было это отлито в систему, не было прохвачено основною нитью, связывающей юные души с родиной, с национальным, с нашим. А в мое время — родного и

духу не было. Много сему причин, и теперь не место о сем распространяться.

Дом Мученицы Св. Татьяны, светя золотыми буквами, открывал полную возможность вливать в русские молодые души золотое слово — любви к России, познания России, слово — хранения России, гордости Россией. Я не слыхал его. Меня, в лучшем случае, в Европу уводили, в чело-вечество уводили, и не вели к России. Говорю это с прямотою. В укор ли Мученице? Она неповинна в этом. Она светилась, Татьяна наша. Она томилась, она ждала... И не она повинна, что ныне осквернена, что образ ее нетленный — прообраз России-Мученицы — разбит.

Скажут: дело университета учить науке, а не любви к отечеству. Не так. Дело родного Университета — в самой науке учить родному. Или и это непонятно, и опять станут возражать? Попробую показать примером.

Учить науке можно по разному. Можно, в науке, быть чуждым жизни, духу и существу народа. Можно и по другому: науку освещать Светом, отблесками души народа. Русское просвещение вышло особыми путями, через Христово Слово, пошло от Церкви. В основе русского просвещения, с первых шагов его, заложено Слово Божие, и путь нашему просвещению — так уже случилось это — особенный указан. Нравственно глубоки основы — корни русского просвещения. И цвет его был — свет Истины. Это было — в ранней заре его. Просвещались и ум, и сердце. С годами отмирало, и, наконец, отошло совсем.

Вспомните медицину русскую. Вспомните славные заветы Пирогова. Это ли не русские заветы? Найдете такие, где? Русская совесть, божеская совесть сияла в

сердце подвижника-русского врача, меньшого брата и ученика Св. Великомученика Пантелеймона. Вспомните присягу русского врача — всегдашней и скорой помощи — и помощи безвозмездной. Вспомните и статьи закона, карающие статьи нашего закона. Русское сердце в просвещении — вот оно, наше просвещение. Воистину, человеческое.

Вспомните право русское — Русскую Правду, милостивую. Особенное право, наше. Вспомните — права женщины, обязанности детей к родителям и родителей к детям; отношение к сирым и убогим. Отношение к преступлению. Отношение к наказанию. Вспомните о церковном покаянии, о преступлении, как грехе. Правоведы полнее скажут. Вспомните, что в основе Закона нашего положено Божье Слово: совестливость и сердце; сознание человеческого несовершенства, греховности. В основе нашего Права и Суда незримо лежит Завет Священный. Вспомните русские присяги — это священное «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом... целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь». Вспомните письма Пирогова. Вспомните Менделеева и его «К познанию России». Вспомните Ключевского и его «добрых людей», и вещее его — «Преподобный Сергий Радонежский». Многие ли внимали страшному — и, увы, пророческому, — его глаголу! Многие ли готовы были понять, что грозит нам страшное впереди, когда иссякнет сокровищница души народа — погаснут лампады у гроба великого Угодника? Не вняли, не озаботились влить елей. Вспомните, что все великие наши учители родного были религиозны — Ломоносов, Гоголь, Пирогов, Менделеев, Хомяков, Аксаков, Самарин, Ключевский, Леонтьев, Достоевский, Лесков, Данилевский, Вл. Соловьев... и

— хочу утверждать это — Пушкин. Эта великая основа — Божия — благотворно питала их, крепко крепила силы. Ею они — великие. Религиозны были, церковны были, были от Духа Святости, пребывающего в народе русском. Вот они, воистину просветители России. Вот из какого источника должно бы бессменно течь русское просвещение — в науку. Вот кто бы должен бессменно, физически чередуясь с новыми, пребывать при науке в Храме и учить познаванию России, ее духовности. Тогда бы Она была, и святившая Храм Татьяна не была бы изгнана из него, вовеки.

Мученица, воистину. Вспомним Ее, молитвенно и смиренно, каясь.

Да, не было системы: системы познания России. Русские Университеты не знали первой из всех наук — науки о родном, столь для родного важной: науки о России, науки познания России, обязательнейшей для русского. Только, увы, теперь, когда нет у нас близко родины, видится ясно нам эта священная наука. Разрываем теперь пласты, отгребаем бесплодные наносы, швыряем шлаки с души, — и радуются глаза сквозь слезы блеснувшему внове золоту... увы, недоступному нам теперь. Мы еще можем, как нищие, бережно подбирать крупинки. И мы подбираем их.

Я не ученый, знаю. Но сердцем и болью знаю, что нет и не было никогда первой у нас науки — науки о России. Ее мы должны создать. Вернее — должны собрать. Она уже есть, в возможностях, — богатая наука. Она — чуть ли не вся она — в нашем Пушкине. Его изучают много. Но немногим дано сердцем познать его. Его и возьмут в науку о России: он для сего и есть. Его изучать будут по другому — учиться по нем России, с младенчества и до зрелых лет. Он пройдет от начальных школ и до университетов, и новая наука —

«О России» — будет священна Пушкиным. Время придет — и создадут Русский Пантеон, и свет Пантеона нашего, озаренный Христовым Светом, разольется в великий Свет — радостного познания России — польется из Храма Мученицы Св. Татьяны. Придет время.

У нас — великое наше счастье, великая гордость наша — есть двое величайших: Пушкин—Достоевский, одно — двое. От них-то, познанных до возможного, пойдет новая, русская, наука — наука о России и человечестве: в данной ими гармонии. Оба вышли из дальних далей, из беспредельного, из общей начальной точки, как бы дочелевоческой, — из Духа Господня, — для откровения России. И принесли откровение. На наших земных глазах, в пространстве трех измерений, идут они, двумя параллельными путями, как будто не сливаясь. Один — ясный, как Божий день, такой определенный. Поэт чистый. Светит светом дня Божьего. Через него все видно, все, что только могут узреть его «вещие зеницы, как у испуганной орлицы». Через него только мы можем обнять весь мир, как ни через кого, можем познать Россию — внять Ей. Познать свое место в мире — высокое! Можем постичь небесное и земное —

И горний ангелов полет,
. . . .
И дольней лозы прозябанье.

Такой всеобъемлющий — и ясный. Такой человеческий и русский! Все наше можем познать, и с такой свежей светлостью, как только доступно детям. Помните, от Евангелия — «открыл младенцам»?

Другой — Достоевский, мудрый из величайших, вскрыватель недр — потемок и провалов в человеке

до подсознательного. Не только. Он и вещатель взлетов человека, парений его духа, его души. Изобразитель тонкий высоких и низменных движений, ключарь человеческого рая, ада, ведун общей душевной жизни, всечеловеческой, и — яркого выражения ее — всечеловечности — души русской и русского существа, всего. Страшным даром ему дано внимать

«И гад морских подводный ход» — в душе.

Ему же дано в удел и томление — величайшая «духовная жажда» — сладкий и горький, подчас, удел духа русского — и власть утолять ее. Он так же мало еще воспринят, как и его дружка Пушкин. Вот два величайших моря-океана, две великих воды, две «живых воды», от которых мы будем сладко и долго пить и, пия, познавать Россию и мир. Бесконечно идут они, будто бы не сливаясь. Они сливаются, невидимые для нас, в беспредельности, замыкая собой как бы великий эллипс, русскую сферу нашу, и с ней — общечеловеческую. В них одних все, что человечеству можно и надо знать, чтобы *быть* в мире неслепым, чтобы достойно жить. Это чудеснейшая, неслышная еще нам гармония — ток этих сильных вод, родственных так друг другу, как никто, никому, нигде. Восполняя один другого, дают они *человека* в завершении, дают полноту возможного человеческого духа и, особенно, русского. И не странно, а так понятно, почему, переживший, Достоевский влекся к другому, к Пушкину. Внял его — и себя восполнил. На пороге своей могилы, открыл его и показал нам. И властно сказал — примите! И на единый, короткий час захватил столь бурливое, ищущее предела духовное море русское и сказал — утихни. Расплескалось опять оно, и нет берегов его, и плещется бестолково, смутно. Достоевский открыл нам Пушкина — «явление чрезвычайное и, может быть,

единственное явление русского духа», — сказал Гоголь, — «и пророческое», — добавил Достоевский. Открыл — и, через него, пытался дать синтез человека, русского человека — деятеля в мире и — России. Это — и теперь рвемся к Ней, горько томимся и страдаем. Тщимся теперь по забытым чертам воссоздать убегающий милый образ... Теперь мы чутки. Теперь мы, в томлении, ловим

> ......тайные преданья
> Сердечной, темной старины,
> Ни с чем несвязанные сны,
> Угрозы, толки, предсказанья...

Теперь по иному вчитываемся:

> Тогда — не правда ли? — в пустыне,
> Вдали от суетной молвы,
> Я вам не нравилась... Что ж ныне
> Меня преследуете вы?
> Зачем у вас я на примете?..

Теперь и особый смысл чудится нам в словах:

> Прости ж и ты, мой спутник странный,
> И ты, мой верный идеал...

Мы теперь вполне постигаем этого «спутника странного» и несколько запоздало готовы расстаться с ним, и звенит в ухе горькое — «международный обшмыга». Теперь мы видим его, этот сокровенный идеал Пушкина, — а сколько его разгадывали и теперь, кажется, все разгадывают! — всегда, всегда идеал его, — видим через боль, через утрату, через страшный «магический кристалл» терзаний... Видим Россию нашу и в ней — Татьяну нашу...

Кто даст нам откровенье, утешенье? Узрим ли, найдем ли? Оно — в Пушкине. Не можем не найти.

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...

Найдем. К т о - т о обретет Татьяну. Не те, чудища сна ее, кошмара, «как на больших похоронах», не те — «в рогах, с собачьей мордой», на «череп на гусиной шее, в красном колпаке», — к которым затащил медведь Татьяну, — м е д в е д ь!? — затащил туда, где —

Мельница в присядку пляшет, —

где —

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп.

Этот кошмар пройдет, и вновь обретет Татьяну мужественный, русский человек, кто примет ее, как редкий из редких даров, дар за муки, за доблесть, за жертвы, за раны свои, за пылкую и глубокую к ней любовь. Обретет и сохранит навеки. Ибо подлинно будет ценить ее, бесценную, и детей научит хранить ее — великой науке познания своей Матери — России.

Январь, 1930 г.
Севр.

И. С. ШМЕЛЕВ

Мне предложено «искушение» — сказать самому о своей книге. Постараюсь обойти это искушение. Почему? Да потому, что самому о себе говорить трудно и соблазнительно. Во-вторых — потому, что и для читателей полезнее, когда ему не разъясняет автор, что он хотел выразить в книге и почему написал ее: пусть сам читатель, если он писателем интересуется, примет на сердце книгу. В-третьих... о моей книге, точнее — обо мне, — недавно в «Сегодня» писал Петр Пильский, первый из читателей», ибо подлинный критик всегда есть самый первый и самый чуткий из читателей. А он сказал о «Въезде в Париж», как и обо мне — авторе, так, как будто и я, и он, вместе мы, пережили и написали. Чуткий критик помогает читателю, раскрывает перед читателем духовную ткань произведения; а если произведение — подлинное искусство, то одновременно раскрывается и душевная и духовная ткань писателя. Тут слово авторское «о себе» совершенно лишне. Писал и другой критик, М. Гофман, в «Руле», и тоже дал читателю четкие указания «подхода к книге», и я ему глубоко признателен за это. Серьезные критики, художники сами, — всегда незаменимые и истинные друзья — помощники для читателей и авторов.

О «себе» же скажу разве одно только, — оно и будет о книге, вернее — о книгах. Всякое подлинное творчество рождается от духа, от духовного и душевного нутра писателя: от «вдохновения» в Пушкинском смысле, а не от «необузданного поползновенья». Чем полон

духовный и душевный мир писателя, чем он переполнен, что необходимо изливается в книгу, в творчество — в то русло, которое дает духу писательскому исход и облегченье. Вот, почему творчество, всякое истинное творчество, непреоборимо и непресекаемо. Пока в человеке жив дух, пока душа его будет способна наполняться, — творчество не умрет, ибо всякому наполнению есть предел, и должен быть исход — для переполненного духа. Исход, облегчение для писателя есть одновременно «приход», насыщение и... — позволю себе так выразиться — как бы нагружение души читателей. Чем? Своим, ему присущим: заражает собой читателя. Чем, собственно? «Вдохновеньем», — радостью и мукой, прежде всего; своим миропониманием, мироощущением: красотой и безобразием мира — жизни; добром и злом его; отбором из всего, из всего. Особенно ярко проявляется это в годы обильные, как наше время. Надо еще удивляться, что в современной литературе мира так мало «вдохновенного», порожденного нашим потрясающим временем, — не о России говорю только. Кажется, после великой войны, после великих бурь общественных, в период ломок и перестроек и неустройств в духовных навыках человечества — а о нашем и говорить нечего! — должно бы быть такое переполнение души, такое страшное ее перенасыщение, что «художественное излияние» путем творчества должно бы подарить миру огромное и ценное богатство. Однако, этого пока не видно. Может быть «не назрело»? Или — усыхает сосуд воспринимающий? Не дай Бог.

Я пишу, я говорю — о родном. Говорю — ибо не могу не говорить. Отсюда мои книги. Отсюда и последняя пока — «Въезд в Париж».

ДУША МОСКВЫ

— Памятка —

Нет, не только «темное царство», как с легкого слова критика повелось у нас называть русского купца XIX века — излюбленного героя комедии А. Н. Островского в России — в Москве особенно — жило и делало государственное и, вообще, великое жизненное дело воистину именитое купечество — «светлое царство» русское. Не о промышленности и торговле речь: российское купечество оставило добрую память по себе и в духовном строительстве России. Ведь труд и жертва на поприще человеколюбия — помощь сиротам и обездоленным, больным и старым, пасынкам беспризорной жизни, — дело высокой духовной ценности, и его широта и сила показывают ярко, на какой высоте стояло *душевное* российское просвещение. Корни его глубоки: вспомните трогательный обзор Ключевского — «Добрые люди древней Руси». Великое древо жизни росло и крепло. Где оно, это древо, — ныне? . .

Почтим, помянем.

Эта заметка-памятка не притязает на полноту. Неисчерпаемо море щедрых даров купечества во имя человека-брата; не перечислить имен достойных, не вспомнить минувших дел, всех, сполна: нельзя охватить Россию. Эта памятка говорит только о Москве. Перечисляю по памяти: нет под рукой справок, и неведомо — где они.

Не только дело «богоугодное» нашло в московском купечестве силу великого размаха: российское просвещение в науках и искусствах также многим ему обязано.

Всему миру известна московская «Галлерея Третьяковская», в тихом, кривом и узеньком Толмачевском переулке, в Замоскворечье, — величайшее из собраний картин русских художников, можно сказать — живая история русской живописи. Все великие мира, кто только не заезжал в Москву, все побывали в этом глухом углу, где заборы с набитыми гвоздями охраняют купеческие дома с садами, где поют соловьи весной, где по зимам вздымаются сугробы, а в высокое половодье подчаливают лодки. В этой купеческой усадьбе зародилась жемчужина — сокровище русского искусства. Именитые иностранцы по ней о Москве судили, о России, о русском гении. Вложила она немало в добрую славу о России. Великую эту галлерею всю жизнь собирали Третьяковы, именитые москвичи-купцы. Бережно собирали и хранили. Собрали, затратив миллионы. И принесли в дар Москве, — дар бесценный. И еще капитал оставили, с усадьбой и завещанием: хранить, продолжать и — доступ бесплатно всем. Рассказывают, что Александр III, думая о музее в Петербурге, сказал, разумея русские картины: «Посмотрим, что-то оставили купцы Третьяковы на нашу долю».

Помню еще собрания Цветкова, С. Щукина. Библиотеку Хлудовых, из редкостей по церковному расколу. Собрания древней русской иконной живописи — К. Т. Солдатенкова, С. П. Рябушинского, Постникова, Хлудова, Карзинкина . . . Картинную галлерю И. А. Морозова, на Пречистенке . . . — что еще? . .

К. Т. Солдатенков, «друг литераторов», — между ними, если не ошибаюсь, Герцена и Белинского, — по-

ложил важное начало изданием «тяжелым», недоступным предпринимательству в то время. Без его щедрой жертвы русское образованное общество не скоро бы получило многие капитальные труды европейской ученой мысли: Адама Смита, Рикардо, Дж. Ст. Милля, Дарвина, Бокля, Спенсера . . . не говоря уже о томах Всемирной Истории. Писавший не совсем грамотно, — приглашал друзей «на обед», — Солдатенков вошел в историю русской грамотности.

Московские клиники известны. Немало они способствовали доброй молве по свету о русской медицине, немало придали блеску науке русской. Члены международного съезда врачей, собравшегося в Москве, были поражены «нежданным чудом» — целым клиническим городком, вольно раскинувшимся в садах на великом Девичьем Поле. Москва — «азиатский город» — открыла европейцам чудеснейшее лицо свое. Клиники эти тоже вложили что-то в добрую славу о России. Созданы они жертвой московского именитого купечества. Создавались по волшебству, «в минуту», по обету. Так бывало:

Знаменитый профессор говорит, довольный: «полагаю, опасность миновала». Обрадованный, отец ли, муж ли, крестится вольным взмахом и, забирая профессорскую руку, говорит быстро, отсекая: «будет-с, как обещал-с . . . изготовьте, дорогой профессор, сметочку, что надо-с . . . дело хорошее-с, о-чень рад-с!» И — через неделю: «так-с . . . триста тысяч-с . . . до пятисот гоните-с, ширьтесь». И — чек.

Клиники воздвигались, словно по волшебству, 80-90 годах минувшего века и все продолжали разрастаться. Жертвователи соревновали, «из-за чести». Большинство клиник — именные. Насколько помню, — за точность не ручаюсь, справок у меня нет: гинекологиче-

ская клиника имени Т. С. Морозова, клиника по нервным болезням, В. А. Морозовой, клиника по раковым опухолям, «зыковская», — ее же, детская клиника Мазуриных, по внутренним болезням...

Многие больницы созданы тем же купечеством московским: глазная Алексеевская, бесплатная Бахрушинская, Хлудовская, Сокольническая, Морозовская, Солдатенковская, Солодовниковская... — все без платы.

Богодельни: Набилковская, Боевская, Поповых, Ка́закова, Алексеевская, Морозовская, Варваринская, Ушаковская, Мещанские — Купеческого Общества, Солодовниковская... — на многие десятки тысяч престарелых. Многие детские приюты, убежища для вдов, сиротские дома... — без счета.

Дома дешевых квартир для неимущих, Бахрушина... Ночлежные дома Крестовниковых и Морозова, на 3-4000 бездомных...

Коммерческий Институт, коммерческие училища, Практическая Академия, техническое училище имени Комиссарова, — того самого мещанина Комиссарова, что вышиб из руки Каракозова оружие, направленное на Царя-Освободителя, — Мещанские училища — гиганты, десятки ремесленных училищ и школы рукоделий... — все создано купцами. Их обеспечивавшие капиталы составляли перед войной сумму около десяти миллионов рублей — 130 миллионов франков. Где они?..

Родильные приюты, училище для глухонемых, Рукавишниковский приют для исправления малолетних преступников, с мастерскими и сельскохозяйственной школой в собственном имении, прядильно-ткацкие образцовые школы, школы технического рисования, школы фабричных колористов, литейщиков, художественной ковки, слесарей, монтеров... — на все широко да-

вало купечество. Легко давало. Много дел человеколюбия и просвещения остались безыменными, по Слову: «пусть левая рука твоя не знает, что творит правая». Сотни миллионов разбросал Солодовников по всей России. Часть из них воплотилась в богадельни, приюты, школы, гимназии, народные дома, больницы, в приданое невестам-бедным; большая часть была застигнута революцией. Ныне — пропало все.

Московский Биржевой Комитет и Московское Купеческое Общество стояли у порога огромных начинаний — для народа. Война задержала их. Революция поглотила все.

Скончавшаяся во время войны В. А. Морозова оставила «в помощь жертвам войны» 6 000 000 зол. рублей — 75 000 000 франков. Они пропали.

Ю. И. Базанова — московка-сибирячка, «друг студентов». За невзнос платы за учение тысячи бедняков-студентов могли потерять университет. Они его не потеряли, благодаря Базановой. И если бы их было десятки тысяч, все бы внесли — из щедрого кошеля ее.

В. О. Ключевский сказал когда-то: «Добрые люди есть еще и у Новой Руси, слава Богу... доброе семя живо: стипендиальный наш фонд ушел уже за два миллиона!»

Это было в 90-х еще годах. Теперь?..

И как же легко и просто выкладывались деньги! Вот картинка.

М. Ф. Морозова, строгой жизни, почтенная, богомольная старуха. Ну, какое ей дело до... театров! К ней заезжает внучка, М. Д. Карпова, говорит, что надо для развлечения рабочих, для отвлечения их от пьянства, достроить, наконец, театр при фабриках в Орехово-Зуеве... стройка давно остановилась, выстроили только стены, срам! — «А много ль надо» — «Да

тысяч двести, я думаю». — «А не маловато будет?» — «Ну, прибавьте». Старуха нажимает пуговку у звонка. Является лакей. — «Миша, скажи в контору... выписали бы чек! да из моих личных, чтобы... да ты не спутай: на двести пятьдесят тысяч». Это — три с лишним миллиона франков. И в две минуты. Выписывали и в миллионах просто.

Мелькают имена — С. И. Мамонтов, Меркушев из Сибири... — всего не вспомнишь. Какие силы и надежды, какие взмахи, души... Где все теперь?! Не хлопотали о народе, не кричали, не суесловили. А делали, без шума, п р о с т о.

Их надо вспомнить. Надо записать все — и помнить.

А тысячи церквей, по всей России! Школы, больницы, богадельни, приюты, университеты, народные дома, театры, библиотеки, музеи — по городам, по городкам, по селам. Видал я сметы городов и земств. В холодных цифрах, в этих «стипендиях и капиталах» — сколько!.. Надо знать. По всей России и не сочтешь. И много, очень много безыменных. Я сказал только о Москве, что вспомнил. Все это создавалось — кем? Русскими, православными людьми, — «вчерашними мужиками» создавалось.

Много я ездил по России, бродил по глухим углам, и узнавал такое... — не поверишь. Ни в Питере, ни в Москве не знали. Знали на местах и не дивились: чему же удивляться, — «добрый человек» — и все. Иначе как же? Помню, в Глазове, Вятской губернии, среди лесов и болот, встретил... дрорец-гимназию. «На капиталы Солодовникова». На пустыре, в глуши, во тьме, чудеснейший «дворец света», воистину — свет из тьмы.

И это — «темное царство!» Нет: это свет из сердца.

Март, 1930 г.

ПО ПОВОДУ «МАНЕЖА»

В статьях русских газет в Париже, за последний месяц поминали мое «Слово о 'Татьяне'», сказанное в январе 1924 г. Вполне естественно, что сильно исказили мои слова. Верю, что исказили без умысла, но от этого мне не легче. Шутка ли, когда П. Н. Милюков сообщает своим читателям, что я «противопоставил 'здание на Моховой' другому соседнему зданию, манежу, или 'экзерцирхаузу', как оно тогда называлось». И дальше: «Шмелев в своей речи высказал определенное предпочитание культурной роли манежа перед ролью университета: собственно, манеж и следовало бы чествовать в таком случае последовательным 'патриотам'. К чему украшать себя чужими знаменами?»

Осторожнее поступило «Возрождение». Оно, ближе к истине, отмечало, что «Шмелев . . . напомнил однажды о роли 'Манежа — в одной стороне жизни Московского Университета». Но и «Возрождение» сделало ошибку, заметив, что «напрасно П. Н. Милюков полемизирует с И. С. Шмелевым: — оба они говорили об одном и том же, но только один говорил о факте, другой о последствиях того же самого факта».

И так, я оказался, в споре газет, обстреленным, а читатель — введенным в заблуждение. Вышло так, что я, вспоминая о «Татьяне», духовной моей питательнице, будто бы чествовал «манеж». Это неправда, и я нахо-

жу необходимым привести — для читателей — подлинные мои слова, в выдержках, о «манеже».

«Я лишь обще коснусь того, — говорил я в «Слове о 'Татьяне'», — что связано с русским просвещением, с «Татьяной» прошлого.

«Помните вы скучное, длинное-длинное, желтоватое, с мутными окнами, здание... так называемого «экзерциргауза», николаевского манежа? — той, для студентов, постоянной гауптвахты, — и только гауптвахты! — которое так удручало глаза, ловившие только дали? Этот манеж, действительно, закрывал дали. Не манежем он был, конечно, не историческим зданием, — в деталях очень красивым, если внимательней присмотреться, — для ловивших дали: это был важный символ! И этот символ мешал... «прорывам». Он закрывал и дали, и, к сожалению, русский Кремль! Смотреть не хотели из-за него, поверх него!»

«Этот «манеж» мешал. Он, прямо, не пускал в дали. Да, он часто вбирал в себя, в себе удержать хотел, хотел охладить, сдержать. И не всегда был неправ. И только ли манежем он был, скучным «экзерциргаузом»? В нем бывали и народные гулянья... правда, с городовыми, — но с городовыми, пожалуй, и не всегда плохо? В нем обучалась и русская армия, та, что помогала защищать русский чудесный Кремль, яркий российский символ, и даже — дали! В нем бывали богатые выставки российского хозяйства. В нем были и чудесные архитектурные детали, и удивительно вольный свод, без единой подпорки раскатившегося пролета, чудо строительной техники, — поражавший и европейский глаз». «Правда, он останавливал разбегавшиеся по далям взгляды...»

«Я далек от того, чтобы воспевать гимн «манежу»: я только хочу сказать, что он иногда был нужен».

Где же тут «предпочтение» культурной роли манежа перед ролью университета? где же тут «противопоставление» здания на Моховой другому соседнему зданию, манежу, или «экзерциргаузу»?! Далее:

«Вспомните вы университеты... Кто захватывал молодежь? Тот, кто уводил ее к д а л я м, и чуждым, и неизвестным; кто иногда обрывал молодые корни, углублявшиеся в родную почву».

Далее, говорю о В. О. Ключевском:

«Да, он умел выпукло показать н а ш е, душу России нашей, и его талант, его крепкое чувство р у с с к о г о освежали молодые сердца, быть может, уже предчувствовавшие, что скоро она утратится, Россия наша. К нему бежали, его аудиторию переполняли... Но это были миги. Его принимали постольку-поскольку... Многие ли принимали в душу его неисчерпаемую до глубины речь-слово — «Преподобный Сергий Радонежский»? Многие ли вслушивались с трепетом в его пророческое предостережение? многие ли соглашались, когда сказал он о том страшном, что впереди, когда перестанут черпать из величайшей сокровищницы духа народного, когда погаснут лампады над гробницей Угодника?»

«Многие ли профессора звали прислушиваться к дыханию России? прощать уклоны и нестроение, любовно-чутко подходить к ней в болях ее, в ее болезненных родах чудного будущего — с в о е г о, своего содержания, своей окраски? многие ли учили ценить и любить родное? много ли внимания уделялось творческой национальной мысли? не смеялись ли над опасениями «потрясений основ»? свободное ли было отношение к инакомыслящим?» «Мы знаем, что всякое особливое, что не укладывалось в приятно приемлемые пути «левизны», рассматривалось враждебно».

«И всю потрясающую сложность, все величайшее богатство ветвившейся и дробившейся русской души и русской мысли старались свести в русло, заранее признанное самым верным...»

«Мешал манеж! Этот казенный манеж, этот символ насилия, который раздули до размеров стихийных!»

«Манеж, российский экзерциргауз, — частность. Мог он закрыть Россию? Не закрывал никогда, кто мог и хотел зорко и глубже видеть».

«Манеж... Надо было только умело-чутко идти к нему, обойти его, — и открывался чудесный Кремль и чудесные за ним дали. Не сумели? Хотели через него пройти, снести этот исторический «экзерциргауз», глаза мозоливший, этот дом трудного искуса, упражнения и узды, — и прошли насквозь — и за ним увидали... стены. И головы о них разбили, и многие полегли под ними».

Где же тут «предпочтение» манежа университету? где «противопоставление» здания на Моховой — «экзерциргаузу»? И откуда выходит, что «оба они — т. е., я и П. Н. Милюков, — говорили об одном и том же»?! Манеж у меня — как частность, но для кого-то он являлся не «частностью», а — все, все покрывавшим мраком. И эту искусственную раздутую значимость ныне навязывают и мне, как предмет восхваления. Я вкусил от Университета сладостного, стольким ему обязан, слишком мне дорог он, чтобы я смел огромнейшему, чудеснейшему «противопоставить» частность! И ныне приписывающего мне неблагодарность, сильного русского ученого, много и мне открывшего в культуре, П. Н. Милюкова я крепко связываю в душе с «Татьяной», какую чту.

И откуда выходит, что «оба они — т. е., я и П. Н. Милюков, — говорили об одном и том же»? Так — ошибочно утверждать. А о «чужих знаменах» . . . вот что: эти «знамена», это поклонение светлой памяти «Татьяны» нашей — наше право, наш долг, не «чужие» они для нас, а — наши!

И еще — последнее замечние:

То, о чем я только что говорил, мне близко и хорошо известно. Я знал Университет, но я узнал и «манеж». Как и П. Н. Милюкову, и — «мне самому пришлось проделать хорошо знакомый студентам путь из университета в манеж и из манежа в Бутырки». «Опыт», как будто, одинаков. Почему же «итоги» разные?

Но это уже вопрос особый.

Август 1930 г.

РУССКИЙ ЛАГЕРЬ В КАПБРЕТОНЕ

Ко мне не раз обращались, а теперь с приближением летних вакаций, особенно часто обращаются с запросами об условиях лагерной жизни русских национальных разведчиков в Капбретоне — в департ. Ланд. Эти обращения — ко мне — объясняются, очевидно, тем, что знают о моем многолетнем пребывании у океана, в Капбретоне. Отвечать подробно каждому для меня очень затруднительно, и я позволю себе ответить на запросы этой исчерпывающей заметкой о «русском лагере», при любезном содействии газеты.

Я хорошо знаю «русский лагерь» национальных разведчиков — организацию полковника П. Н. Богдановича: знаю лет восемь, с первого его появления в капбретонских лесах, у океана. Теперь его знают тысячи французов Капбретона, Осегора, Сорса, Лабена, С. Вэнсэн де Тироса, Байоны и Биаррица, а у капбретонцев сложилась даже примета-поговорка: «приехал полковник Богданович, значит — сезон начался». Помню, как семь лет тому совершился «въезд в Капбретон» юной российской рати, крепкими голосами всполошившей мирную станцию лесного морского городка. Пытливо, как бы с сомнением и опаской, поглядывали капбретонцы на шумную ораву неизвестных, которые, вы-

строивши ряды, двинулись по зеленым улицам, под неизвестные капбретонцам звуки походной песни: «На солнце оружьем сверкая... проходил полк гусар-усачей».

Не прошло месяца и осторожность, и недоверие сменились полным признанием: русские разведчики завоевали капбретонцев. Разведчики, может быть, и не знают чувств населения, но нам, обывателям, сжившимся с городком, ясно видно, на каком счету у капбретонцев — разведчики: заговоришь о них и лица расползаются в улыбку; особенно, конечно, у торговцев.

Лагерь устроился (и по сию пору пребывает) на опушке сосновых лесов, — этих «брынских» лесов во Франции, тянущихся на сотни километров, — на дюнах океанического песка, у лесной реки, впадающей неподалеку в океан. Устроился, и разведчики, «эклерэры», стали мало-помалу своими для капбретонцев, от почтенного г. мэра, доктора Жюнка, добряка-гиганта, принявшего от разведчиков знак пятилетней дружбы, шелковую нашивку, до последнего капбретонского мальчишки, довольно верно насвистывающего чужую лихую песню — «Взвейся, соколы, орлами... полно горе горевать!» Связали себя русские разведчики с Капбретоном: на их юбилейном знаке, в память пятилетней лагерной стоянки на капбретонской земле, — значится капбретонский герб: синее поле океана и на нем — желтый угол, острием вверх, старинное примитивное изображение дюн-песков. Многие жители Капбретона выражали желание получить этот русско-французский знак — знак пятилетнего «союза».

Но каковы же условия жизни «русского лагеря»?

Условия эти превосходны, лучшего и желать нельзя. Воздух — морской, степной и лесной, — все вме-

сте: такой воздух, что первое время аппетит, прямо, бешеный, а сон свинцовый. Что за чудеса! Масло, молоко, хлеб, кофе, — к чему мы давно привыкли во Франции, получают здесь необыкновенный вкус, сладость и аромат. Это подтвердит каждый, хотя несколько дней побывавший в Капбретоне. Такого воздуха нет нигде. Быть может это самовнушение. Вы как будто слегка пьянеете, как случается иногда в горах.

Заведующий хозяйством приходит в ужас, видя перерасход на хлебе: хлебной нормы не существует, или, вернее, есть правило: сколько влезет. Организм скоро приходит в равновесие, в порядок, но порядок вдруг нарушается приливом аппетита, необъяснимого естественными причинами, или, по словам лагерного врача, объяснимого разве «явлениями, еще незнакомыми науке . . . какими-нибудь таинственными лучами, излучениями песков? . . океаническими воздушными течениями? . .» Доктор мне признавался, что на него находит порой бешеный аппетит, и он съедает, к стыду своему — и к ущербу лагерного хозяйства — по четыре тарелки борща и обгладывает две-три огромных кости . . . — «знаете, с этими хряща-ми . . . с этим жирком горячим! . .» Правда, повар в лагере исключительный знаток дела. К лагерному котлу приписываются за лето многие, родные питомцы лагеря, проживающие по близости.

Климат Капбретона великолепный. Жаркие излучения песков, умеряются дыханьем океана. Воздух солоноватый, густой, смолистый, скрыто налитый иодом. С безоблачного неба весь день обливает солнцем. Этот воздух творит, поистине, чудеса: к концу лета разведчики становятся бронзовыми, полноголосыми, ясноглазыми, широкогрудыми, крепкоколенными крепышами. Не раз провожал я их, в конце сентября, и поражался

чудесной переменой. Воистину это было чудо преображения: в июле они были детьми, в сравнении с этими молодцами, набравшими за два месяца и в росте, и в весе, и в грудной клетке, и во всем существе своем. Это чудо силы лесного-морского воздуха, здоровой и сытной пищи, жизни на солнце, сна под открытым небом — в американских палатках, на нарах и соломе, — чудо разумных упражнений, прогулок и походов, чудо — полного равновесия, душевного и телесного. Это чудо от сил природы надо дополнить еще уменьем создать его, талантом руководителя-начальника — полковника П. Н. Богдановича. За годы моего знакомства с жизнью «русского лагеря» я не раз убеждался в этом: передо мной проходили юноши, спокойные, выдержанные, отменно вежливые, веселые, бодрые и почему-то все и всегда красивые, — независимо от природных черт, красивые красотой здоровья и душевного равновесия. Воспитание в русском лагере — тайна его руководителя-полковника, владеющего редким даром находить мудрых педагогов и образцовых инструкторов. Я не раз слышал от французов: «какие воспитанные! какая выдержка, выправка . . . какой ритм!» Разведчика капбретонца различишь издали, среди многих, даже если не знаешь его головной убор — шапочку летчика-молодца. — Издали отличишь — орел! Восьмилетки, и те орлами смотрят, — такой у них смелый, уважающий себя вид. Разведчики-капбретонцы предупредительны, внимательны, вежливы к окружающим.

Для нас, русских, без родины, особенно важно воспитание и укрепление национального духа, чувства. Такое воспитание — краеугольный камень организации русских разведчиков. Им преподают Закон Божий, русскую историю, географию, родной язык. Над лагерем весь день развивается родной флаг на высокой мачте,

поднимаемый на заре, при звуках трубы, и опускаемый в торжественной тишине, когда лагерь отходит ко сну с молитвой. Разведчики славно служат почетному званию — «ты — русский!» Мэр Капбретона доктор Жюнка неоднократно высказывал свое восхищение ими — их образцовым поведением, и его «грамоты» с печатями Капбретона хранятся в архиве организации. Физическое развитие и ловкость русских разведчиков отмечены призами-победами их на морских праздниках в Осегоре, на так называемых — осегорских играх» — главным образом, в гребном спорте. Художественная талантливость питомцев «русского лагеря» не раз отмечена печатью, местной и департаменской. Концертные публичные выступления разведчиков вызывают восторги французов и иностранцев. Коренные капбретонцы это знают и гордятся: «наши-то ребята, русские разведчики!» Это чувство связи через место закрепилось в прошлом году знаменательным происшествием.

Лагерь устроил бесплатный концерт, собравший множество посетителей французов и иностранцев. Приехали даже из Биаррица, не говоря уже о близком курорте — Осегоре. Исполнение было блестящее, и французские газеты отметили это большой и восторженной статьей. Одна француженка, сестра влиятельного журналиста из Бордо, как-то узнала, что трое разведчиков должны уехать из лагеря до срока, так как родители их не внесли денег за их содержание в лагере. И вот, не переговорив с начальником организации, не получив разрешения от него — от полк. П. Н. Богдановича, — она обошла зрителей со шляпой в руке, собирая «в пользу неимущих разведчиков». Давали охотно, и француженка собрала что-то около 300 франков. По ложение создалось и трудное, и неприятное. Выходило так, что разведчики приглашали на даровой концерт,

и вот обошли со шляпой, собирая на свою бедность. Не желая обижать ни зрителей, ни добрую француженку, желавшую от всего сердца помочь бедным, полковник Богданович нашел очень тонкий выход: он поблагодарил публику за приятную неожиданность, за трогательное внимание к разведчикам, объяснил, что разведчики всегда находят поддержку родной среды и с благодарностью объявил, что они отдают эти собранные для них деньги в пользу бедных детей Капбретона. Надо было видеть, как приняли этот «жест» французы и иностранцы! Надо было слышать, как кричали: «что за молодцы, эти русские!..» И по всей округе, по всем Ландам побежала слава об этом, как говорили, — «красивом жесте»! Говорили об этом все, и сияли глаза французские. Только и слышалось — «молодцы! молодцы русские!» Этим я и закончу ответ на запросы о «русском лагере».

Июнь, 1934 г.
Париж.

ТЫ ПОБЕДИЛ, ГАЛИЛЕЯНИН

Убили короля Александра I, благородного нашего Печальника. Убили ценнейшее, посягнули на самое священное, что остается еще у человечества в шаткое наше время: духовное благородство, доблесть, чувство долга, самоотверженность ... — ибо Король Александр редкостно воплощал в себе эти благороднейшие человеческие черты. Это ведомо теперь всем, даже и омертвевшим душам — политиканам-европейцам, подменившим живую жизнь мертвыми принципами. Если бы имели еще они жувую душу, они должны были бы воскликнуть — «Ты победил, Галилеянин!» — как воскликнул когда-то наш полуевропеец Герцен.

То, чему свидетелем стал весь мир после кончины Короля Александра I — величайшая из побед: всенародная канонизация, причисление Короля к лику Святых Мучеников, как бы помазание на вечное царствование в памяти и сердцах народа, помазание без слов, всеобщим неслыханным стоном, всеобщими слезами. Это чудо шаткого нашего времени, которое в чудеса не верит, но которому *дано* увидеть. Оно поставлено перед чудом — перед величавой душевной красотой и благородством, поистине, исключительными. То, что теперь увидали все — победа духа над тлением, вечного

над преходящим и суетным. Глас народа — глас Божий: весь народ Югославии, все совестливые люди *исторически* подтвердили, *Кого* потеряли, *Кого* отняли у скудного ограбляемого мира насилием убийства. Бывают события, когда Перст Божий как бы грозится миру; когда человечеству, потерявшему различение добра и зла, через одного, достойнейшего, как бы через искупительную жертву, указуется верный путь, когда всем делается ясно, где правда, доблесть, добро и благородство, и где — бесстыдство, ложь, низость, зло.

Кем был для нашей безустойной жизни почивший Король Александр I Югославский? Олицетворением чести, защитником правды — Божией и человеческой. Он был ослепляющим укором для всех, строящих жизнь неправдой; свет *Его* был отовсюду виден, колол глаза. И служители тьмы погасили его насилием. Олицетворением чести был Король-Рыцарь, Александр I Югославский. Свидетельствуют об этом: государственные акты, слова Короля, в актах запечатленных, миллионы голосов Его народа, страдание наше русское, утоленное Им так благородно — чутко. Мы свидетельствуем об этом и будем всегда, ныне и присно свидетельствовать миру. Он не только Славным вошел в историю: Он вошел в недра народные — Героем, бессмертным Кралем-Юнаком; войдет в сказания, как Святой, в творчество, как прекраснейший образ Человека и Государя. Отшедший, он будет жить: Он обогатил человеческую мысль и чувство и найдет свое воплощение в Искусстве. Это глас, вопиющий — в пустыне сумеречных дней наших. Услышит ли пустыня? Это — знамение человечеству: очнись!

Как бы низко не падал человек, как бы ни подменивал похотями ценнейшее — в каждой падшей душе тлеет святая искра. Трагическое событие, Кровь Ко-

роля-Мученика — поставило Его на высоту, как образ недосягаемой красоты духовной, да разумеют и падшие. Какая жертва принесена! Поймут ли *такое* знамение?!

Не только Он вознесен на высоты недосягаемые; за собой Он поднял свою Державу, с миром ее поставил лицом к лицу: «смотрите же, чтите, это — *Мой* народ!»

А нам, русским людям, да будет великим утешением, ободрением и надеждой: Он — наш, духовно. Сербией порожденный, воспитанный ее духом героизма и верности, Он вдохновлен был великой русской культурой, человеколюбивой, широкой и глубокой, благостной и благоговейной, верной великому завету: «Свет Христов просвещает всех». Его жизнь — служение и подвиг. Святая Жертва за мировое окаянство, ныне принадлежит Он миру.

22-го октября — 5 ноября 1934 г.
Париж.

МЯТЫЙ ПАР

Все чаще спрашиваешь себя: пустеют люди? теряют чувства, утрачивают способность — *помнить?* ожесточается, усыхает человек? И приходится отвечать, что да, усыхает, утрачивает слух к голосу своего «надсмотрщика» — совести, теряет навыки к благородству, долгу, любви, даже и к простой жалости. Это так, какие бы случаи исключительных душ ни приводились. Я сам знаю чудесные примеры. Но если глядеть на «большие числа», — печальный вывод неоспорим.

Не буду уж говорить о политике, о «мировом лицемерии»: в политике и всегда-то было неблагополучно в нравственном отношении, хотя были и величественные деяния, забываемые и извращаемые ныне. В обыденную жизнь всмотритесь. Уж кому-кому, как не нам, охранять божеский закон любви к ближнему о со-страдании... ну, хотя бы уж из первичного соображения — «дам — и мне дадут»? Все видали, все испытали, всего испили. Нет, хладеем и равнодушничаем, отмахиваемся, стараемся «не помнить», глушим голос своего верного надсмотрщика — совести, совестливости даже. Ознакомьтесь с итогами «сборов», с мытарствами лиц, что-то еще пытающихся делать. Беднеем? Конечно, не богатеем... но беднеем скорей душевно. Что-то еще

даем, но эти бесчисленные балы, вечера, концерты рассчитаны на приманку, на «обмен», на — «дай — и получи». Подсчитайте, сколько впустую разбрасывается денег, которые для нужды нужны! За помещения, за налоги, за «мелкие расходы», за «прочее». И все эти расходы — вернейшие, и без них нельзя, но они составляют порой свыше 60—70 проц.! Подсчитайте и пораздумайте.

Возьмите самое важно дело наше, на все оценки — заботу о наших инвалидах. И что же видим? Явный укор, в глаза, — нам укор. Инвалиды наши — «на Божьей воле», как птицы небесные, — и мы можем с горькой усмешкой видеть, как извращаем евангельское: «о завтрашнем дне не помышляйте». Завтрашнего дня нет у инвалидов. Это им облегчит, конечно, награду на небеси, а нас, если проснется совесть, раздавит беспощадно, но не исправит упущенного, — нашего преступления. Или мы и бояться перестали укоров совести? Инвалиды молчат... но вдумайтесь в их молчание, напрягите воображение, поменяйтесь местами с ними... — и вы узнаете все, и ужаснетесь. Я не буду приводить примеров, — страшно их приводить. Вдумчивый человек *увидит*. Управляющие делами инвалидов — те же инвалиды, и они так совестливы-чутки, что... хочется им сказать: да будьте же, дорогие, властны и требуйте! все, ведь, у вас права!.. Знаю, они не согласятся: они — герои, а герои не требуют. И вот, молчат герои. И мы — молчим. Мы что-то делаем... вразбивку и помаленьку. Позор! Не додумались — в *таком* деле! Не обложили себя *обязательным* налогом, не связали организацией. А раздумать по совести... — совесть-то у нас есть? — что бы смогли мы сделать!

Вспомнишь детство свое, Москву. На нашем дворе, сапожники-пропойцы, оголтелый совсем народ... но

встретится вот такой сапожник с каким-нибудь «севастопольцем», — тогда они еще водились, — или со свежим, с «турецким инвалидом» ... — так весь и засияет, угощает махорочкой, сам ему сунет в губы, если герой безрукий, тащит его опохмелиться, требует «про войну». Уличные мальчишки и не подумали никогда смеяться над инвалидом с «дрыгающей ногой», а смотрели с плаксивым ртом, и скажи им — «подай ему», — единственную свою монетку отдали бы. И отдавали. У нас, помню, таким героям — почетное место было. Помню и свои чувства. Кто нас в этом воспитывал? Да те же простые люди, тот же народ, который в турецкую войну, «как-то сам, что-то понявши», пошел воевать «за христиан». С одного нашего двора ушли двое добровольцев, без всяких слов, — и всем было все понятно. Воротились — один без ноги, другой с двумя турецкими пулями. Просто, без похвальбы: отбыли *душевную* повинность. Да, было *что-то,* что теперь испаряется в мельканьи.

Да, жизнь приняла бег бешеный, попала в «систему скоростей» и мешает нам вдуматься, вчувствоваться, вобрать в себя. В мельканьи этом мы легко забываем все. Скоро не *люди* будем, а так ... мелькатели.

Стыдно повторять «детскую истину», что *нельзя,* позорно, преступно забывать тех, кем когда-то гордились; нельзя выбрасывать из души, как «отработанный, мятый пар», чудеснейшие движения души, растеривать их в мельканьях жизни. Нельзя героев, ныне беспомощных, безногих и безруких, слепых и паралична, больных, затурканных ... — считать чем-то вроде «отработанного, мятого пара», хоть это и отвечает веку машинному, веку мельканий и скоростей. Страшен наш век — борьба: мчащегося железа и — тончайшей материи духовной, невидной глазу, — движений

сердца, еще не совсем усохшего. Тут уж вопрос о *человечности,* о том важнейшем, без чего все и вопросы рушатся: быть *человеку* или — зверю. Что уж тут думать о возрождении России? Не можем 6000 инвалидов устроить сносно. Какие уж тут думы о 160-миллионном государстве?! *Так как же?* Признать себя полными банкротами, пылью — во след мельканью, «отработанным, мятым паром»?..

СЛОВО И. С. ШМЕЛЕВА

Слово, сказанное И. С. Шмелевым на торжественном собрании Комитета содействия «Дню Русского Инвалида», по случаю десятилетия установления: Дня русского инвалида.

Господа,

«Наши герои-инвалиды — образ долга, носители российской чести».

Так сказали русские писатели в своем воззвании к русским людям за рубежом, десять лет тому. Мы это помним. Русская Армия исполнила свой долг. Это исторически бесспорно. Верность национальной чести — наша духовная победа. Россия может смело глядеть в глаза: она не предавала, она — спасала. Ныне, забытая, она несет свой крест — крест испытаний, особенно тягчайший для вас, носители российской чести. Герои всех народов лаврами повиты . . . Только наши герои — рассеяны в пустынях мира.

Десять лет прошло, как установлен «День Инвалида». Русские люди продолжают помогать, но средств все меньше. Нещедрый мир охладевает, забывает. Все больше лишаемых работы, все больше новых инвалидов. Что делать, надо и это вынести, напрячь все силы. Все это не бесплодно, не бесследно: все это отливается в духовный опыт, в подвиг. Мы — в испытаниях тяг-

чайших. Мы многое познали: мир, культу-ру... умеем отличать ее подделки. На страшном опыте познали, что значит благородство, верность, честь, неблагодарность... Познали и важнейшее: какая это изумительная сила — любовь, жаление, братство, со-страданье, общность в горе... что значит — ро-дина! Мы все духовно возрастаем, крепнем. Перед лицом лишений, утеснений, унижений... выковываем волю к жизни, любовь к родному, верность долгу и веру в Воскресение России. Мы принесем ей богатейший опыт! Мы не изменим долгу перед ликом Великомученицы нашей, перед носителями нашей чести. У них — мы только, только мы, одни.

Мы помним слово Пушкина, не раз оправданное жизнью:

«Так тяжкий млат,
«Дробя стекло, кует булат.

Будем духовной сталью!

Страшен наш век — век скоростей, мельканий и забвений, — век борьбы; борьбы железа и — тончайшей материи духовной, невидной глазу, — движений человеческого духа. В этой борьбе, в которую вовлечены и мы, — да, мы, особенно! — решается вопрос о человеке, о том важнейшем, без чего все — прах: быть человеку или зверю. Опытом безмерным, неисчислимой кровью мы познали, что это значит: быть человеку или — зверю. Знаем больше других на свете: знаем, что ныне в мире все больше зверя, духовное все больше отмирает, усыхает. Знаем глубоко, по опыту, — чтó это, когда на смену помнящему долгу идет забвение и духовный холод. Знаем все — и будем продолжать борьбу за человека. Это — предназначение наше, свыше, — дар судьбы. Тяжкий дар, но — дар. Будем

верить: явно дано нам в наш удел Всевышним: страшным испытаньем, на себе, пронести крестно человека, бережно охранить «великое Святое» жизни — Божий дар: высокие человеческие движения. О них сказал нам Гоголь:

«...забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!..»

Нет, мы не оставим их на дороге, на попранье; мы охраним эти чудесные сокровища — и верность долгу, и любовь, и братство, и преклонение перед страданьем... Мы их взрастим, мы будем учиться им у тех, кого не смеем забывать: у наших доблестных героев-инвалидов — носителей российской чести!

10 мая, 1935.
Париж.

9 апреля, 1935 г.

Его святейшеству

Всесвятейшему Патриарху Сербскому ВАРНАВЕ,

Сремски Карловицы.

Ваше Святейшество,

Я хотел бы послать Вам самое сердечное приветствие в эти знаменательные дни-грани Вашего благодатного Архипастырского Служения, хотел бы сказать словами, которые во всей полноте и непосредственности выражали бы мои чувства восхищения, преклонения, радости, благодарности. И вот, вижу, что как бы я ни старался выразить желанное силой нашего великого языка, все же не будет это выражением сути, того с в е т а, от которого слезы на глазах, когда душа обращается к Вам, родной наш, великий Архипастырь! Но что же делать, — примите с л о в о: Ваша душа дополнит.

Вы пленили, очаровали, повели за собой русские сердца, — красотой сердца Вашего, Вашей силой и прямотой, Светом Христова Слова. Лаской Вы утешали нас, правдой Вы укрепляли души, звали нас к вере в грядущее возрождение России Православной. Вы заклеймили Зло во имя Христовой Правды. Пастырь добрый, Вы обличали «умывающих руки» — наш лицемерный мир, обличали «земли державства» во имя Господа Вседержителя. И высоко вознесли значение Пастыря в нашем заблудшем мире.

Достойнейший! Вы бесконечно нам дороги и безмерно близки. Тысячи тысяч нас в сердце своем хранят Ваш благородный образ — душевную красоту и правду. Вы с нами, в жизни, и более, чем в жизни: Вы — в сербско-русской и в мировой Истории, — в мрачнейшие времена ее, — как светлая, благородная страница. Тютчев пропел когда-то: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые . . .» Но когда о Вас думаешь, в душе отзывается иное: счастлив мир, когда в роковые его минуты в нем пребывает и сторожит Пастырь Добрый, который п а с е т воистину, а не бежит от волков, который глаз не отводит от овец своих, который зорко следит за тем, что творится на пастбище. Да, такой мир счастлив, и как же счастливы те, кто в этом мире — наинесчастнейшие!

Ваше Святейшество! мы счастливы, что Вы п а с е т е, во Имя Божие; наши измученные души освещаются Вашим светом, и мы не теряем бодрости: несокрушенно мы можем петь — «с нами Бог!»

Да ниспошлет Вам Господь силу и крепость на многие, многие лета.

Это — слова и чувства. Но я хотел бы послать Вам что-нибудь из моих писаний. И вот, прошу Вас, примите благосклонно душевное приношение мое — «Богомолье», где я пытался словами-образами восстановить — воротить лучшее, что я видел в жизни, — чистые души русские, которые и для Вас родные.

Прошу Вашего Архипастырского благословения.

Вашего Святейшества преданнейший почтительно

Ив. Шмелев.

2, Bd de la Republique
Boulogne S/Seine.

НАША ВЕРА

Говорят — «празднование дня русской культуры». Не верно это: «праздника» тут нет. Иностранец может усмехнуться: «*куда* же привела культура ваша!» Не будем пытаться объяснять ему: *наше* понимание культуры ему невнятно. Но мы-то знаем, чем дорога нам «русская культура». Мы знаем, что не русская культура привела Россию на Голгофу, а совсем иная, — безбожная, бездушная. Наша культура, культура «во Христе», дала чудесное цветенье, заставившее мир дивиться, но... туман побил цветенье, плодоношения Россия не познала. Наша культура пронизана небесным светом, высоким устремлением, мучительным исканием высокой правды, страданием за *человека,* со-страданьем, любовью к *человеку,* вдохновенным провидением Бога в человеке, — всечеловечностью. Мы знаем, что русская душа всегда искала Правды.

Там, в былой России, русская культура замерла. Но верим: русская душа бессмертна; наши идеалы — бессмертны также; что идеалы и душа — сольются. И потому мы служим им, их помним — здесь. Разбросанные в мире, мы чутко перекликаемся, как стражи: «слу-шаай...!» Мы верим в неиссякаемость культуры нашей, в бессмертное ее цветенье. Всем, что живо в нас от Духа, мы чувствуем и верим: весна придет, цветение опять начнется. Без истинной культуры, нашей, русской, которую храним, — не быть России, во-Христе-России: другая будет, не-Россия. Цветение *должно* начаться. Мы проглядели, мы не ценили, не хранили... попустили побить его туману, — наш грех. Вы, юная Россия, вы, «племя младое, незнакомое»... — вы не попустите, вы охраните.

Июнь, 1935 г. Париж.

ДЛЯ РОССИИ

Для России — надо сберечь детей.

Скоро десятилетие, как мы здесь, — живая Россия на чужбине, свободная Россия. Не гордое это притязание так называть себя: это действительность, это строгое послушание, данное нам судьбой, историей. Мы должны быть Россией на чужбине. Там, на родной земле, нет России живой, свободной. Самое имя у ней отняли, заменили звериным знаком — СССР, знаком позора-срама. Мы должны быть Россией, нести великое послушание.

Дано нам судьбой жить на чужой земле, но остаться свободными. Нас не давит всечасный ужас; можем дышать свободно, и говорить, и делать. И должны непрестанно помнить, *что* нам даровано, и, помня это, должны непрестанно думать, во имя чего мы здесь. Чем оправдаем этот удел судьбы? Мы должны искупать дар жизни — свободу нашу — перед тяжким мучением России, России-смертницы.

Русская эмиграция честно несет свой долг. Она работает, стоит на своих ногах и помогает слабым. Призыв о помощи — не глас вопиющего в пустыне. Иностранцы неоднократно отмечали стойкость ее, ее достоинства. Жаль, что мы еще не имеем полной картины ее жизни, что она сделала. Надо бы сделать перепись: это важно для мира, для России. Русская эмигра-

ция — смело — можно сказать — открыла Россию миру, подлинный лик ее: высокую ее культуру. Будем давать отчет — покажем, что мы сделали для России на чужбине, свободные.

Годы идут, многих из нас уж нет. Наша замена — дети, «племя младое, незнакомое» ... — русское племя, наше, идущее нам на смену. Им мы должны вручить данное нам судьбой. Им мы должны отдать хранимую Россию, нетленный ее в нас лик. Не суждено будет нам — они вернутся. Если не сохраним мы их, мы не выполним долга нашего. Миллионы жизней истреблены; пролито русской крови без счета-меры. Сохранить России тысячи детских жизней — священный наш долг перед памятью миллионов убиенных. Мы не смеем забыть об этом. Мы обязаны сохранить России ее детей. Эти дети — особенные дети, «дети мира», новая поросль русская, знаменательная историческая поросль. Это не просто дети: это дети великих испытаний, прошедшие мир в невзгодах, ценнейшее достояние России, ее надежда! Дать России здоровое поколение, *новое* поколение, еще неизвестное в истории, возросшее у семи дорог, на семи ветрах, духовно не искаженное, не приученное клонить голову и принимать насилие, бесстрашное, прямодушное, великодушное, не потерявшее стыд и совесть, спаянное любовью к родине чувством родимой крови, не заушенное, не одичавшее до зверюг, а носящее лик российский, знающее родной язык, знающее языки мира, Бога не позабывшее, не утратившее добрых российских навыков и познавшее навыки чужие, обогащенное миром, знающее истинную, а не искаженную злою ложью насильников, историю родины своей по крови ... — самое важное, что должны мы сделать. Эти дети — надежда наша, наши истинные наследники. Это верная наша смена, та смена, ко-

торой суждено стать о-бок с достойнейшими из русского народа, с братьями по судьбе и крови — в строительстве будущей России. Этим детям выпадет долг и доля будить в народе сознание национальной мощи, помочь ему оправдаться перед миром и доблестно показать себя. России придется догонять мир. Зная ее историю, зная все, что она дала миру, что она вынесла и пережила, можно с верою говорить: Россия догонит и обгонит! И, может быть, скажет миру *новое* слово жизни. Нашему молодому поколению, этим вот *нашим* детям, эмигрантам-детям, с семи ветров, придется участвовать в этом чудесном беге — беге на силу и на ловкость, на геройство, на высокое, русское, гражданство, на достойнейшее, оправданное историей, место в мире — *великодержавное!*

Только имея смену, будем мы в праве верить, что не напрасно было наше здесь пребывание. Мы *обязаны* возвратить России малую каплю ее крови, живой крови, так беспримерно расточенной за эти годы великого русского погрома. Позор и проклятие на нас, если мы *все* забыли. Эмигранты-дети, всего лишенные, не узнавшие родины своей, без вины виноватые, жертвы ошибок и преступлений наших... — их мы забыть не смеем!

Мы должны отозваться на обращение к нам Детского Комитета Российского Красного Креста, в эту неделю помощи русским детям, 10—17 марта. Больше двух тысяч семейств русских эмигрантов состоят на учете Комитета. Надо дать Комитету средства — спасать детей, будить в их сердце образ великой Родины, закладывать в них основы достойной жизни — граждан-строителей России. Дайте же эти средства! Если бы захотели, помня и постигая *все*, мы могли бы создать не только «сад» и приют... Мы могли бы так

сделать, чтобы ни один из детей не потерялся для Родины, не растворился в чужом, не сгинул, не остался России не узнавшим, России бесполезным: чтобы все были на учете, на заботе. Много доброго делает наша эмиграция по свету. Но в этом деле, в этом «детском» деле, в этом священном деле, мы должны отозваться так, так показать себя, чтобы и тени укоризны не осталось, что не все нами сделано. Много ошибок сделано, много вины на поколении «отцов», — мы знаем. Да не совершим же ошибок новых, не возьмем на совесть вины тягчайшей: забыть обездоленных судьбою, без вины виноватых, — детей безвременья! Это было бы преступлением.

Во имя России — дайте!

1935 г.

ПРОТЕСТ ИВ. ШМЕЛЕВА

Мы получили с просьбой напечатать следующее письмо от Ив. С. Шмелева:

«Я узнал из газет, что, вслед за кинематографами Германии и Латвии, вскоре и на французском экране будут показывать фильму, сработанную по моему роману «Человек из ресторана». Поэтому считаю необходимым еще раз обратиться к общественности со следующим заявлением:

1. Права на переработку моего романа для кинематографа я никому в СССР не давал. Право всемирной экранной постановки «Человека» приобретено у меня осенью пр. г. берлинским антрепренером Борконом, с условием, что ставить фильму будет иностранная кинематографическая фирма, и сценарий будет представлен мне на просмотр, причем Боркон обязался приобретенных им прав на «Человека» советским предпринимателям не передавать.

II. То, что проделал с моим «Человеком» советский «Межрабпом Рус», при участии некоторых артистов советского Худож. Театра в Москве, — «не имеет названия», как пишет в своей статье «Литературные фильмы в Риге» известный литератор, Петр Пильский, (газ. «Сегодня Вечером», ном. от 18 янв.) — «ибо даже самые зазорные, клеймящие слова бессильны передать

это изнасилование всего замысла, идеи, сюжета и даже здравого смысла. Совкино, открутившее, будто бы, повесть Шмелева, сделало из нее нескрываемо наглый агитационный подлог». Чтобы изобразить «гнусности буржуазного строя», большевики использовали известность романа, переведенного, между прочим, и на французский язык, перенесли действие в 1916-17 гг., между тем, как роман был написан в 1910 г., извратили идею романа, в целях пропаганды придумали свое содержание, изменили судьбы и характеры действующих лиц и все насытили ложью, грязью и пошлостью во славу ленинизма и в поругание «развратной буржуазии и золотопогонников», в прославление «гибнущего пролетариата раненых бедняков» и т. п. «По рассчету режиссера, — удостоверяет П. М. Пильский в своей статье, — сердце зрителя должно сжаться и наполниться великим негодованием против «подлого» строя... Ради этого и принесен в жертву Шмелев». Даже по отзывам советских рецензентов, оказавшихся на этот раз в литературном отношении более разборчивыми, чем некоторые славные когда-то артисты чудесного театра во главе с г. Леонидовым, помогавшим *так* извращать известный ему роман известного ему русского писателя, — даже, повторяю, по отзывам советских рецензентов — «Моск. Известия», 21 авг. и «Красн. Нива», — «повесть Шмелева подверглась «радикальной переработке». «В теме, т. е. в том главном, ради чего написана повесть, у кино и у Шмелева *нет никакого* соприкосновения, самый сюжет картины, почти ни в чем не совпадающий с сюжетом повести, оказался типичной мелодрамой...»

III. Таким образом, эта «переработка» и демонстрирование ее по свету есть надругательство над русским писателем, над духом его произведения, — есть наг-

лый обман для разжигания классовой ненависти в Европе и по всему свету, злая попытка влить в жизнь еще больше и лжи, и зла. И этот злейший обман обманщики стараются подкрепить авторитетом произведения, не имеющего ровно ничего общего ни со злом, ни с ложью. Наглость советских предпринимателей дошла до того даже, что в крикливых рекламах их рядом с моим именем и названием моего произведения печатают и мой исковерканный портрет, неведомо как сработанный.

Против подобного обмана и надругательства я буду, насколько это в моих силах, бороться всеми законными средствами.

Прошу русские зарубежные издания дать место моему заявлению.

ПРУСТ

1) Пруст не может считаться крупнейшим выразителем нашей эпохи. Действие его «В поисках утраченного времени» относится к прошлому- лет 30-40 назад. Утонченно порочный «свет», изображенный им, — «мир аристократии», — разве уж так похож на современный? Возможно, конечно; но ведь это только верхний слоек, такой далекий от ... «нашего века демократии». Пруст дал его заманчиво, с увлечением, смотря как бы снизу вверх, как бы, порой, почтительно, словно благодаря за то, что его, человека иного слоя, допустили принять участие в «сливках жизни». Описывает, как бы и смакуя? Чувствуется, что — увы! — прошло, уже недоступно наслажденье. Это — как бы «приятные воспоминания», и, как все дорогое, находят они в Прусте четкого и увлекающего изобразителя. Изнеможенный жизнью, он все еще допивает кубок, все еще «пробует»; и горечь, одновременно со сладостью, острая горечь, иногда злая горечь, проскальзывает в чертах писанья, — и потому так выпукло изображенье. Его как бы тянет к этому мирку, он все полощется в этом нечистом море, и это притягивает иных — и многих, кажется? Этим-то, думается мне, и объясняется интерес, повышенный интерес к Прусту. Люди, душа которых не требует «наполнения», могут увлечься им, особенно в «наше демократическое время»: с одной стороны удов-

летворят потребность «протеста» — какой же прогнивший мир! — с другой стороны, немножко пощекочут нервы: — «приобщиться» к заказанному, увы! — и заманчивому такому, тонкому, полному «экзотичности» миру!

2) В известных слоях мирового общества — пороков и «фэнфлеристости» и в наше время не меньше, — больше. Но, как и в эпоху Пруста, есть, пожалуй, и ценности. Для полноты изображения надо брать все, что, конечно, и сделают цельные художники. Пруст взял так, как мог, в меру и направлении сил своих.

3) О «решающем влиянии» Пруста на литературу ближайшего будущего, в частности — на русскую литературу, нельзя никак говорить. Чем может насытить Пруст? Дух насытить, требовательный, не пустой? Увлечение Прустом я считаю случайным, модным, что ли. Или это — знамение оскудения духа? То, что дает Пруст, слишком мало для взыскательного читателя. Было же увлечение и А. Франсом. Пройдет, если не иссякла душа. У нас, русских, есть, слава Богу, насытители, и долго они не оскудеют. И Пруст пользовался их светом. Не Достоевского: слишком глубок и высок одновременно — не по духу Прусту. Слишком шершав: не по тонкому перышку его. Толстой все же ближе и доступней. Толстой оказал влияние — в приемах. Отчасти только: где Толстой режет одной чертой, Пруст выписывает и крутит. Своего все же достигает. Но вот что. Если бы знатоки и высокоценители Пруста, — я не всего его знаю, но с меня будет, — попробовали почитать нашего М. Альбова, школы Писемского и отчасти Достоевского, например, «Юбилей» или «День да ночь» — в трех, кажется, книжках, «Глафирин сон», «Конец неведомой улицы», — они, быть может, нашли бы там не менее тонкий и «пространный» — напоми-

нает Пруста! — стиль, с длиннейшими и разработанными периодами, с мельчайшими подробностями рисунка, до тончайшего кружева, с редкостной силой изображения внешнего и внутреннего лика, — и столь же утомляющий. Но у Альбова есть полет, и светлая жалость к человеку; есть Бог, есть путь, куда он ведет читателя. Куда ведет Пруст, какому Богу служит? Наша литература слишком сложна и избранна, чтобы опускаться до влияний... невнятности, хотя и четкой. Тут Пруст бессилен. Да и по лучшему своему он не может идти в сравнение с нашей силой. Если не изменяет память, лучшее у него 2-3 страницы в „A l'ombre des jeunes filles en fleurs", смерть «моей бабушки». У нас есть «смерти» Андрея Болконского, Ивана Ильича, Илюшечки... Влиять на литературу значит вести ее. Для сего надо великую тревогу, великое душевное богатство. Куда приведет нас Пруст? Наша дорога — столбовая, незачем уходит в аллейки для прогулок.

ПОДВИГ

(Ледяной поход)

«Он имел одно виденье,
Непостижимое уму» . . .

А. Пушкин.

То, что совершилось восемнадцать лет тому назад на Кубани и что «Союз Добровольцев» ежегодно поминает молитвой и «круговым ковшом», по древнему обычаю, — «бойцы поминают минувшие дни . . .» — уже тогда, когда это совершалось, многим, смотревшим со стороны, казалось подвигом, но подвигом «безумия». «Горсточка добровольцев, брошенная всеми, истомленная длительными боями, непогодами, морозами, повидимому, исчерпала до конца свои силы и возможности борьбы . . .» — слова генерала Алексеева — и ушла в степи Кубани, в исторический Ледяной Поход. Ушла, чтобы продолжать борьбу со стихиями и с врагом не человеческим только, а стихийным, не земным только, а вселенским, — борьбу со Злом, принявшим личину большевизма. «Горсточка» — и стихия Зла, «всеми оставленные» — и всемогущее, на человеческую мерку, Зло, овладевшее Россией, всеми силами и богатствами

ее, всеми жизнями, Зло, прожигающее души соблазнами, властвующее насилием безмерным. И «горсточка» — продолжала вести борьбу. На человеческую мерку — безумие. Но у этой «горсточки» уже не было «человеческой мерки». Подвигом Духа переросла она эту мерку, руководилась не человеческим, а иным, высшим, «непостижимым уму». В этом «безумии» проявилась извечная трагедия божественной сущности в существе, ограниченном телесно: божественное повелело — и «горсточка» пошла на свою Голгофу. Тут не рядовое событие истории, а неизмеримое временем — трагедия борьбы Божеского и Дьявольского. В этом частном и как бы «провинциальном» для мира «случае» проявляется величайшее общее: трагедия человека на земле. Перед «горсточкой» был поставлен сплетением исторических событий страшный выбор — как бы отсвет того, евангельского выбора, когда Добро и Зло стали лицом к лицу, когда дьявол показывал Ему все царства мира и славу их и говорил: «все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне». И «горсточка» выбор сделала: пошла путем Его. И зрителям мира показала, — и кровью своей закрепила, — что есть сокровища, которых нельзя отдать ни даже за целый мир. Русские Добровольцы, как «бедный рыцарь», имели «одно виденье, непостижимое уму» — Ее, Россию, и все, что у рыцаря слито с Ней, воплощено в Ней, олицетворено Ею. И, «верные сладостной мечте», «полные чистою любовью», они начертали на щите своею кровью святое имя Ее.

Этот подвиг — уход в ледяные степи — определяемый условным человеческим временем — 9/22 февраля 1918 г. — имеет бессмертный смысл — отсвет Голгофской Жертвы. Этот подвиг роднится с чудеснейшими мигами человеческого мира, когда на весах Совести и

Любви взвешивались явления двух порядков: тленного и нетленного, рабства и свободы, бесчестия и чести. Этот подвиг — проявление высокого русского гражданства: в подвиге этом не было ни различия классов, ни возраста, ни пола, — все было равно, едино, все было — общая жертва жизнью.

Ледяной Поход длится. Он вечен, как бессмертная душа в людях, — негасимая лампада, теплящаяся Господним Светом.

Февраль, 1936 г.
Париж.

ВЕРНЫЙ ИДЕАЛ

Помните из восьмой главы «Евгения Онегина» — «прощанье» Пушкина?

«Прости ж и ты, мой спутник странный,
«И ты, мой верный идеал...

Читаешь — и сердце томится грустью, и вспоминается горькое слово Достоевского — «международный обшмыга». В литературе нашей хранится наш «верный идеал», и, ставшие ныне, в отрезке времени и судьбы, «международной обшмыгой», мы не можем расстаться с *идеалом*: он создан душой народа, запечатлен великими, он живет в нас — и нас живит. Мы без него *не можем*, и чутко храним его. Кланяемся ему и служим, — и в этом культура наша. Что же это за идеал?

Пушкин, «прощаясь», не договаривает:

«А ты, с которой образован
«Татьяны милый идеал...
«О, много, много рок отъял.

Но сколько сказано многоточием...

«Блажен, кто праздник жизни рано
«Оставил, не допив до дна
«Бокала полного вина,
«Кто не дочел ее романа...

Захватывает дух, и слышишь в этих словах — пророчество. Мы — «выпили до дна», «дочли»... — и знаем:

«О, много, много рок отъял!

Много. Но сердце, хранящее идеал, живет и бьется. И знаменуем это — праздником Идеала нашего, поминаем чудесного выразителя его.

Русское просвещение вышло особыми путями: в основе культуры нашей заложены глубокие нравственные корни. Она пошла от Христова Слова, через волю Владимира Святого, призвавшего нас Крестом. Вот закваска, поднявшая «русский духовный хлеб» — литературу, искусство, науку, философию, государственность: во всем светится «верный идеал». Возьмите ли медицину — увидите заветы Пирогова: ответственность и любовь. Коснетесь ли права — совесть и милосердие: отношение к преступнику — как к грешнику, сознание человеческого несовершенства и — отношение к каре — как к искуплению за грех. Основа нашего уголовного закона — милосердие. Возьмите Ключевского — и признаете вещим слово его о «Преп. Сергии Радонежском»: погаснут лампады над гробницей Угодника, выразителя русской душевной сущности, когда иссякнет наш идеал, духовные силы наши, — погаснет великая культура. Возьмите литературу и науку, наших учителей родного: Ломоносов, Гоголь, Пирогов, Менделеев, Хомяков, Вл. Соловьев, Ключевский, Аксаков, Леонтьев, Достоевский и — первый над всеми — Пушкин. Создавший «Пророка» не первый ли глашатай высокого идеала нашего?! Изрекший — «два чувства дивно близки нам», — основу «самостояния человека», «залог величия его», указавший на «животворящую святыню», без чего «наш тесный мир — пустыня, душа

— алтарь без божества», — не учитель ли человечества — вселенной? не выразитель ли гениальный вселенскости идеала нашего, как вдохновенно сказал это Достоевский пол века тому назад!

Великое наше счастье, великая слава наша: есть у нас двое величайших: Пушкин и Достоевский: одно — двое. Оба вышли из беспредельного: от Духа Свята. И принесли откровение — идеал, на великое счастье наше, близкий душе народа. В наших земных глазах идут они параллельными путями, как будто не сливаясь. Один — ясный, как Божий день, — поэт чистый. Через него мы можем обнять весь мир, познать свое место в мире. Можем постичь небесное и земное —

«И горний ангелов полет,

. . . .

«И дольней лозы прозябанье.

Такой всеобъемлющий — и ясный. Такой человеческий — русский.

Другой, Достоевский, — мудрый вскрыватель недр, — потемок и провалов в человеке, до подсознательного. Не только. Он и вещатель взлетов человека, парений его духа. Точный изобразитель всех человеческих движений, ключарь человеческого рая-ада, ведун жизни и яркий изобразитель всечеловечности русской сущности.

Страшным даром — ему дано внимать — «и гад морских подводный ход». Ему даны в удел и томление — величайшая «духовная жажда», и власть утолять ее.

Два величайших моря-океана, две великих «живых воды», от которых будем долго и сладко пить и, пия, познавать вселенную. Бесконечно идут они, будто бы не сливаясь. Они сливаются в беспредельности, невидимые для нас, замыкая собой как бы великий элипс

— русскую сферу нашу, и с ней — вселенскую. В них одних — все, что н а д о, чтобы б ы т ь и достойно б ы т ь. Восполняя один другого, дают они человека в завершении. И так понятно, что Достоевский взял Пушкина и показал нам. И властно сказал — чтите. Это — завет нам и наставление: Россия, познай себя! «Познай себя» — таинственные слова на Храме. Познай себя через Идеал твой! Познай себя в свете единокровных гениев. Останься собой, Россия, у тебя есть Водитель, великий твой Идеал — Свет Христов, и великое чувство братства со всей Вселенной.

С горестного пути блужданий видится нам невиденное раньше. Татьяна, Таня... — образ прощальный Пушкина. «Мировой обшмыга», «спутник странный», мы теперь рвемся к ней... тщимся воссоздавать убегающий милый образ. Теперь мы чутки; теперь мы, в томлении, ловим... —

«...тайные преданья
«Сердечной, темной старины,
«Ни с чем несвязанные сны,
«Угрозы, толки, предсказанья...

Теперь и особый смысл чувствуем, когда вчитываемся в чарующе-вещие слова:

«Тогда — не правда ли? — в пустыне,
«Вдали от суетной молвы,
«Я вам не нравилась... Что ж ныне
«Меня преследуете вы?
«Зачем у вас я на примете?..

Теперь и особенно острый смысл слышится нам в стихах:

«Прости ж и ты, мой спутник странный,
«И ты, мой верный идеал...

Со «спутником странным» мы простимся без сожаления; но с идеалом, завещанным нам от века, не расстанемся ни-когда! Этот верный идеал Пушкина мы храним. И мы сохраним его. Мы его разгадали всей нашей болью, увидели через «магический кристалл» терзаний... Он с нами, он — сила наша. Он теперь ясен нам. Он нас ведет, мы говорим, с поэтом:

«В надежде славы и добра,
«Гляжу вперед я без боязни...

Апрель, 1936.
Париж.

СЫНАМ РОССИИ

Вот и еще год минул, и отодвинулась в глубь истории славная дата рождения Добровольчества. Отодвинулась в даль истории, но останется навсегда, как прекраснейшая ее страница, сохранится навеки в помнящем русском сердце. Да и не страница это истории Российской, а одна из громких эпох мировой истории: на российских полях столкнулись в борьбе две силы — Порядка и хаоса, Правды и лжи, Любви и ненависти, Божественного в человеке — и темного начала. Впервые столкнулись так открыто, ознаменованно. В России начавшаяся борьба длится доныне в мире, и будет длиться, пока не завершится — верим — решительной победой светлого в человечестве начала. Русскому Добровольчеству выпала честь Креста: первому выдержать удар зла, воплощенного в большевизме, положить почин в борьбе за Божественный Образ в человеке. Может ли затеряться в памяти человечества такой Крест? И если затеряется он в хаотичном мире, в н а ш е м — не может затеряться. Ибо в этом Кресте — исконное нашей родимой сущности. Какая же сущность наша?

В эти дни мы поминаем столетие кончины нашего Гения — Пушкина. Пушкин — вот выразитель русской духовной сущности. Это признано ныне миром. Спросим себя, как бы отнесся Пушкин к подвигу Добровольчества? Ответ бесспорный: благословил бы Подвиг, был

бы его Певцом, — «певцом в стане русских воинов». Мы знаем это: совестью нашей знаем, всем делом Пушкина. Совестливый, правдивый, искренний сын России, певец ее, гордившийся ее славой, ее державностью, он являлся ее защитником, духовной ее опорой в трудные дни ее. Он, почитавшийся иными «вольнодумцем» и «либералом», сумел ответить клеветникам России страстным и грозным словом. Не побоялся «ославить» себя в глазах Европы, не устрашился клейма — «раб царский»!

Вы грозны на словах — попробуйте на деле
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?..

Живи он ныне, он сумел бы ответить на клевету, которой так щедро обливали русское Добровольчество — и свои, растерявшие чувство родины, и многие европейские «витии». Он был бы с вами, Добровольцы, — вашим Певцом чудесным. Украсьте же ваше знамя лавровым венком в честь Гения! Он, его дух бессмертный, смотрит на вас оттуда, как на друзей, как на сынов России, и посылает привет заветный в тяжкие наши дни:

Бог помочь вам, друзья мои!
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

Январь, 1937.

Париж.

ПОДВИЖНИКИ

Минувшим летом, я посетил на Карпатской Руси православную русскую обитель — «Братство пр. Иова Почаевского». Три недели прожил я там и видел неустанно творимый подвиг. Этот подвиг — наше родное дело. Не раз я думал, под перезвоны колоколов, под стуки печатного станка, — иноки там печатают Слово Божие, — сколько отчаявшихся самовольно собой распорядились, не выдержали, ушли. Если бы знали, во имя чего здесь трудятся, чем здесь живут... — многие, может быть, нашли бы опору и веру в жизнь.

Тридцать лет тому здесь было пустое поле. Неотпавшие в унию карпатороссы не имели ни церкви, ни пастыря. И вот, пришел православный подвижник-инок, как в давнее время на Руси, и голое место просветилось: воздвигся прекрасный храм, зазвонили колокола в пустыне, выросли корпуса и службы, зацвели яблони, загудела пчела на пасеке, и восстала из праха вновь печатня пр. Иова Почаевского, основанная Святым в Почаеве в 1618 г., разбитая большевиками и петлюровцами в 1918. Вот что творится верой единомысленных, сильных духом.

Кто они, сильные? Все — искавшие верного пути, Господней Правды. Многие из них прошли сквозь огонь войны. И вот, вышли в пустое поле, «сеятели пустын-

ные», приняли послушание и обновились духом. Возгорелись высоким рвением, крепкой верой, что жизнь может обновиться только Христовым Словом, через Церковь; что только Она, Святая, согревает в холодном мире и накрепко вяжет с родиной. Эта вера дает им силы. Крепнущая книгопечатня рассылает по всему зарубежью русскому богослужебные книги — «Великий Сборник» — и книги духовнонравственные, содействуя духовному возрождению, проповедуя Православие по всей округе. Вот уже десять лет идет отсюда в широкий мир православная русская газета — «Православная Русь», захватывающая год от году все больше православных читателей, привлекающая в сотрудники богословов, писателей, и, просто, верующих людей, одаренных духовным опытом. Много в зарубежьи безразличных к духовному, блуждающих, потерявших душу. В смутное наше время, без родины, Святое Слово — единственный свет во тьме, — крепко верят подвижники, опаленные страшной жизнью. Эту веру дала им жизнь.

О каждом из них можно бы написать историю духовного возрождения. Это избранные: из сотен прошедших через обитель отсеялись десятки. В рясах, под клобуками, не отличить офицера гвардии от калужского мужика, от казака-кубанца. Все — русские иноки-подвижники.

Труд и молитва — вся жизнь обители. Цели ее высоки. Стойко одолевая трудности, неустанно творят свой подвиг. Полуголодные, воздвигали они свой храм, поднимали колокола, мяли глину на кирпичи и поставили типографию, где с зари до зари печатают Слово Жизни. На храме висят долги. Если бы почестнее были люди, обитель встала бы прочно на ноги: сто тысяч франков должны ей книготорговцы за проданные

книги — и не платят: у *кого отняли*?! или забыли, что это святотатство?

Не раз я слышал от духовных ее водителей те слова, какие они после напечатали в «Православном Русском Календаре на 1938 год»:

«Мы просим православных русских людей: 1. — Кто может посвятить себя на самоотверженное служение Церкви — грядите к нам, вкусите сладкую трудность общежительного жития. 2. — Кому невозможно это — и дома может помочь нам, приняв на себя труд распространения книг духовных и газеты. 3. — Кто имеет средства — уделите, поучаствуйте в строительстве Церкви-Матери, — это наше родное дело. Напишите нам, и мы укажем, чем вы можете нам помочь. 4. — Подписывайтесь на газету нашу — «Православную Русь» и на журнал для детей — «Детство во Христе».

Так взывает к православным Братство пр. Иова Почаевского. Адрес его: Archimandrite Serafim. p. Ladomirova u. V. Svidnika, Tchécoslovaque.

Насколько тесно обители в материальных средствах, вот наглядный пример: не на что купить лошадь для трудового обихода. Глухой осенью, в непролазной грязи, — глина карпатская! — и зимой, в глубоком снегу, в метели, верный святому долгу, идет иеромонах верст за десять и больше по селеньям, несет св. Дары напутствовать умирающих, лекарство больным и утешение Христовым Словом. Не на что завести лошадку! Больно слышать. Я видел истомленные глаза, и в них — спокойствие исполняемого служения. Слышал: «ничего, как-нибудь переможем, погодим с лошадкой, есть и понеотложнее». Месили грязь окопов и боевых полей, мяли мокрую глину на кирпичи собора, — и про-

должают, подвижники. Русские люди, слышите? Не уснет тревожная русская душа, услышит, отзовется.

На днях я прочел в «Возрождении», что с Карпатской Руси, из обители пр. Иова Почаевского, прибыли мощи св. великомученика и целителя Пантелеймона и, по благословению архипастырей, посетят православные приходы. Мощи пока пребывают на юге Франции, — Moine Job, chez Prince Engalitcheff, Jardin Cynthia, Golf-Juan, A. M., а в январе прибудут в Париж. Сопровождает их монах Иов.

Я его хорошо узнал. Ходили мы с ним по карпатским лесам, до польского рубежа, по недавним боям знакомого. Легко и светло мне было общаться с ним. Совсем еще недавно — кавалерист, офицер лейб-гвардии, одного из славных полков российских, старинного, культурнейшего рода и высшего воспитания, ныне — монах Иов, принял он послушание обители: обойти русское Зарубежье и поведать православным людям о подвижнической обители на Карпатах. Св. Целитель предстательствует за нее. Русские люди не откажут Предстателю. И это им будет в радость.

Декабрь, 1937.
Париж.

СЛУЧАЙ В ШАНХАЕ

Недавно в Шанхае произошел «серьезный инцидент», как сообщила телеграмма из Шанхая. Ныне в мире случается много «серьезных инцидентов», но для нас большинство этих «инцидентов» не имеет существенного значения. Упомянутый же «серьезный инцидент» касается нашей сущности, и было бы непростительно, если бы мы остались равнодушны к этому «случаю». Для нас это не «инцидент», а знаменательное событие и внушительный пример миру. Мир, конечно, на это взглянул сквозь пальцы, но для них этот случай в Шанхае — исторический документ, который мы сохраним и, придет срок, кому-нибудь представим в будущей нашей тяжбе, а пока занесем в «кредит» нашего нравственно-политического счета в мировой бухгалтерии.

Вот этот «инцидент», по сухой передаче в телеграмме.

«Шанхай, 8 января, — аг. Рейтер:

«Сегодня утром на территории французской концессии произошел серьезный инцидент.

«Китайская женщина, вопреки японскому запрещению, вышла на бульвар «Дэ репюблик». К ней бросился с угрозами японкий солдат. Проходивший русский доброволец вступился за женщину и выхватил револьвер. Сбежалось 15 японских солдат, которые схватили

русского и потащили его в японскую зону. Однако, русский успел дать сигнал свистком, и на место происшествия примчался грузовик с русскими добровольцами, и два французских блиндированных автомобиля. Сбежалось также до ста японских солдат.

«Положение стало чрезвычайно напряженным. Французские власти освободили русского и увели его на свой участок. После переговоров между французскими и японскими офицерами, инцидент признан исчерпанным».

Только. Но для нас — не «только». Для нас тут-то и начинаются «последствия» — важные выводы и для нас, да и для мира, если он еще не совсем ослеп. Впрочем, и для них — не «только»: как сообщали газеты, японцы урегулировали этот «инцидент», добившись от европейцев, чтобы впредь охрану порядка на территории концессии несли только регулярные части, а не «добровольцы». Смысл этого совершенно ясен: ясно, о каком тут «порядке» речь. Этого я еще коснусь, и станет совсем ясно.

А теперь попытаемся восстановить всю эту «жанровую» сценку, утратившую живые краски в сухой передаче телеграммы.

Китайская женщина, в китайском же городе Шанхае, пошла по бульвару, вопреки запрещению японцев. К ней бросился с угрозами японский солдат... Очевидно, угрозы были внушительные, если проходивший русский доброволец бросился к ней на помощь и даже выхватил револьвер.

А теперь представьте себе картину более широкого масштаба, а не только шанхайско-бульварного.

В то самое время, когда японо-китайское «недоразумение» — война, ведь, не объявлялась, — захватывает интересы мира, когда падают бомбы на военные

суда европейско-американские, когда шальные пули и гранаты косят «зевак» — и европейско-американских, — когда «убийственные инциденты» после целого ряда «нот» признаются исчерпанными и «флаги чести» легко спускаются, в это убийственное время русский бездержавный доброволец не захотел — и не мог! — спустить своего, русского флага, флага русской чести, флага человеческого достоинства. Только представьте себе, что такое для мира в этой кровавой каше какая-то безвестная «китайская женщина»! Их, этих китайских женщин с ребятами, и всех, кто попался под руку, бьют и с земли, и с воды, и с неба. Давят их, падающие стены, живьем сжигают пылающие дома. А вот для русского добровольца эта «китайская женщина» в этой кровавой каше осталась человеком, осталась женщиной, а не каким-то осколком разрушения, — быть может, знамением сестры, матери, невесты... — словом, высокой ценностью, за которую необходимо вступить в борьбу, которую надо защитить, несмотря ни на что, ни на какие там «правила порядка». У русского добровольца нет родины-державы, нет никакой защиты: сам он себе и держава, и защита, и флаг. Но есть в нем, при нем — русская честь, есть у него, безымянного, имя — Русский, и есть у него «во-имя». За два десятка лет не утратил их, не вытравили в нем душу и эту честь, и это его «во-имя» никакие всесветные мытарства, никакие угрозы его не устрашили. Это «во-имя» и эта честь властно ему велели: должен слабое защитить, гонимое оградить... женщину, пусть хоть и китаянку, эту пылинку в мире, каплю в китайском океане... должен! И он — выхватил револьвер. Что это означает? А то, что отдавал жизнь свою. Вдумайтесь только, жизнь свою отдавал... за что? Очевидно, что ставкой в

этой решительной *игре* было что-то, очень уж драгоценное, больше жизни, чего уступить *нельзя*, без чего уж и жить нельзя: жизнь, ведь, на ставку ставил! Совесть русского добровольца велела *так*. Он в этом *жесте* себя не помнил: что его могут убить, что его «поволокут», что его будут ... — нет не помнил. Не думал, что если и останется жив, так его завтра же по какому-нибудь «представлению», для урегулирования «инцидента», лишат службы. Ни о чем не думал, не мог думать, ибо все это закрылось одним веленьем — *должен*. Русский доброволец действовал так не под влиянием мгновенного порыва: он *борется* и не сдается. Его волокут пятнадцать человек японских солдат, но он не отступает, не покоряется: он выхватывает свисток и подает тревогу. И вот — грузовик с русскими добровольцами. Они являются на тревогу *первыми*. Это все — «наймиты», чужаки в Китае и чужаки в мире, но они верны служебному и *человеческому* долгу. Русский безвестный доброволец жизнь свою отдавал «во-имя» — во-имя *человека*. За «китайскую женщину». А когда придет время, и ставкой будет не «китайская женщина», неведомая пылинка в мире, а Родина-Мать, Россия?! Можно ли сомневаться, *как* тогда будет действовать русский доброволец?! Он давно показал себя, целому миру показал, и мир поглядел сквозь пальцы. И в Шанхае он показал себя, и мир опять поглядит сквозь пальцы. Только — не весь. Японцы *оценили* «русского добровольца». Они поставили европейцам условие: «отныне порядок должен охраняться только регулярными частями, *без* «добровольцев»! Сами решительные, отважные, они делают этим честь героям.

Не поглядит сквозь пальцы и Шанхай китайский, и сам Китай. Несомненно, войдет в легенду и пойдет по

всему Китаю этот «шанхайский случай»: «русский доброволец, один, вступился за нашу китаянку, выхватил револьвер». И укрепится добрая слава имени русского. Все страшатся, все уступают, все отступают, а этот «и один в поле воин» — не отступил. Это запомнится, это когда-нибудь отзовется.

Да, этот «инцидент» — серьезный. Не потому, что чуть не дошло до боя, а потому, что нашелся все-таки человек в духовно опустошенном мире, и человек этот — русский. Этот «случай в Шанхае» получает глубокое значение, особенно в наши дни, когда мировая нравственность так поблекла. Вот как служат России истинные ее сыны. Слава ему, русскому добровольцу без имени. Да какое же еще имя нужно? У него имя есть, славное имя — Русский.

Январь, 1938.
Хальденштейн.

ПЕВЕЦ ЛЕДЯНОЙ ПУСТЫНИ

Ив. Новгород-Северский:

«Арктика», «Тундра», «Чум», «Айсберги», «Шаманы».

Что такое искусство? Создание нового, обогащающего душу, дающего радость художнику и нам, воспринимающим его творения. Радость родится в душе переполненной: душа пустая радости не родит. Радость творчества — вдохновение. Это Пушкин определяет так:

«...Постойте! Наперед узнайте, чем душа *2х*
У вас наполнена, — прямым ли вдохновеньем,
Иль необузданным одним поползновеньем...»

Творческая сила — чудесна: она показывает новое, найденное художником, до творческого акта как бы не бывшее. Мы знаем тундру — по учебнику географии: унылая, бесконечная равнина; зимой — снеговая пустыня, летом — мхи, лишаи, березка-стланка. Там бывают северные сияния-сполохи, живут в чумах самоеды, тунгусы, пасут оленей, охотятся, — скучное, однообразное бытие. А поэт-художник видит не это, географическое, а новое, таинственно преломленное его душой, живое. И пропоет о нем. И нам покажет. И мы получим, вместо унылости и скуки тундры, радость. Так было со мной. Я прочитал и не раз перечитал эти шесть книжечек-тетрадок, по 16

страничек в каждой. И увидал — *новое* и родное. Увидал — всеобщее, ибо красота Божьей природы — для всех. Унылая тундра открыла чуткой душе поэта редкую красоту и в красоте — Творца.

«Блестит снегов наряд порфирный,
«Он весь в алмазах, жемчугах, —
«Как будто Дух благой, надмирный,
«Мне небо разостлал в ногах.

В этих книжках нет слова — «Россия». Но ее чувствуешь в безмерности снеговой пустыни: это от нее веет крепким морозным воздухом, простором, осыпает снеговой пылью в бешеном беге-лете... пусть не коней — оленей:

«От собашных самоедов
«Еду к югу, к оленным,
«Тороплюсь по волчью следу
«На тепло, на дальний дым.

«Любо нартам расписным
«В снежном бисере купаться,
«Как лебедке отряхаться,
«Видеть месяц молодым.

«Красоваться перед ним
«Блеском снежным, нежным пухом,
«Нашей волей, нашим духом,
«Тем, что птицею летит.

Читая, чувствуешь себя в полете: это полет души поэта передался нам, и мы мчимся, в очаровании. Вот она власть таланта.

В стихах Новгород-Северского не только пейзаж, картинки жизни тунгусов: в них и духовная углубленность, чувство благоговения, общения с Высшим.

«Сполох горит негреющим огнем.
«Но в сердце теплота, душа согрета чем-то.
«Я в тундре не один:
«Великий Властелин
«Зажег огни
«И светит мне зачем-то!..
«Да как сказать... зачем?
«Мне нужен этот свет,
«Как птице, зверю, самоеду...
«Сполох горит уж много-много лет...
«Ведь не один я тундрой еду...

Или еще:

«Найди-ка след прошедших кораблей
«В бродячих льдинах бухты очертанья...
«В угасшем небе только Водолей
«Плеснул ковшом над кораблем скитанья...
«Его струя мне душу леденит:
«Ужели хлад и в небе бесконечном...
«Но нет... звезда, блеснув, как полымя горит
«И сердцу говорит об огненном и вечном.

Эта углубленность, насыщенность — «от духа» — ценнейшее свойство поэзии вообще; оно воспитывает душу читателя. И этого ценнейшего много в стихах Новгород-Северского. Он — от лучших истоков русской поэзии: идет от Пушкина, от Тютчева... У него есть и светлая простота, и чувствование человеческого примитива. Смотрите, как передает он религиозную простоту дикаря, и сколько в этом прелести! Вот тунгусская песенка:

ГОЛУБЫЕ БОЖКИ

«Божки нанизаны на голубую нитку,
«А это значит — на небе живут,
«И ходят в небе голубой тропинкой.

«Божки нанизаны на голубую нитку.
«А это значит, что они пасут
«Оленей в небе с голубою спинкой.

«Божков возьми за голубую нитку,
«Повесь на шею — будешь голубым . . .
«И легким-легким . . . словно дым!

У Новгород-Северского не только богатая палитра для изображений в н е ш н е г о, — торосов, ледников, айсбергов, сполохов, творящих розы в льдах. У него богатство внутреннего содержания. Например, стихотворение «Мысль».

«. . . Олени вихрем мчатся,
«В их лете мысль свою постиг . . .
«Ну где постичь, куда за ней угнаться!

И редкая душевность, детскость — подлинного поэта свойства:

«У камелька сидит старушка с детворой,
«И льются ручейком седые сказки.
«Блеснет снежок и захрустит порой,
«Но дети глянут бойко, без опаски.
«Они привыкли. Знают каждый звук,
«А волк не смеет к чуму приближаться
«И путать сказки, портить их досуг
«Да с ними, малыми, из-за добра кусаться».

Поэзия Новгород-Северского — светлая, бодрая. Она — в здоровом русле русской поэзии, — пушкинское приятие жизни. Вот, «Олень смарагдовый»:

«Олень смарагдовый приснился:
«Был золотым он в блеске дня,
«Полярный снег под ним искрился,
«С цветами полными огня.
«Олень, на молнию похожий,

«Чуть-чуть касавшийся земли.
«И стук копыт, с громами схожий,
«И глас я слышал: — «Мне внемли:
«Вот так, как я, встряхнись грозово,
«Над тундрой звонкой поднимись,
«И к звездам жарким с песней новой
«Оленем солнечным взметнись».

Я привел ряд стихотворений: в них говорит сам поэт, я ничего не внушаю читателю. Я хотел бы привести еще и еще, отметить другие стороны его пенья. Но не стану задерживать читателя: он, если сердце его открыто, сделает это сам, прочтя эти «полярные» тетрадки. Для меня ясно, что перед нами — подлинный талант. И он растет. Последняя книжечка «Шаманы» — самое совершенное в творчестве Новгород-Северского. Этот экстаз-полет, это заклинание весны — прекрасны; тут сказался вкус поэта к образу:

«На бубне волшебном летели шаманы —
«Спешили за солнцем, встречали весну.
«От них убегали седые туманы,
«Глухие морозы, слепые бураны —
«С зимой отходили ко сну».

«Седые», «глухие», «слепые» . . . — точные определения дряхлости, конца . . . Я не говорю о форме. Да, есть погрешности, «соринки», ошибки в стихосложении, — это легко преодолевается. Мы знаем безупречные стихи многих поэтов . . . не вдохновения, а лишь поползновения: этот пустоцвет, так и останется пустоцветом. А тут — подлинное творчество большого таланта-дара.

НЕОБХОДИМЫЙ ОТВЕТ

Письмо в газету

25 мая, вечером, советское радио оповестило, что в новой русской антикоммунистической газете «Русская Мысль», в Париже, сотрудничает, между другими «фашистами», писатель Шмелев, «работавший с немцами» во время оккупации. Этот злой навет я обязан опровергнуть.

Фашистом я никогда не был и сочувствия фашизму не проявлял никогда. Пусть мне укажут противное. Где не признается *человек*, где нет свободы слова, мысли и совести, там нет души писателя. Но главное не это, а — произвольное утверждение, что я «работал с немцами». А я утверждаю совсем обратное: я работал *против* немцев, против преследуемой ими цели — в отношении России. И приведу доказательства.

Да, я печатался в «Парижском Вестнике»: там было напечатано четыре моих рассказа и одна литературная статья. Почему там печатался? А вот, почему.

Для сотен тысяч русских людей, пригнанных немцами в Европу, не было русской газеты. Когда нарождалась газета «Пар. Вест.», ее редактор просил меня о сотрудничестве. Я спросил, на *чьи* деньги. — «На русские, начинаем с нашими 3 т. фр. Массам *оттуда* нужна русская газета». Я понимал, что нужна, и *что* им

нужно в ней. Я решил — печататься, для них. Говорить то, что я говорил всегда, — о России, о ее величии, о ее материальном и душевно-духовном богатстве. Немцы — и не одни они — искажали подлинный лик России. Писали, что Россия — «историческое недоразумение», ни истории, ни культуры, великая степь — и в ней дикари. Немцы показывали этих «дикарей», возя русских пленных и пригнанных, стойком на камионах, по Берлину, одев в отрепья… — «смотрите дикарей! мы несем им культуру!..» Это было. Было и многое другое, куда страшней. О сем дошло и до русского Парижа. Оставить без ответа эту ложь? Мне как бы открывался случай, в меру моих сил, хотя бы в узах, скрутивших слово, образно опровергнуть гнусную клевету. Я полагал, что мои рассказы о родном могут содействовать этой цели. Я не ошибся, чему имеются подтверждения.

Я писал подлинную Россию, пусть былую, — но она есть! — ту, что дал в своих книгах, особенно в «Лете Господнем» и «Богомолье». Вначале я напечатал «Чёртов Балаган», раньше печатавшийся в «Возрождении»; перепечатал для пригнанных *оттуда,* чтоб постигли чувство долга. Пусть прочтут, о *чем* там речь. Это ли «работа с немцами?..

Я напечатал «Именины» — о русской душе, о ее глубине и нежности, о ее чутье к правде, к Божьему, о ее ласковости, о русском обилии, размахе, о благодарности за добро, о ее *песне*… о ее прегрешениях и слабостях, о ее покаянии… Пусть прочтут. Это ли — «работа с немцами»?!

Я напечатал «Рождество в Москве» — о той же русской шири, о вещном и душевном богатстве, о тяге к чистоте и красоте, о самобытности, о сильном *бытии,* чем в праве русские гордиться. Пусть прочтут и пусть тогда дерзнут бросить мне грязное — «работал с нем-

цами»!.. Пусть же знают, что мои русские друзья в Берлине, поняв глубинный смысл рассказа, хотели напечатать его в тамошней русской газете; но цензор-немец перечеркнул красными чернилами, до прорыва бумаги, сказав: «*нам* это совсем ненужно!..» Потому и «ненужно», что *это — против немцев*, против их злостно-пошлой маски на Россию. В Париже «протащили», и я получил отзвуки признательности. Пусть прочтут — может быть поймут, какая тут *работа*.

Я напечатал рассказ «Почему так случилось?» — сложный, трудный для постижения в беглом чтении. Там — о России, о преступлении против Нее. Там — покаяние русского интеллигента. Но там и апофеоз русской простой души, русского «примитива», но сколькими головами этот «примитив» выше открывшихся перед миром *немцев!*.. И это называют — «работал с немцами»!..

Не раз предлагали мне в Эмигр. Управлении дать «что-нибудь поактуальнее». Я отвечал, что не пишу для пропаганды, «актуальности» в душе нет. На меня косились, задержали на полгода статью «Певец ледяной пустыни». Мне предлагали возглавить «литерат. отдел» при Управлении и — я отклонил. Предложили — «почетным председателем», — ответил, что не ценю почета. А когда мне пришлось просить о визе за-границу, для устройства литературных дел, ответили: «когда же вы дадите что-нибудь акту-альное?» Я снова заявил — не-спо-со-бен. Тогда мне было сказано: «дайте прошение о визе... мы направим». Ответа не было.

Я шел на жертву, работая в такой газетке. Но что же делать? Хоть через вражий орган «шептать» правду... — поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик России почувствуют. Меня читали — и были благодарны. И

все это — никак не значит, что я «работал с немцами»: моя работа шла как раз вразрез с их целью.

Легко, конечно, было уклониться от поганой ямы... Но вот... — если ребенок упал в яму, воздержатся ли опуститься в нее из страха загрязниться? Нет, и не подумают о грязи, опустятся, чтобы помочь ребенку. Мой случай, — если взять долг писателя перед народом, — трудней, сложней. Я его понимаю так: если есть малейшая возможность защитить честь родины, оберечь ее чистое имя от издевательств, — надо такой возможностью воспользоваться. Что я и сделал. Все, что я писал за всю свою жизнь, — навиду. Пусть отыщут хоть в одном словечке «работу» на врагов, а не на родину. Я писал только о России, о русском человеке, о его душе и сердце, о его страданьях. О его страшной беде. Только. *Против* России, за Ее врагов — ни единого слова не найдется. Это боль русского писателя *о родном,* — для тех, кто читать *умеет,* — во всем творчестве. И это знают не только чуткие русские читатели, но и читатели более, чем «двунадесяти языков».

Май, 1947.

Париж.

ПАМЯТИ «НЕПРЕКЛОННОГО»

Великая и чреватая страница Русской Истории заключена: «Скончался Генерал Деникин». Не только — Русской Истории. Генерал Деникин, его *служба* — связаны с Историей вообще, как связана Россия с миром. На протяжении ряда лет «дело Деникина» взвешивалось на мировых весах. От удачи или неудачи этого дела зависели будущие судьбы человечества. Ныне мы это видим. Это определяет место Деникина в Истории. Долго еще историки, политики и государственники будут вглядываться в эту чреватую страницу. Она содержит много учительного, пророческого. Эта страница вскроет много теней и света, но не откроет ни единого темного *пятна*, Россия не постыдится своего Сына: в его «послужном списке» самые ярые искатели «темных черт» не сыщут для себя удовлетворения. В этой странице крови, горя и слез найдут лавры и розы, найдут славу... найдут непроходимые стены терний, но: будут бессильны ткнуть в проступки и преступления, — там их нет. Могут подсчитывать ошибки, но не отыщут грязи, подделок, сделок, криводушия, клеветы... — всего того, что связывается обычно с «исторической личностью». Это уже победа. Это — слава и увенчание. Эта победа личности накрепко сплетена со славой и победой национальной. Немного найдется в Истории такой *чистоты служения*.

Я не дерзну говорить о славном Усопшем нашем — ни исторически, ни политически, ни в государственно-стратегическом размахе. Это дело людей, знающих историческое дело. Я могу говорить лишь о человеке. А это тоже важно: История судит дела, и судя дела, обязана исходить от человека: только тогда дела получат правильную оценку.

На мою долю выпало знать Деникина в близком быту, в текущей жизни. Я был в общении с ним в продолжении 14 лет, с лета 26 г. по весну 40. Это общение было порой почти что ежедневным. Это общение не смею называть «близко-дружеским», но — «душевно-близким», «ласково-бытовым». Никогда — «нараспашку-доверительным», ни — «подоплечным»: Генерал Деникин — а для меня всегда, мысленно, — «дорогой Антон Иванович» — никогда не раскрывался; был всегда целомудренно-немногоречив. Но в бытовом общении внутреннее его само непроизвольно открывалось, и по отдельным чертам можно было составить подлинный и полный образ человека. Даже — исторического человека. И я составил этот полный облик и сделал вывод. Если бы мне пришлось дать его исторический портрет, я мог бы это сделать, не колеблясь.

Генерал Деникин остался в моей душе, как подлинно русский человек-солдат: верующий, честный и волевой; целомудренно-чистый, «ответственный»; человек любви «во Христе»; человек долга и — это такая редкость! — непреклонный. Во что поверил — тому служу. До конца.

Генерал Деникин был православный, глубоко-религиозный человек. Эта «православность» вела его — вождя, солдата, государственника, политика. Это великая сила: совесть, несение Креста, и — непреклонность: как на посту, до смены разводящим. Его никто

не сменил, до смерти. И после смерти — никто не сменит. Он так и пребудет — «на часах», — примером чести, долга и стойкости.

Как православный человек, генерал Деники был — *чистым в жизни и в деле*, — в борьбе с врагами России, веры, чести, правды. Как «бедный рыцарь», он принял российский *щит*, на коем начертал *все*, в трех знаках: Б. Р. С. — Бог, Россия, Свобода. Эту «троицу», этот свой символ веры. И остался им верен до *конца*.

Свобода . . . Как разумел ее генерал Деникин? Очень глубоко и чисто. Он был истинно человечен, человеколюбив. Для него не было сословий, классов. Он отвергал привиллегии. Для него ни в чем не было — *себя*. Если бы *дело* удалось, если бы он возглавил, во всем, разгромленную Россию, как вождь или диктатор; если бы он нашел равных себе во всем для вождения России, он явил бы яркий пример — правителя православного. И привлек бы к себе сердца великого народа. Ибо не восхотел бы ничего — *для себя*. Для него не было *чужих* по крови, вере, расе, племени. Все измерял бы одним только — *живым православием* в себе. Иначе не мог бы вести и жить. И, когда смотришь на современное . . . — теснит сердце, что — «не сбылось».

Из православия в нем — вытекает важнейшее: Генерал Деникин был истинно лучший демократ, — то есть: черпающий исторически-государственные акты из свободной народной воли, из свободного духа всероссийского. Генерал Деникин был непреклонен в *свободе*, достойной человека. И потому он — непреклонный борец против насилия.

Этих высоких качеств души и духа довольно с преизбытком для устроения России на вере, свободе, праве,

братстве и равенстве. Генерал Деникин — был — и был бы! — лучшим примером Правителя-Демократа. Да. Но — при условии, что его близкие сотрудники были бы по плечу ему. Сего не оказалось — в годы его служения. Это «не оказалось» явилось в его деле тяжким ядром, мешавшим его плану, — плану служения. Придет время — и наша правдивая История признает это. Возможно, что и при удаче дела освобождения России не нашлось бы достойных его сподвижников... но тогда сама Россия дала бы ему, а после него — задуманному и намеченному им делу, — достойных продолжателей: нашла бы в огромном своем запасе духовных сил. Война родит героев. Мир — не меньше рождает их. Особенно — после катаклизмов.

Вот эта непреклонность, эта верность, эта православность, эта свобода во Христе — всех... — такое сочетание — великая историческая редкость. И потому, все это, оставшееся незамеченным... это ныне зияние... — отзывается болью сожаления в русской душе и сердце. Незаменимый. «Бедный Рыцарь»!.. кто примет от тебя щит? что поведет за тебя, за тобой?!.. Нет ответа. Пока — ответа нет. Но это не значит, что его не будет. Ответ будет. Верной сему порукой — великий народ всерусского исторического пути: силы его неисчерпаемы. А примеров в нашей Истории — довольно. В этом ряду примеров по праву занял достойнейшее место «Генерал Деникин».

12 августа 1947.

Париж.

УДАР В ДУШУ

Слово, сказанное на собрании 16-го ноября в Париже, в день поминовения павших в борьбе с большевиками.

Среди жертв большевистского погрома есть жертва, значение которой не всеми, может быть, постигается с должною полнотой и ясностью: эта жертва — литература наша, художественное слово русское. Иные скажут: пролито сколько крови, какой разгром... что перед этим — слово! Невелика потеря, еще запишут. Плакать о зеркальце, когда все — в пожаре...

Но так ли это?

Художественная литература, это — духовная ткань жизни, душа народа, выражение его душевных устремлений, великая движущая сила; без этой силы, как и без веры в Высшее, народ обращается в скотов. Помните древнее надписание на Храме «гноти за автон» — «познай себя»? Оно — выражение искусства, сущность его глубин. Через него, путями, свойственными ему, человечество входит в Храм, близится к Божеству. Подлинное искусство слова, художественная литература — утоление духовной жажды, путь из пустыни

мрачной где человек влачится. Слово, путями о-бразов, разкрывает мир, человека, показывает человеку — Божество. Слово — возносит человека на высоты, ближе к Богу. Литература всякого народа — его правда, его стремления и идеалы; его, скажу я, судьбы. Нет народа без литературы, как нет народа без Божества.

В религии — две вечных, борющихся силы: Бог и Дьявол. Тоже и в искусстве Слова: добро и зло, высоты и преисподняя, свет — тьма. Истинное искусство — свет всегда. Истинное искусство — Божие искусство. Оно возводит человека на высоты, к совершенству, живит и манит к идеалу. Истинное искусство — вдохновенно, «божественный глагол», тоска земли по небу, «тихая песня» ангела, — помните Лермонтова «По небу полуночи Ангел летел»? Истинное искусство глубинно-религиозно.

Вспомните слово Достоевского о Пушкине, вспомните Пушкинского «Пророка», — снеговую вершину Пушкина!

«Духовной жаждою томим.
«В пустыне мрачной я влачился,
«И шестикрылый серафим
«На перепутьи мне явился».

Искусство, это — шественный, серафим; оно — целитель духовной, томящей жажады. Но, какое? . . «Божественный глагол», глас Божий, — вот какое.

«Но лишь божественный глагол
«До слуха чуткого коснется
«Душа поэта встрепенется,
«Как пробудившийся орел».

Светлое, божеское искусство. Ему, вдохновенному, открыто все: «и неба содроганье, и горний ангелов по-

лет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Через познание, через раскрытие ч е л о в е к а и мира, — к божьему, как к беспредельному совершенству, — вот что такое истинное, вдохновенное искусство. Язык его — правда, П р а в д а, пламенная правда, как «уголь, пылающий огнем». Без вдохновенного искусства слова-образа — погиб человек, пропали его полеты — взлеты к идеалу: в самодовольнейшего скота обратится он.

Величайшие наши — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Толстой... — жрецы этого высокого искусства, — трепетно вдохновенные. Достоевский спускался и нас уводил в низины и тьму человеческого духа и естества, дабы познать сокровенное и потрясти, и умудренных и потрясенных, вывести на высоты, к свету, на пути Божьи. Высокое, вдохновенное искусство слова — уже пророчество.

И вот, разрушая все, следуя своей дьявольской природе, большевизм не мог, конечно, не нанести «удара в душу» — в светлое искусство слова, в «божественный глагол». И он нанес его, как дьяволу посильно.

В России вдохновенное слово замерло. Оно может звучать в душе «божественный глагол» может коснуться слуха тонкого, душа может и встрепенуться... но никто не услышит и не обретет радости, призыва к жизни, чистой и достойной... никто, по слову нашего поэта, не повторит:

> «И счастье я могу постигнуть на земле,
> «И в небесах я вижу Бога!»

В России вдохновенное слово в цепях, в запрете. В России — душа молчит. Лишаемый Церкви всячески, русский народ лишен и вдохновенного слова, вольного слова-творчества. У него отняты водители его духа, его

писатели истинные. Вырваны близкие возможности их иметь. Вдумайтесь, какая потеря для России — на годы, годы. Преемственность уничтожена. В сотнях тысяч погибших из образованнейшего класса — несомненно, погибли ценнейшие единицы, возможные будущие вожди духовные, возможные славные творцы Словом. Скажут: велика Россия, сто пятьдесят миллионов, — еще бу-дут! Да, будут. Может быть, через столетие будут. Вспомните: надо было пройти столетию от Петра, чтобы Россия обрела Пушкина! Будут, когда опять образуется плодоносный слой, высокой культурной одаренности. Преемственность смыта кровью. Да, с народных толщь, доведенных до одичания, только путем долголетнего просвещения, могут подняться великаны Слова-Духа. Вспомните знаменитого Павлова — о наследственности навыков, о преемственности свойств через поколения... Какие теперь там навыки и свойства?...

Мало того. Истребив духовные силы нации, закрыв, где можно, выходы художественному глаголу, большевики открыли выход другому искусству слова — темному, низменному, дьяволову. Их искусство — будит в человеке низшее: похоти, злобу, ненависть к человеку, издевку над духом человека. Разрушив Храм, они открыли кабак, публичный дом, подвал в литературе, — дозволили и поощряют. Там такого искусства много. Оно не поет, оно — орет. Оно не Божье, не от шестикрылого серафима, не глаголом жжет сердца людей, а сжигает дьяволовым огнем последнее человеческое, что еще уцелело в людях. Там, за редкими исключениями чутких писателей, с сомкнутыми устами, с стесненным сердцем, — расцвела похабщина, развеселое зубоскальство — смех, — изредка, смех сквозь слезы, у чутких. Такое искусство там, что даже читатель мас-

совый, как будто чутья лишенный, и тот начинает возмущаться. Ему начинает претить, и он спасает душу свою, отыскивая в разгроме, творчество прежних поколений. Но молодежь отравлена прививкой этого искусства грязи и плоти-похоти и отпечаток сего — на жизни. Такому, мутному, грязному искусству пути широко открыты. Слово взято на службу к Дьяволу, сила, слову присущая, творит зло: испепеляет душу.

Великая это сила — Слово! Утрата его — великая утрата: ее глубины непостигаемы до конца.

А теперь вспомним: расстрелянного поэта, благородного Гумилева; погибшего преждевременно от противоречий в себе и потрясений, и от цынги, — Александра Блока; талантливого журналиста и борца Виктора Севского, расстрелянного; замолкнувшего от потрясений и цепей, скончавшегося в немоте, Федора Сологуба; истерзанного сердцем за Россию, Леонида Андреева; молодого поэта и героя Канегиссера и иных, покончивших с собою, не вынесших паскудства жизни, когда-то певших гимны большевизму и вдруг понявших... — поэт Есенин, писатель Соболь... и многих, неоткрывшихся... Помянем их в молчаньи.

Но... неугасимо-вечен Свет Господень, Божественный глагол — незаглушим. Томление духа — властно. Россия ждет... уловит чутким слухом божественный глагол и... «встрепенется, как пробудившийся орел».

800-ЛЕТИЕ МОСКВЫ

1147—1947

Восемь веков исторического бытия Москвы. В них — Россия. Мимо этой грани пройти нельзя, и так понятно, что нынешняя Москва праздновала это событие: что-то повелевало праздновать, необоримо-стихийное, над чем земная власть не властна: празднование должно было состояться.

Мы тоже вспоминаем, — сосредоточенно вглядываясь в века, черпая в них урок и укрепление. Мы открываем грозные и чудесные страницы нашей Истории, — истории бытия Москвы, — и видим чудо. Не гордыня ли утверждать такое? чем гордимся? древностью ли рода нашего? Много народов древнее нас, мы — молодой народ. В чем же чудо? Чудо — «Неопалимой Купины». Восемь веков стоять — и устоять! — на «проходной дороге», открытой совсюду ветрам! .. Эти века «стояния» — сплошные бури: нашествия и пожары, глад и губительство, огонь и меч. Восток и Запад, Север и Юг — ломились в открытую Москву и через Москву, испепеляли, сравнивали с землей. А она снова возникала. Если бы, силой воображения, представить себе напластования под Москвой, мы увидали бы чередующиеся пласты уголища и пепла, белого праха костяков, черепки утвари, ржавые слои истлевшего железа — бердышей, копий и кольчуг, шеломов, секир, цепей . . . и — кровь,

кровь, кровь... — если бы ожила она, — всюду кровь, пропитавшая пласты эти, спаявшая их незримо. В этих пластах — страшная и чудесная история Москвы.

...Москва стоит, *живая*. Чем держится? Не сказать ли народным словом — «Николай-Угодником держится»? не под незримым ли Покровом-Омофором? Услышаны ночные перекликанья стражи с кремлевских стен: «Пресвятая Богородица, спаси нас!..» — «Преподобный Отче Сергие, моли Бога о нас!..»

Чем же она стояла эти века нашествий, пожаров, ига? Летописцы, мыслители, поэты... — по сие время раскрывают это чудо-стояние. После всего, что творилось с Москвой в эти восемь веков, — кажется, и следа не должно бы уцелеть на открытом месте, на этом пересечении ста дорог! А Москва все стоит и ширится. Не только стоит, а явила миру новое чудо бытия: отбила нашествие западных «монголов», повергла и раздавила в прах. Откуда это чудо? Все оттуда, откуда все чудеса минувшего: от Веры, от русского *хотенья*, от исконного нашего инстинкта — *быть*, свершить данное нам в удел. Этого не объяснить словами: это от недр, подспудное, дремлющее в неясной грезе, — и, вдруг, в страшный урочный час, взрывающее свой спуд стихийно. Эта сила являет себя в водительстве русских Святых Угодников; толкуется мудрецами, русской мыслью и русским чувством; вскрывается вдохновением поэтов. Это — стихийное, «русский дух», никем еще неосознанный. Это хранило и сохранило Москву — Россию: для нас, — для человечества, может быть. Так вещают духовные водители России, истолкователи российского удела. Этим путем, ищущим вечного, нетленного, вели русский народ его Святые, давая собой пример. И народ шел за ними, сердцем, бессознательно чувствуя величие удела, взыскуя Града. Не для сего

ли вложено в нем чудесное «хотенье», о котором писал когда-то Жозеф-де-Местр: «если бы русское хотенье заключить под крепость, оно взорвало бы крепость»? О нашей призванности, о «всечеловечности» ... — говорил Достоевский в речи о Пушкине. О том же, прикровенно, — в литературе нашей, в течениях русской мысли. Наши Святые торили путь, примером и поучением внедряли в души наши сознание нашего «образа-подобия». И мы бессознательно несем, в великой народной толще, в народном «духе», — веру в предназначенье наше. На этом пути много соблазнов и уклонов, но народ подоплекой чует, что это *его* дорога, что не покинут его Водители. Недаром — в страшнейшее из испытаний, над бездной, уже разверзшейся, когда растерялась власть, русские обезбоженные люди взывали к небесному оплоту, как давняя крепостная стража молитвенною ночною перекличкой: «Пресвятая Богородица, спаси нас!..» «Преподобный Отче Сергие, моли Бога о нас!..» — до призыванья победоносных былых вождей. И русская вера оправдалась, и небесное чудо совершилось: ударили небывало-ранние морозы, до 40 градусов, в исходе старого ноября, и все окаменело, — и враг застыл. Это — История.

После вековых порабощений русская душа осталась живой, *свободной*. Как отзывались чужеземцы о русском мужике, о «крепостном рабе»? Много о сем свидетельств. Удивленно свидетельствовали о нем, как о свободном человеке, державшем себя с достоинством, говорящем — как равный с равными. Откуда это? От сознания своего «образа-подобия», от научения от своих Святых, от высокого своего *родства*, — от несознанного своего *богосыновства*. Не раб, и никогда не станет ничьим рабом, пока жива православная душа, пока живы в душе *истоки*, забившие в ней с

купели. Вождение Святыми хранило и сохранило в русском народе — человека. И во всем мире он ищет человека, образ и подобие Божии.

Сила духа, вера в себя, в свое, в Правду святого Слова, — просыпались в русской душе в годины бедствий. Эти «рабы», под игом, поверженные в прах, — казалось испепеленные, — чудесно поднимались, напрягались сверхчеловечески, одолевали... — и проносили победные знамена по всей Европе, до наших дней. Что их так чудодейственно живило? Высокий Идеал, несознанный, врожденный, и — бессмертный. Это — стихийное, промыслительно-благостно дарованное. «Нет, так не должно быть... не может жизнь стоять на такой неправде... есть Божья Правда, надо найти ее и установить...» — вот, как бы голос в русском человеке, сокровенный, несознанный. Вот откуда — «Неопалимая Купина», духовное вино в нас, порой пьянящее, но всегда укрепляющее дух. Отсюда — неизживаемый «нравственный запас», о котором говорил Ключевский в слове о преп. Сергие. Отсюда чудо стояния и побед. И оно приведет к Победе. Это предназначение — найти Правду и послужить ей, для всех, — это стихийно в нас, но оно ясно Святым и Гениям. Смутное для сознания народом, но проявляемое в сверхчеловеческом напряжении в годины страданий и падений, — повелевающий в нас инстинкт.

Вот почему, отмечая восьмисотлетие бытия Москвы, мы должны особенно чутко вслушаться в голоса нашего прошлого, исконного: особенно ныне, в темную пору грозной неопределенности, когда, быть может, решается русская судьба. Мы должны зорко вглядеться в наше, проникнуть к его вековым истокам. В них — голос прошлого, завет нам. Мы должны крепко связать

себя с родными *недрами*. Пушкин мудро выразил это в глубоких своих стихах:

«Два чувства дивно близки нам —
«В них обретает сердце пищу —
«Любовь к отеческим гробам.
«На них основано от века
«По воле Бога самого
«Самостоянье человека, —
«Залог величия его.
«Животворящая святыня!
«Земля была без них мертва;
«Без них наш тесный мир — пустыня,
«Душа — алтарь без божества».

Это проникание к *истокам*, эта «любовь к отеческим гробам», «к родному пепелищу», это вслушивание в шепоты прошлого . . . — крепит падающих духом. Старшее поколение должно помнить великую ответственность перед идущими ему на смену. Должно, как священный долг, исполнять завет Пушкина: любить родные *недра* и показывать юным, чем жила, строилась, вдохновлялась и хранила себя Москва — Россия.

А *там* — празднование бытия Москвы может оставить следствия, особенно у юных, пытливых духом. Приникание к *недрам* — целебное лекарство; оно будит и выпрямляет дух. Приникание к родным *истокам*, вглядывание в самые камни древние — большая сила. Об этом вдохновенно сказал И. А. Ильин:*

> «. . . Есть древние города, молчаливо накапливающие в себе эти природно-исторические и исторически-религиозные веяния. В их стенах и баш-

---

* И. А. Ильин: «О тьме и просветлении» (новый, еще не опубликованный [в сентябре 1947 года, — изд.] труд о художественной критике).

ниях, в их дворцах и домиках безмолвно присутствует дух их строителей; и стогна их хранят отзвучавшие звуки шагов и голосов всенародной, то мятущейся, то ликующей толпы. Их Кремль и соборы суть живые, раз навсегда всенародно-вознесенные молитвы. И самые холмы их — нето дары природы, нето могильные курганы, нето крепкие символы государственной власти, — говорят о бывшем, как о сохранившемся навек. И не те же ли стародавние реки струятся и ныне под их мостами? Не те же ли дубы и сосны молчали ушедшим предкам? И не о забвении, а о вечной памяти шепчет трава в их садах? . .»

Москва . . . Там

«. . . русский дух начал гнездиться, и роиться, и накапливать свои богатства, — и нетленные, и исчезновенные, — с девято-десятого века; — в этом стародавнем колодце русскости, в этом великом национальном «городище», где сосредоточивались наши коренные силы, где тысячи лет бродило и отстаивалось вино нашего духа; — в этом ключевом колодце, вокруг которого ныне, как и встарь, —

. . . И смолой, и земляникой
Пахнет темный бор».

Сентябрь, 1947.
Париж.

СТАТЬИ ИВ. ШМЕЛЕВА

1924—1947

ШМЕЛЕВ ПУБЛИЦИСТ

(Содержание)

1927 г.

1928 г.

1929 г.